

НИСИМ ИЛИШАЕВ

**НАКАЗАНИЕ
БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ**
роман





ОБ АВТОРЕ

Нисим Илишаев родился в 1923 году, в кавказском Дербенте, в религиозной семье: отец будущего писателя был раввином дербентской синагоги. В 1923 году сестра Нисима уехала в Палестину. Таким образом был перекинут мост между Кавказом и Иерусалимом.

В 1925 году большевики убили отца Нисима Илишаева, вслед за этим трагически погибла и его мать. Мальчик получил воспитание в семье родственников, в Москве.

После окончания средней школы в 1941 году он поступает на офицерские курсы, откуда отправляется прямо на фронт. Принимал участие в Сталинградской битве. Под Будапештом был тяжело ранен. Войну закончил в звании капитана артиллерийских войск.

Свою литературную жизнь начал в

НИСИМ ИЛИШАЕВ

**НАКАЗАНИЕ
БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

роман

НИСИМ ИЛИШАЕВ

Наказание
без
преступления

РОМАН В ДВУХ ЧАСТЯХ

ТЕЛЬ-АВИВ

1982 г.

**Корректор Н. Островская
Художник Хаим Капчиц**

© Все права сохраняются за автором

**Типография Ш. Сегал и Компания ЛТД
Тель-Авив, Менорат Гамаор, 8**

Если будет мне дано увидеть свободный мир, если доживу до того дня — сяду за стол, напишу правду о том, что видел, что слышал, что пережил, расскажу, какую несправедливую кару понес наш народ... Разнуздаю своего коня, напою его из горного ручья и пущу в поля широкого справедливого мира.

„Зеленая дорога — предвестник начала весны”.

(Народная мудрость)

Я заканчивал работу над этой книгой в трудные дни войны „Шлом Агалиль”, когда кавказское еврейство оплакивало гибель своего героя — генерала Йекутиеля Адама. Его светлой памяти посвящаю я роман „Наказание без преступления”.

В основу книги легли действительные события, имевшие место на Восточном Кавказе. Основные герои этого романа имели реальные прототипы.

Автор

ДАГЕСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОГО ТЕРРОРА

*(к историческому фону романа Нисима Илишаева
„Наказание без преступления”)*

Официальная советская периодизация делит советскую историю тридцатых годов двадцатого века на два основных периода: период завершения социалистической реконструкции народного хозяйства и победы социализма (1933—1937) и период упрочения и развития социалистического общества (1938 — июнь 1941). В этой периодизации нет места для трагедии, стоившей жизни миллионам жителей СССР, трагедии, получившей в историографии СССР, не подведомственной советской цензуре, название „великий террор”.

Великий террор, начавшийся с убийства Кирова (декабрь 1934 г.), распространился на всю территорию СССР в 1936 году, достиг кульминации в 1937 — начале 1938 года и завершился (как широкая кровавая акция) во второй половине 1938-го, хотя отдельные его всплески продолжались вплоть до вступления СССР во Вторую мировую войну в июне 1941 года и даже некоторое время после его вступления в войну.

Исследования великого террора, самым фундаментальным из которых продолжает оставаться работа Роберта Конквиста „Великий террор” (Лондон, 1968)

в основном сосредоточиваются на описании и анализе великого террора в центральной части Советского Союза. Исследования, посвященные целям, ходу и последствиям великого террора на „восточной периферии” Советского Союза, пока не появились, хотя отдельные главы, страницы и абзацы, посвященные ему, имеются в ряде работ о некоторых из ее регионов. Как известно, „восточная периферия” СССР делится на две неравные части — меньшую, христианскую (Армения, Грузия, большая часть Осетии), и большую, мусульманскую (большая часть Северного Кавказа, Восточный Кавказ, Казахстан, Средняя Азия; к ним следует добавить „мусульманские анклав” внутри РСФСР — Татарию и Башкирию, „татарскую диаспору” по всей территории России, а для периода до Второй мировой войны и Крым).

Данные о ходе великого террора в мусульманских регионах „восточной периферии” позволяют, по-моему, говорить об одной специфической дополнительной цели этой акции в указанной части СССР. Этой целью было оборвать цепь местной культурной традиции, чтобы ускорить превращение культур мусульманских народов СССР в „национальные по форме и социалистические по содержанию”, иначе говоря, перестроить эти культуры по модели советизированной русской культуры, оставив каждой из них лишь один формальный национальный признак — язык (именно так расшифровал Сталин в 1950 году свое же определение „национальная по форме”, добавив к нему уточнение: „то есть по языку”).

Можно полагать, что такая цель была поставлена тогда по отношению к культурам мусульманских народов СССР (а также культуре осетин, большая часть которых является христианами, и культурам народов Поволжья, Сибири и Крайнего Севера) на основе известной сталинской установки в разрыве цепи в слабом ее звене:

у большинства мусульманских народов Кавказа, а также у казахов, киргизов и каракалпаков устойчивая традиция письменной культуры на родном языке стала складываться лишь во второй половине XIX — начале XX века, у азербайджанцев и узбеков в XV веке, у туркмен в XVIII веке. (исключение среди всех мусульманских народов СССР представляли таджики, письменная традиция которых началась в IX веке, но эта традиция была общей для них, для персов и для фарсиязычного населения Афганистана, и уже во второй половине 20-х — начале 30-х годов эта общность была нарушена, и тем самым преемственность ослаблена путем нормативизации диалектных форм, отсутствовавших в классической литературной традиции).

Ошибочно принимая письменную культурную традицию за культурную традицию вообще и сопоставляя „младописьменность” мусульманских народов СССР со „старописьменностью” армян (с конца IV в.), грузин (с V в.) и восточных славян (с XI в.), советские эксперты пришли, очевидно, к выводу, что традиции мусульманских народов сравнительно слабы и поэтому преемственность традиций у этих народов может быть прервана с большей легкостью. Способом разрыва цепи была физическая ликвидация передатчиков культурной традиции — местной творческой интеллигенции, начавшей свой творческий путь и/или получившей образование до становления советской власти в мусульманской части „восточной периферии” СССР, то есть до начала 20-х годов.

Если говорить специфически о Дагестане, то среди физически уничтоженных в годы великого террора мы видим таких крупных представителей культур различных мусульманских народов Дагестана, как даргинский поэт и драматург Рабадан Нуров, известный даргинский общественный и культурный деятель Осман Османов,

лакский поэт Мугутин Чаринов, кумыкский поэт Г. Бейбулатов (из арестованных в годы великого террора, но чудом выживших в тюрьмах и лагерях упомяну двух выдающихся лакских литераторов Ибрагимхалила Курбаналиева и Саида Габиева).

По завершении основной акции великого террора, в 1938 году, когда, по мнению стратегов террора, цель разрыва преемственности в культурах мусульманских народов СССР была достигнута, сразу же был предпринят следующий шаг по перестройке этих культур по модели советизированной русской культуры — перевод письменностей мусульманских народов СССР на русский алфавит (кроме тех малых мусульманских народов СССР, у которых письменность в 1938 году вообще была ликвидирована; в их числе был и ряд малых народов Дагестана). Показательно, что, несмотря на всю парадность и выпренность публичных официальных заявлений по этому поводу, в них в конечном итоге достаточно откровенно заявлялось, что перевод на русский алфавит есть средство по ускорению перестройки мусульманских культур по модели советизированной русской культуры. Так, в постановлении бюро Дагестанского областного комитета коммунистической партии „О переводе письменностей народностей ДАССР с латинизированного на русский алфавит” говорилось: „Введение нового алфавита на русской основе явится могучим средством дальнейшего политического и культурного подъема трудящихся масс Дагестанской АССР и наиболее быстрого и полного овладения ими всеми завоеваниями социалистической культуры народов Советского Союза; еще более усилит неразрывный союз трудящихся Дагестана с русским и другими народами, входящими в братскую семью советских народов”.

В последней и наиболее полной советской версии истории народов Дагестана — четырехтомной „Истории Даге-

стана”, подготовленной Институтом истории, языка и литературы Дагестанского филиала Академии наук СССР и изданной в Москве в 1967—1968 годах, — ход и итоги великого террора в Дагестане изложены в следующем виде: „Ряд партийных и советских работников подверглись необоснованным репрессиям. В республике среди них были первый секретарь обкома ВКП (б) Н. Самурский, председатель СНК ДАССР К. Мамедбеков и др.” (т. 3, стр. 299). И это все. Эти две короткие фразы содержат лишь крупицу правды, и поэтому они хуже всякой лжи.

„Ряд” партийных и советских работников, о котором говорит „История Дагестана”, был весьма обширен: в 1936—1938 годах в Дагестане было уничтожено фактически все верхнее звено партийно-государственного аппарата, почти все его среднее звено и значительная часть его нижнего звена. Но это далеко не все.

Не только работники этого аппарата подверглись „необоснованным репрессиям” (эвфемизм, означающий арест и казнь по сфабрикованным обвинениям). Как было сказано выше, была уничтожена значительная часть местной интеллигенции. Но и это далеко не все.

Дагестан был одним из регионов, где установление советской власти натолкнулось на длительное и упорное вооруженное сопротивление значительного большинства местного населения. О силе вооруженного сопротивления населения Дагестана установлению власти большевиков красноречиво свидетельствует тот факт, что именно оно привело Ленина к наиболее откровенной, а поэтому и наиболее циничной формулировке так называемой „восточной политики коммунистической партии” (в телеграмме Г. Орджоникидзе 9 апреля 1920 г. в ходе вступления Красной армии в Дагестан): „Всячески демонстрируйте и притом самым торжественным образом симпатии к мусульманам, их автономию, независимость

и прочее” (Собр. соч., изд. 5, т. 51, стр. 175). „Восточная политика”, одним из основных компонентов которой было демонстрация „самым торжественным образом” уважения к местным традициям, в том числе и прежде всего к религии, закончилась в Дагестане в конце 1926—1927 годов: под предлогом контроля за выполнением инструкции народного комиссариата просвещения Дагестана „О регулировании преподавания мусульманского вероучения” власти стали закрывать мечети и мусульманские религиозные школы (мадрасы и мактабы), обложили непосильным налогом настоятелей мечетей (мулл) и учителей мусульманских школ (муалимов) с целью заставить их прекратить их деятельность. Закрытие мечетей и религиозных школ продолжалось беспрерывно в конце 20-х — первой половине 30-х годов. Если в 1928 году в Дагестане еще имелось около 2 тысяч мечетей, к началу великого террора их оставалось, по оценочным данным, не больше нескольких десятков. Мусульманское духовенство и активные посетители мечетей были „естественной жертвой” великого террора. К концу 1938 года во всем Дагестане осталось лишь несколько послушных властям мулл при немногих мечетях, оставленных открытыми как свидетельства „свободы вероисповедания” в СССР

Еще одной „естественной жертвой” великого террора были все те оставшиеся в живых до середины 30-х годов, кто был прямо или косвенно связан с вооруженным сопротивлением советизации Дагестана в 1918—1921 годах.

Дагестан был одним из регионов, оказавших наиболее упорное сопротивление коллективизации сельского хозяйства. В то время как в целом по СССР сельское хозяйство было коллективизировано в основном уже в 1932 году, в Дагестане еще в 1934 году коллективизация, по официальным советским данным, достигал

лишь 53,7 процента. Однако и этот процент был, очевидно, фиктивным: по признаниям советской прессы тех лет, многие колхозы и так называемые „простейшие производственные объединения” (ППО), своего рода „предколхозы”, существовали лишь на бумаге, особенно в высокогорных аулах, контроль за которыми был затруднен. Так называемая „ликвидация кулачества как класса”, прокатившаяся по всему Советскому Союзу между 1929—1932 годами, стоявшая жизни миллионам и отбросившая сельское хозяйство СССР на десятки лет назад, также не была завершена в Дагестане еще к середине 30-х годов. Последние официально опубликованные данные о репрессиях против „кулаков” относятся к марту 1935 года и говорят о „высылке” (без указания направления) 412 семей „кулаков” из равнинных районов Дагестана. Акции против „кулаков” в горных районах Дагестана пришлось уже на годы великого террора и проводились в его рамках.

Наконец, обильную жатву снял великий террор на сравнительно немногочисленных промышленных предприятиях (в 1937 г. рабочие вместе со служащими составляли лишь 2,3 процента населения республики, причем около 70 процентов среди них составляли не дагестанцы) и в трех вузах и немногих научно-исследовательских учреждениях республики.

Как видно из изложенного выше, в Дагестане террор подобрал в себя и такие акции, которые предшествовали ему в других регионах (ликвидация духовенства, ликвидация „кулаков”), и акцию, специфическую для „восточной периферии” (ликвидация носителей местных культурных традиций).

Вряд ли мы когда-либо узнаем, сколько же было тех, кого официальная „История Дагестана” называет „и др.”, сколько жизней унес в Дагестане великий террор. Если считать, что процент арестованных в Дагестане был

тот же, что по СССР в целом (наиболее надежная оценка по СССР в целом — около 4,1 процента населения), а судя по изложенному выше, он никак не мог быть меньше, а вероятно, был больше, то следует оценить число арестов в Дагестане в 1936—1938 годах приблизительно в 38 тысяч человек. Насколько можно судить, большинство арестованных погибли в тюрьмах и лагерях.

В заключение несколько слов о судьбах в Дагестане в годы великого террора горских евреев, к которым принадлежат главные герои романа Нисима Илишаева.

В середине 30-х годов численность горских евреев в Дагестане составляла, по оценочным данным, около 20 тысяч человек (приблизительно такое же число горских евреев проживало вне пределов Дагестана, в основном в Азербайджане, а также в Чечено-Ингушетии и Кабардино-Балкарии).

Гонения на религию, начавшиеся в Дагестане, как было указано выше, во второй половине 20-х годов, распространялись на евреев в такой же мере, как и на мусульман. В годы великого террора на весь Дагестан осталось, судя по имеющимся у нас данным, лишь три дозволенные властями синагоги. В 1938 году на весь Дагестан не было уже ни одного раввина.

В 1929—1930 годах язык горских евреев — еврейско-татский — был переведен, как и все письменные языки Дагестана, на латинский алфавит, а в 1938 году — на русский алфавит. По отношению к горским евреям был применен тот же метод физического устранения носителей культурной традиции, о котором говорилось выше. Были арестованы и погибли в заключении поэт и один из первых горско-еврейских педагогов Герцель Горский (Бен-Харари), писатель и драматург Исай Биньяминов (Бен-Амми), исследователь фольклора и лексикограф Авадия Авадьев.

Процент работников партийно-советского аппарата по отношению к общей численности общины был среди горских евреев несколько выше, чем среди других этнических групп Дагестана. В связи с этим был выше среди них и процент арестованных, принадлежащих к этой группе. Среди них были один из первых коммунистов Дагестана Иехиил Мататов, занимавший ряд видных постов в партийно-административной иерархии Дагестана и известный также как публицист и поэт, видный коммунист Герцель Рабинович (сын последнего предреволюционного главного раввина Южного Дагестана Иешая Рабиновича), возглавлявший один из крупнейших промышленных трестов Дагестана, и бывший раввин Асаил Бинаев, ставший одним из первых пропагандистов ленинизма-сталинизма в горско-еврейской среде и одним из первых горско-еврейских журналистов. Первые двое погибли в заключении, третий был выпущен из тюрьмы в ходе кампании по выпуску из тюрем небольшого числа „невинно оклеветанных“, организованной Сталиным и Берией в начале 1939 года (история Асаила Бинаева в сильно смягченном и в значительной степени сфальсифицированном виде явилась одной из сюжетных линий опубликованного в 1963 году романа Миши Бахшиева „Хушегьой онгур“ /„Гроздья винограда“/; сокращенный и значительно отличающийся в деталях от подлинника русский перевод романа издан в 1967 году под названием „У стен Нарын-Калы“).

Были арестованы и уничтожены все те еще оставшиеся в живых, кто был прямо или косвенно связан с сионистским движением. Среди них был один из первых горско-еврейских сионистов Гершон Мурадов (другой выдающийся ранний деятель сионизма среди горских евреев Асаф Пинхасов был расстрелян большевиками еще в 1919 г.).

В целом по Дагестану потери горско-еврейской об-

щины в годы великого террора по самым осторожным оценкам составляли 1000—1500 человек.

Таков вкратце трагический исторический фон реальной трагической истории, легшей в основу романа Нисима Илишаева „Наказание без преступления”.

Михазль Занд

Иерусалим,

21 таммуза 5742 г. (12 июля 1982 г.)

ПРОЛОГ

Кончился сентябрь, опустели, обезлюдели убранные поля. На гладких лугах коробились невывезенные стога сена, черные от дождей. Ветра насквозь продували облетевшие леса, и далеко была видна одиноко пламенеющая вершина дуба. Сухие листья кружились, танцевали в воздухе и медленно опускались на влажную землю.

Средь белых берез странно и нездешне проглядывала зеленая колючая хвоя, вкусный запах грибной сырости исходил от набухших дождем тропинок. И случайно забредшим сюда гостем казался шагавший по тропе человек в тонких чераках, в черной черкеске, с кинжалом, прицепленным к кавказскому ремешку, и в огромной лохматой папахе, надвинутой низко на глаза. В черной бородке, окаймлявшей задумчивое лицо путника, здесь и там посверкивали серебром седые волосы.

Он шагал, заложив руки за спину, и ноги его легко ступали по пружинящему листовенному ковру. Глубоко и жадно он вдыхал терпкий бодрящий воздух, напоенный ароматом осеннего леса и поля. Остановился, сорвал алую гроздь рябины, бросил в рот несколько крупных ягод и ощутил на языке горьковатую сладость... Вдали на тропе показался всадник, и пеший поспешно свернул в дубовую рощу, на другую тропу. Всю эту местность оплетали, как жилки, тропки — вились меж деревьями и болотцами, и вновь встречались друг с другом, и вновь разбегались.

Пеший шел, не выбирая направления и дороги, и поэтому, наверно, вскоре снова вышел на тропу, с которой свернул, и всадник опять оказался на его пути. То ли лошадка этого всадника привычно трусила по привычной дороге, то ли всадник искал встречи с ходоком — так или иначе пеший и конник сближались.

Поравнявшись с всадником, пеший человек чуть по-сторонился и, согласно обычаю, сложил руки на груди и согнулся в почтительном поклоне. Лошадь остановилась.

В седле прямо сидел молодец с окладистой черной бородой и густыми бровями, из-под которых зорко глядели мелкие черные глаза.

Не выпуская поводя, всадник проворно спрыгнул с седла.

— Мир вашему дому! — сказал всадник.

— Также и вашему, — ответил пеший. — Но кто вы? Турок, иранец или тат?

— Я из далеких стран, моя история — тысячелетний путь. Слепая судьба привела наш народ в эти края... Я кавказский еврей, и зовут меня Иосиф.



Глава первая

ОСЕНЬ

1

Два молодых человека не спеша шли по узкой, пыльной улочке древнего города Дербента. Дом, к которому они держали путь, был длинный, одноэтажный, с плоской крышей и мелкими частыми оконцами, забранными железными решетками, — дом, каких много на улицах этого города... Раньше, правда, не было решеток — но, когда они появились, к ним быстро привыкли, как ко всему быстро привыкают: после перехода власти в руки большевиков решетки, по решению правительства, были установлены на окнах всех учреждений.

Над узкой дверью барака висела вывеска: „Отдел кадров стройуправления города Дербента“. Эта вывеска, в отличие от решеток, была новостью для города и горожан, новостью, несомненно приятной для безработных. Так приятен и волнующ для голодного вкусный пар, поднимающийся над котлом с мясной похлебкой. Раньше ведь было по-другому: искали работу по знакомству, бродили от крыльца к крыльцу, зачитывали до дыр газетные объявления, неделями толкались у глинобитной стены на базаре — на этой черной бирже труда, где безработный смущенно переступал с ноги на ногу и мял шапку в руках, покуда наниматель хитро с ним торго-

вался, обсчитывая то на копейку, а то и на рубль, а рядом, сбивая цену, затравленно гомонила такая же голытьба, понаехавшая в город из голодных селений и аулов... Все это бойко, во весь голос вспоминала черноволосая пожилая еврейка в очках на худом носу, сидевшая в окошечке, в приемной отдела кадров. „Ты кто такой, что умеешь делать, куда хочешь идти работать?“ — высунувшись из окошечка, громко выкрикала еврейка. Ответы она записывала в толстую книгу, а опрошенному выдавала какую-то бумажку с номером. Вот ведь жизнь наступила! Получай себе бумажку, похаживай да почитывай вывешенный у окна лист с фамилиями и жди, когда очередь дойдет до тебя.

Молодые люди, едва войдя в барак, угодили, как в водоворот, в густую толпу, теснившуюся у вывешенного на стене листа.

У самого окошка стоял стиснутый со всех сторон напиравшей толпой худой старик, грязно-седой, в пиджачке, обшитом по краям вытертой тесемкой. Задрав голову, нацепив ветхое, явно с чужого носа пенсне, он раздельно, высоким и скрипучим голосом зачитывал список фамилий. Стройуправлению требовались чернорабочие, строители, техник и инженеры-строители.

Руки и губы старика тряслись от разочарования и обиды. По давней привычке бормотать себе под нос он, не слушая ничьих замечаний, шепелявил себе под нос беззубым ртом, бормотал, ни к кому в отдельности не обращаясь: „У меня сорок пять лет типографского стажа, я напечатал тысячи книг — и вот уже три месяца хожу без работы... Где это видано: сорок пять лет, тысячи книг...“ Занятая своими заботами, толпа бесстрастно молчала, только один из двух знакомых нам парней попробовал пошутить: „В рабочие лошади ты, папаша, не годишься — физзарядку мало делал!“ Шутку встретили без подъема, никто не засмеялся, и тогда шутник —

худощавый длинный парень в черной изношенной куртке, со следами перхоти на вытертом воротнике — виновато подмигнул второму нашему знакомцу, с которым, не успев еще познакомиться, столкнулся в дверях барака.

Как бы и не заметив подмигивания, молодой человек внимательно и серьезно глядел на толпящихся людей. Но он, несомненно, слышал неудачную остроту. Обернувшись к остряку, он вдруг сказал певучим и молодым голосом, и слова его прозвучали как со сцены в битком набитом зрителями зале: „Как же вам не стыдно!“ Это было так неожиданно, так искренне, что все молча, повинувшись внутреннему приказу, повернулись к нему. Повернулся и старик, благодарно помаргивая воспаленными веками под стеклышками пенсне. Добровольный защитник старика был, судя по всему, изрядный чудак. Очень длинный, на голову выше остряка, он тихонько покачивался на голенастых, как у циркача или гимнаста, ногах; его лицо выражало ненапряженное внимание, мелкие глаза металлически поблескивали под треснувшими стеклами больших круглых очков, красивый прямой нос выдавался над тонкими, но чуть пухлыми еврейскими губами. Как и неудачливый остряк, он был одет в потрепанную, давно утратившую форму черную черкеску. Руки он прятал в оттопыренные карманы, его легкие ноги, обутые в дырявые галоши, то и дело переступали, как будто их владелец танцевал еврейский танец на кончиках пальцев. Но ни то, что он обносился до крайности, ни то, что постоянное и долгое недоедание наложило серые тени на его впалые щеки и подглазные впадины, не смогло подавить в нем нечто возвышенное, нечто праздничное. Именно об этом думал, пристально глядя на него, наш шутник. В чем именно выражалось это праздничное начало, он не умел обнаружить; может, в серебряно

вался, обсчитывая то на копейку, а то и на рубль, а рядом, сбивая цену, затравленно гомонила такая же голытьба, понаехавшая в город из голодных селений и аулов... Все это бойко, во весь голос вспоминала черноволосая пожилая еврейка в очках на худом носу, сидевшая в окошечке, в приемной отдела кадров. „Ты кто такой, что умеешь делать, куда хочешь идти работать?“ — высунувшись из окошечка, громко выкрикала еврейка. Ответы она записывала в толстую книгу, а опрошенному выдавала какую-то бумажку с номером. Вот ведь жизнь наступила! Получай себе бумажку, похаживай да почитывай вывешенный у окна лист с фамилиями и жди, когда очередь дойдет до тебя.

Молодые люди, едва войдя в барак, угодили, как в водоворот, в густую толпу, теснившуюся у вывешенного на стене листа.

У самого окошка стоял стиснутый со всех сторон напиравшей толпой худой старик, грязно-седой, в пиджачке, обшитом по краям вытертой тесемкой. Задрав голову, нацепив ветхое, явно с чужого носа пенсне, он раздельно, высоким и скрипучим голосом зачитывал список фамилий. Стройуправлению требовались чернорабочие, строители, техник и инженеры-строители.

Руки и губы старика тряслись от разочарования и обиды. По давней привычке бормотать себе под нос он, не слушая ничьих замечаний, шепелявил себе под нос беззубым ртом, бормотал, ни к кому в отдельности не обращаясь: „У меня сорок пять лет типографского стажа, я напечатал тысячи книг — и вот уже три месяца хожу без работы... Где это видано: сорок пять лет, тысячи книг...“ Занятая своими заботами, толпа бесстрастно молчала, только один из двух знакомых нам парней попробовал пошутить: „В рабочие лошади ты, папаша, не годишься — физзарядку мало делал!“ Шутку встретили без подъема, никто не засмеялся, и тогда шутник —

худощавый длинный парень в черной изношенной куртке, со следами перхоти на вытертом воротнике — виновато подмигнул второму нашему знакомцу, с которым, не успев еще познакомиться, столкнулся в дверях барака.

Как бы и не заметив подмигивания, молодой человек внимательно и серьезно глядел на толпящихся людей. Но он, несомненно, слышал неудачную остроту. Обернувшись к остряку, он вдруг сказал певучим и молодым голосом, и слова его прозвучали как со сцены в битком набитом зрителями зале: „Как же вам не стыдно!“ Это было так неожиданно, так искренне, что все молча, повинувшись внутреннему приказу, повернулись к нему. Повернулся и старик, благодарно помаргивая воспаленными веками под стеклышками пенсне. Добровольный защитник старика был, судя по всему, изрядный чудака. Очень длинный, на голову выше остряка, он тихонько покачивался на голенастых, как у циркача или гимнаста, ногах; его лицо выражало ненапряженное внимание, мелкие глаза металлически поблескивали под треснувшими стеклами больших круглых очков, красивый прямой нос выдавался над тонкими, но чуть пухлыми еврейскими губами. Как и неудачливый остряк, он был одет в потрепанную, давно утратившую форму черную черкеску. Руки он прятал в оттопыренные карманы, его легкие ноги, обутые в дырявые галоши, то и дело переступали, как будто их владелец танцевал еврейский танец на кончиках пальцев. Но ни то, что он обносился до крайности, ни то, что постоянное и долгое недоедание наложило серые тени на его впалые щеки и подглазные впадины, не смогло подавить в нем нечто возвышенное, нечто праздничное. Именно об этом думал, пристально глядя на него, наш шутник. В чем именно выражалось это праздничное начало, он не умел обнаружить; может, в серебряно

звнящей интонации голоса, а может, в остром блеске глаз, или даже вот в том, что на фоне старого, вылинявшего воротника шея Исая выглядела удивительно чистой, свежей, только что тщательно вымытой ледяной родниковой водой.

Исай продолжал, слегка понизив голос:

— Ведь мы все пришли сюда за работой! Какие тут могут быть шутки? Вы только взгляните на этого человека, — он кивнул головой в сторону старика в покрившемся пенсне, — поглядите на его руки. Ведь это музыкант, настоящий музыкант своего дела! Он лист возьмет за обрез, не согнет его, не испачкает пальцем; поглядит на свет, прочитает бережно. Он изголодался по привычной работе. Но когда он жует губами, он думает не о прочитанном — он думает о хлебе!

Присмиривший шутник вслушивался в этот поток слов, пытаясь понять, куда клонит этот странный оратор. Казалось, что Исай говорит не совсем всерьез, что он рассказывает собравшимся какую-то притчу, сказку, — или, не обращая внимания на других, сам себя заговаривает, свою боль, накопившуюся в сердце... Старик, открыв рот, слушал Исая внимательно, не пропуская ни слова. Он, как видно, был очень доволен его речью, но все же буркнул довольно внятно: „Что ж, молодой человек, от хлеба я, пожалуй, не отказался бы”. А тот все продолжал говорить, и все с той же чарующей, подкупающей интонацией:

-- Или вот та седая гражданка, которая, это сразу видно, истосковалась по любимому делу, по делу ее жизни. Ведь она педагог, прирожденный педагог, взгляните только на ее лицо, посмотрите в ее глаза — в них отражены лица тысяч ее учеников!

Услышав обращенные к ней слова, старая учительница собралась было одернуть говорившего, назвать его наглецом и хулиганом, может быть, даже толкнуть —

как десятки раз в очередях за хлебом, за маслом, за крупой, когда изнервничавшиеся в бесконечной очереди люди вспыхивают как порох от каждого слова, показавшегося им колким, от каждого жеста, показавшегося им неуважительным, — и вот уже в разгоревшемся скандале каждый действует глоткой, и локтями, и кулаками, и человеческое месиво, не отрываясь от заветной магазинной двери, волнуется и выходит из себя... А потом, вернувшись домой с тощей авоськой, старая учительница сидит повесив голову за пустым столом и думает, и повторяет про себя: „До чего же мы все дошли!”

И вспомнив об этом, старая учительница раздумала привычно ссориться. С каждым новым словом Исая на душе у нее становилось все теплей, все ясней... „Какой догадливый — сразу определил, что педагог...”. А Исай продолжал:

— А вот парень, что стоит у самой стены. Доброе утро, молодой человек! Вы, я уверен, профессиональный шофер... Поглядите, товарищи: ногти его черны от машинного масла, спина бела от пыли дорог. Он знает машину, как своего ребенка. Вытащить его из кабины — все равно что выковырять черепаху из ее панциря. Я знаю шоферов, поверьте мне! Я знаю, как они подруливают к обочине и говорят пешеходу: „Садись, подброшу, дорого не возьму — не обеднеешь!” Шоферы — корыстолюбцы: любят деньги не меньше, чем пешеходы. А ведь машина железным своим телом хочет нагрузки, хочет везти людей и грузы — и в обмен ей нужен только бензин, а вовсе не деньги для шофера... Шофер без машины — как кипяток без заварки. Шофер проводит в машине или под машиной девять десятых своего времени, а когда спит — машина ему снится. Быть без работы для шофера — мука... Так как же ты можешь шутить, приятель? — он обернулся к неудачливому остряку,

который давно уже пожалел о своей неуместной шутке. — Как здесь, среди таких же, как ты сам, безработных, слова твои не застряли у тебя в глотке?

Безработные стояли молча, как бы ожидая продолжения этой странной речи, этой певучей сказки. И когда Исай кончил говорить, все эти возбужденные люди почувствовали некое приятное облегчение — как будто прошел свежий прохладный дождь. А ведь сколько дней подряд каждый из них только и думал о том, чтобы какая ни на есть работенка досталась именно ему, а не соседу, и чтобы появились деньги на хлеб. Сколько дней неутолимая жажда томила их, точила щемящая тоска о будущем.

Ее испытывает крестьянин по весне, когда у него нет пригоршни зерен, чтобы бросить их в распаханную землю. Это тоска по нерастраченной силе, что накапливается в человеке и в природе вокруг него и ищет выхода. Тоска по труду, а не по зарплате,

— Затянешь пояс до самого хребта, — буркнул кто-то, — так и про машину забудешь. За кусок хлеба камни пойдешь таскать в карьер, а не пойдешь — так поволокут тебя на аркане.

— И все равно даром я вас подвозить не стану, и не надейтесь! — вдруг гаркнул шофер. Он, казалось, хотел разбить, растоптать что-то хорошее и прекрасное, возникшее в его душе. Но всем было видно, что он и сам не верит своим словам.

А Исай вновь обратил на шофера свой пронизательный взгляд из-под треснувших очков:

— Ошибаетесь, дорогой товарищ, ошибаетесь в самом содержании труда, путаете его с оплатой. Я вот, например, знаю, что для меня в конце концов найдется работа — но я отнюдь не уверен в том, что она принесет мне деньги в избытке, — он вытянул руку из кармана, и наш остряк, о котором все уже успели позабыть, заме-

тил, что рука эта была красивой формы, чистой, с длинными пальцами и тщательно вычищенными ногтями. Исая очертил перед собой широкий круг рукою и продолжал: — Не может такого быть, чтоб не нашлась для нас работа: ведь по всей стране началось крупное военное строительство.

Пожилая еврейка в окошечке заслушалась Исая и, дождавшись, когда он кончил, высунулась из своего скворечника, как птица.

— Пока ничего для вас нет, — сказала она с сожалением в голосе, как бы прося прощения у безработных людей. — К пяти часам приходите, — и захлопнула окошко.

2

Толпа начала медленно расходиться. Исая и его попутчик — его звали Иосиф Ашуров — вместе вышли из длинного барака.

— Станный вы, однако, человек, — осторожно начал Иосиф. — Пропагандируете как опытный специалист...

Они шагали рядом, и Иосиф успевал шагнуть дважды, в то время как долговязый Исая делал только один шаг.

— Безработный интеллигент, — беспечно осведомил Исая и, клонясь под ветром, поднял воротник. — Я знаю — из меня вышел бы отличный агитатор. Страсть как люблю говорить, и знаете почему? Сам себя убеждаю и переубеждаю. А вот есть я хочу совсем иначе, чем вы.

— То есть как же это?..

— Дельный вопрос. Итак, начиная с Адама...

Он вдруг умолк, огляделся вокруг. Они спускались из центральной части города к его дальней окраине, разрушенной во время революции. По решению Горсо-

вета весь город должен был быть перестроен в соответствии с генеральным планом, и окраинная его часть с узкими улочками, по которым разве что ослик с поклажей мог пройти, не задевая глинобитных сырцовых стен, подлежала реконструкции. Это все должно было произойти в неопределенном будущем, а покамест кубики безголовых домишек торчали из сухой земли, как кладбищенские камни, и порывистый ветер швырял от стены к стене сухую известку. И было все же нечто прекрасное, дикое в этом нищем предместье. Сверху, с застроенного домами холма, эти узкие улочки казались прочерченными рукой опытного картографа на старинной карте, хранящейся за семью замками в историческом музее. Горбатые крыши выглядели сверху идеально ровными, арки подворотен и вымытые дождями стены напоминали цветом выцветшую от времени гравюру. Ослепительные лучи солнца пронзительно высвечивали открытую степь и клали черные, цвета привозной китайской туши тени под сводами, под каждым навесным балкончиком или карнизом — словно бы сами эти тени давным-давно в незапамятные времена стали деталью городского пейзажа: подведенные сурьмой глаза наличников, ресницы оконных переплетов. Над этим отчетливо-линейным миром картиной из описаний Дюмон-Дюрвиля или гравюрой на библейскую тему возвышался потухший вулкан — могучий Моисей, упирающийся в небо двумя своими рогами, с цепью круглых облаков у подножия. Вода разрушенных арыков билась где-то меж первыми домиками — ритмичным пульсом умирающего. По блеску солнца, уже припекающего, как в апреле, по яркой и теплой синеве неба, по глухому горному грому угадывалась необычно ранняя весна. Приди она раньше срока, прекрасная и хищная, — и под звон луж, примерзающих к ноге, вспорхнут миллиарды белых и

розовых бабочек — абрикосовых и персиковых цветов, цветов-однодневок: померзнут цветы, погибнет урожай.

— Куда мы, собственно, направляемся? — спросил Исая после долгой паузы.

Его спутник молча указал на покосившийся домик с просевшей кое-где крышей, стоявший на отшибе. Хозяева после прихода коммунистов бросили свое хозяйство и бежали в Палестину. Иосиф Ашуров вселился сюда, разумеется, без ордера и без разрешения властей, поставил железную печку-мангалку и вот теперь ждал, пока найдется для него какая-нибудь работа.

Впрочем, особой нужды здесь жить, да и искать черную работу, у художника Иосифа Ашурова не было. При желании он мог бы устроиться без забот и без хлопот у своего состоятельного родственника, бывшего виноторговца.

— Хотите, — говорит Иосиф и дергает Исая за рукав, — я вас сегодня к нему затащу? Он как раз серебряную свадьбу справляет. Жить я у него не хочу: там жить — значит, писать портреты всей семьи. Это, знаете, не для меня, я не кондовый реалист. Я, если хотите знать, экспериментатор, меня наши передвижнички и так чуть со всеми потрохами не съели. Это ведь я от них из Москвы сбежал. Приехал сюда — а они и здесь окопались. До лета тут перезимую — и назад поеду, в Москву... А вы кто? Откуда?

Говоря без остановки, художник Иосиф Ашуров протиснулся в свое убогое жилье, опустился на корточки перед мангалкой и, чиркнув спичкой, принялся раздувать огонь. Исая шагнул вслед за хозяином под брезентовый полог, кое-как защищающий от весеннего зябкого ветра. В другой части дома — там, где крыша обвалилась и верхний дневной свет был ярок — художник устроил себе мастерскую. Там стоял мольберт, похожий на длинноногую цаплю, валялись в беспорядке на-

чатые холсты, сохла прислоненная к стене большая картина в подрамнике. Тут же, в углу, насыпана была горкой мелкая, уже проросшая белыми червячками картошка и отдельно, малым холмиком — крупный ахтинский лук. Забыв уже, о чем спрашивал гостя, хозяин продолжал болтать. Он говорил на местном еврейском диалекте, пересыпая его русскими словами. Он уже свободно, раскованно обращался к гостю на „ты”. Его живые искристые глаза передавали всю гамму обуревавших его чувств — он горько жаловался на непонимание, на местные нравы:

— Все они тут рабы, мазилы. Сводят личные счета, сплетничают, подсиживают друг друга... А один заказчик — пень, мешок с деньгами, говорящий ящик — вчера отказался от портрета. Такого типа зашли на необитаемый остров — так он обезьянам кокосовые орехи по спекулятивной цене продавать будет.

Пока художник гневно обличал местных обывателей, Исая успел мельком, но внимательно, оглядеть его картины, вернуться к мангалке и незаметно, но решительно завладеть лучинами и щепками для растопки. Не прошло и пяти минут, как он уже хозяйничал у печурки: вычистил обросшую копотью кастрюлю, принес воды, почистил и вымыл картошку. Ашуров вдруг поймал себя на том, что вовсе упустил нить разговора, забыл, о чем только что говорил — и только смотрел с удивлением и интересом на спокойные, ловкие и какие-то удивительно деловые действия своего нового приятеля. Он любовался отточенностью, четкостью жестов Исая — и вдруг пробормотал:

— А есть ты все-таки будешь, как я, как все!

Тщательно вытерев руки о серую тряпку, заменявшую полотенце, и повесив ее на ржавый гвоздь, гость наконец заговорил:

— Вы любите музыку? Вот так, внезапно, вдруг, из

эфира, в солнечный полдень или в разгар ночи, когда ветер улегся и вывездило, и все звуки суетной жизни умерли — приходит музыка. И вы говорите про себя, говорите взволнованным шепотом, что это такое сладкое счастье — просто быть, чувствовать себя частью мира, частью природы. И как жаль, что так редко мы испытываем это счастье: чувствовать... Так бывает с вами?

— Нет, — отрезал художник. — Музыка раздражает меня, я вообще ее не понимаю. А если все же понимает — то тянет к хныканью, к тоске. Жалко становится всех: и людей, и себя. Думаешь: нет ничего такого в жизни, музыка обманывает, провоцирует... Я вас спросил: картошку будете есть?

— Вы только послушайте меня, — продолжал Исай. — Для меня с самого детства жизнь и была музыкой. Воздух, деревья леса, времена года, запах травы, цвет солнечной реки — это и есть музыка. Я любопытен, я все хочу знать про человека. Да я часами готов сидеть на лавочке в городском саду и читать прохожих людей, как книги! И наконец, труд, который я могу приложить к повседневной жизни...

— Ага, приближаемся к картошке... — вставил Иосиф.

— Труд в повседневной жизни... — как ни в чем не бывало продолжал Исай. — Я был единственный сын в семье, и, подготавливая меня к труду, родители дали мне прекрасное образование.

— Да сколько же тебе лет? — воскликнул Иосиф.

— Тридцать четыре, — сказал Исай.

Ответ Исая поразил художника. Ему самому исполнилось двадцать пять, но выглядел он куда старше. Он даже седые волосы выдергивал из своей шевелюры... Все интересней становилось ему слушать рассказ гостя.

— Я изучал Ксенофонта, — глядя в огонь печурки, говорил Исай. — Кир, персидский царь, сказал как-то,

что он подымается рано, чтобы успеть поработать с утра и заслужить первый кусок хлеба за завтраком... Это стало моим правилом, и не случайно: родители баловали меня, а я, как это часто бывает в детстве, больше слушался отцовского кучера, чем отца. Вот кому я действительно завидовал — так это нашему кучеру! Родители ждали от меня Бог весть чего — особых талантов, гениальности. А я? Ну, например, дарили мне кубики — строить. Меня это ничуть не занимало. Мне бы двор подмести, или выстрогать жердочку для птицы в клетке, или настругать для кухарки лучину на растопку... Потом, когда я вырос, мать прозвала меня „сплошной прозой”. Она никак не хотела понять, в чём дело. А ведь все было так просто: я рвался в жизнь, в бытие, я стремился стать частью этой простой жизни! И вот на войне я получил первый урок...

— На войне?

— На гражданской. Я ушел прямо из университета, прошел всю войну, в госпиталях валялся на кровавых простынях. Там, в госпитале, встретил Лазаря Когана, одессита. Он меня, как говорится, раскусил и говорит: „Вот увидишь, ты будешь рабочим человеком”. Я был просто убит этими его словами: честолюбия во мне было хоть отбавляй, я в себе видел создание особое. „Почему?” — спрашиваю Лазаря. „Потому, — говорит, — что для самого себя, ради самого себя ты трудиться не сумеешь никогда. Но пройдет немало времени, пока ты это поймешь. А пока тебе с нашим братом не по дороге”.

— Что за чепуха! — отрывисто перебил художник.

— Нет, не чепуха! Я потом это хорошо понял, сам к этому пришел. Я ведь думал, что я — часть бытия, часть мира, а в действительности жил для собственного удовольствия, в одиночку... Это мне тогда очень здорово Лазарь Коган растолковал.

— Чепуха, чепуха! — упрямо повторил Иосиф.

— Нет! — почти выкрикнул Исай. — Вы обязаны, просто обязаны вдуматься в это — иначе вы запутаетесь, заблудитесь в своем искусстве, потеряете дорогу и не найдете пути назад!

— А я и не думаю идти назад, я двигаюсь только вперед! — запальчиво возразил художник. — И что вы мне втолковываете примитивную азбуку! Эти тупицы вообразили, что можно без конца делать революцию, можно скакать сломя голову, а в искусстве все надо, видите ли, разложить по полочкам да по ящичкам, чтобы массовому зрителю было понятно. А я плевать хотел на массового зрителя и вам говорю откровенно: если вы такое мне ляпнете, я вас просто выгоню из мастерской! Надоело слушать, честное слово...

Разволновался Иосиф, разбушевался. И хотя не хотел показать этого, обиделся на Исая: что-то в тоне гостя хоть и не впрямую, а выражало отрицательное отношение к его, Иосифа Ашурова, картинам. Не понравились Исая хозяйские картины, ясно, не понравились — а ведь он и не глядел как следует, и свет падает плохо. И считает он, наверно, Иосифа бездарью и мазилой. Иосиф даже задохнулся — так много слов у него было наготове, чтобы разгромить Исая, — но слова почему-то не шли из горла. А ведь с каким блеском справлялся он с оппонентами — не на публичных дискуссиях, конечно, — там эти хулиганы никому рта не дают открыть, — а в мастерских, у полотен, в кругу друзей и единомышленников!

— Искусство призвано перегонять время, — выдавил наконец Иосиф. — Искусство — конь, время — телега.

— Но ваши картины... — недосказал Исай.

— Много вы понимаете в моих картинах! — перебил Иосиф.

Между тем Исай, поднявшись, сдвинул крышку с казанка, и горячий, вкусный пар, сладкий запах картошки с луком ударил в нос голодным спорщикам.

Концом сломанного ножа Исай захватил щепотку крупной серой соли и бросил ее в казанок.

— Готово! — сказал Исай.

Запах благотворно подействовал на Иосифа Ашурова. Он помог Исаю отыскать в ящике две жестяные плошки, заменяющие тарелки, и благосклонно принял из рук своего оппонента благоухающее блюдо.

— Он верно сказал, этот ваш Лазарь Коган из Одессы, — с удовольствием разминая языком горячую рассыпчатую картофелину, сказал Иосиф. — „Абстрактный труд — это ничто, фикция”. Вот сейчас, при коммунистах, могу ли я обеспечить себе нормальную жизнь моим искусством? Вряд ли... Вот и иду землю копать, камни таскать: жадность, мало мне картошки с луком. Будут деньги — может, снова вернусь к моим картинам. Все очень просто. И мы с вами — бывшие люди: нас не приучили с детства уважать основные ценности человечества. Правда, вчерашние ценности выброшены на помойку, а сегодняшние еще не утверждены властью. Впрочем, кто его знает: может, власть утвердит искусство как первейшую потребность рабочих и служащих.

— А что вы считаете истинной потребностью? — спросил Исай. — Хлеб, сон, любовь? Или детей? Или вы думаете, что все это — пошлятина, мелочь, утехи серого маленького человечка? А как же Гете? „Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой” — помните? Или „Тот наг, кто никогда свой слез в слезах не ел”? Хлеб — это труд, сон — отдых, дети — это любовь.

Как бы смутившись собственной доверительной интонацией, Исай понизил голос:

— Люди, ей-Богу, куда лучше, чем о них принято говорить. Возьмите вот хотя бы нас с вами — мы знакомы всего лишь два часа, встретились на улице, едва знаем друг друга по имени, — а вы пригласили меня к себе, мы

вместе едим и говорим о самых дорогих, сокровенных вещах на свете.

— Скажите, — вдруг спросил Иосиф, — вы считаете меня бездарностью?

— Нет, — помолчал, сказал Исая. — Совсем нет. Вы талантливый человек. Но вы неверно судите о жизни и потому еще не нашли свою дорогу.

— Как так не нашел? — переспросил Иосиф. — Я абсолютно искренен, я просто иначе не могу. — Это был самый последний его аргумент.

К собственному тревожному удивлению, Иосиф почувствовал, что выставил он этот свой аргумент без обычного апломба, без прежней уверенности в себе. Удивительное дело! Как сквозь слой ваты, слушал он раздумчивые рассуждения Исая о том, что развитие инженера или врача — это всегда накопление знаний и опыта, а человека искусства движется рывками, и отнюдь не всегда по прямой. „Я так устроен”, „я искренне”, „я не могу иначе” — вот и вся аргументация. Но ведь художник не из камня сделан, как его творение. Художник — живое существо, горячее, пламенеющее. Дорога художника должна быть выстрадана всей его болью, и болью других людей.

— Это все верно, — сонно пробормотал Иосиф. — Но я тебе сказал и повторяю: кондовые мазилки — ерунда, мерзость, стервятники. Они ничего не понимают в искусстве...

Исая тоже клонило ко сну после еды, он с трудом разлеплял веки, и очертания комнаты казались ему расплывчатыми, нерезкими. Чувствуя, что вот-вот заснет и повалится на бок, он поднялся на ноги и потянулся к шапке, висевшей на гвозде. Иосиф потянул его вниз за полу: он не хотел отпускать гостя.

— Садись, — сказал он. — Куда идти-то! Вечером мы погуляем у моего богатого родича. А ночевать мож-

но здесь: сено есть, дрова есть, клопов нет. Завтра вместе пойдем в отдел кадров. А сейчас надо полчасика вздремнуть. А? Согласны?

Растянувшись на полу, на сене, они словно бы провалились в колодец. Солнце прочертило свой золотой путь по небу, скрылось за горой без следа — а они все спали, и сон их был сладок.

Глава вторая

ПИР С ЗАВЯЗКОЙ

1

Меж тем в доме бывшего виноторговца — того самого богатого родича, к которому Иосиф собирался вести Исяя, — полным ходом шли приготовления к пиру. С самого раннего утра теща, кума, сестра и два десятка соседских старух, как куры, набились к нему во двор — помогать. Главные угощения были приготовлены с вечера. На крытой деревянной веранде, выходявшей во двор тесаными колонками и зубчатым резным карнизом, сияли красными боками медные котлы с желтым от шафрана пловом и разваренным мясом молодого весеннего барашка; его копытца и почерневшая от крови шкурка валялись в глубине двора, у отхожего места. Древний старик сторож, глухой как пень, таскал хлебы, выпеченные в тону. Хозяйка, засучив рукава повыше локтя, деловито вылавливала из вала из высоких жестянок, из острейшего маринада перец, огурцы, лук, чеснок, помидоры; руки ее горели от уксуса. Над широким и длинным кухонным столом висел тяжелый пряный запах бастурмы, начинок и приправ. От этого запаха у женщин болели головы, опухали языки и глаза лезли на лоб.

В двух больших жилых комнатах дочки виноторговца

сдвигали столы, обмахивали от пыли стенные фотографии и перетирали до блеска несчетные отряды стаканов. За стеной, в третьей комнате, изумленно пожимал плечами жилец — доктор Пинхасов. Прислушиваясь к предпраздничному грохоту за стеной, доктор страдальчески выгибал брови и дергал себя за мочку правого уха; то был любимый жест доктора Пинхасова, и он делал его очень похожим на обезьяну в расцвете сил. Доктор был человек нездешний — он приехал в Дербент из Кубы и теперь вот снимал за гроши комнату в доме виноторговца. Хозяева, по разумению Пинхасова, должны были себя считать обиженными: цена за комнату действительно была смехотворной. Но, глухо угадывая в себе причину этого обмана и обиды, доктор Пинхасов мысленно переходил в атаку: „Что ж, если вы, уважаемый виноторговец, такой дурак, то вам и закон не писан: с дураком я вправе поступать, как он того заслуживает. Вот увидите, через день-другой я сбавлю плату вдвое, а вы это перенесете как миленький!“ Войдя в роль, доктор Пинхасов грозно дергал себя за мочку и размахивал кулаком — в то время как его пациент, лежа в кресле с разинутым ртом, вертел кровавыми глазами и тоскливо думал о том, когда же проклятый зубодрал вернется к своему делу.

Доктор Пинхасов брезгливо наморщил губы. Тоже мне — праздник устроили. Что они празднуют? Умеют ли они праздновать, в этом дурном Дербенте?

— Вот у нас в Кубе, — объяснил он пациенту прямо в раскрытую окровавленную пасть, — праздник — так праздник. В доме не станут душить. Вынесут все столы на двор, полгорода соберут — веселье!

Пациент не мог защитить местные обычаи: доктор продолжал свои манипуляции у него во рту. Он только промычал — не понять: то ли согласно, то ли возражая.

— Ах, как у нас празднуют свадьбы! Пятьдесят лет

проживешь — не забудешь. Все друзья у нас, все — родные. И вот если у тебя сын, а у приятеля дочь, то вы их помолвите еще во младенчестве. Важно, чтоб хорошие люди роднились. Растут они себе, подрастают, а ты спокоен: твой выбор, ошибки быть не может. Ну, бывает девушка капризничает: покажи ей жениха до свадьбы, или парень заартачится — ему на невесту глянуть надо. Тогда родители просят товарищей вывести суженых на улицу. Вот выйдут две девушки; невеста, конечно, лицо прикрывает, но так, что все-таки можно видеть... А навстречу трое парней. Ну, спрашивают парня, как тебе девушка справа? А девушке говорят: полюбишь ты того, что посреди идет. Молчат они, как положено. Приходят домой, друзья родителям докладывают: видели они друг друга. Понравились. Можно сватать. И теперь они до свадьбы встречаются, ну, раз так в две-три недели. Хорошо! А уж десять-пятнадцать дней до свадьбы — время подарки готовить. И чего не надарят только! Подносов громадных штук, наверно, пятьдесят: и одежду, и обувь, и украшения золотые, и дорогую посуду... Стараются гости друг перед другом — кто кого передарит. Вынесут бабы подносы на голове на самую середину улицы, под барабан до невестиного дома несут и выкликают, от кого подарок. А стоят мужчины возле раввина, описывают, что подарено, — красноречие со щедростью соперничает. И вот пятьсот человек гостей два дня гуляют. Первый день — в среду — у невесты, на завтра — в четверг — у жениха...

Доктор почти забыл о пациенте с окровавленной ватой во рту. Но тут опомнился, вату вытащил, дал стаканчик пополоскать, попросил потерпеть еще немного и продолжил лечение вместе с рассказом.

— Самые близкие подружки остаются несколько дней у невесты, и неделю перед свадьбой живут ближайšie

друзья у жениха. Невесту в дом жениха ведут с музыкой и свечами. Родные и близкие невесты требуют выкуп за девушку. Сторона жениха платит. И под ноги молодым кидают рис и деньги — чтоб жилось им сытно и богато. А руки у невесты медом смочены, и медовой рукой она дверь своего нового дома открывает, и медовые ее пальцы гости облизывают... И сажают на стул, весь шоколадом да сахаром засыпанный. А как первый танец выведут невесту плясать — так дождем на нее деньги сыплются. Соберут после — музыкантам за труды пойдет. А девушка-то, девушка... Лет ей пятнадцать... Семнадцать — это уж почти перестарок. И уводит ее жених в спальню. Гости ждут. Самое теперь главное две женщины со стороны невесты и два родственника жениха пропустить не должны. Едва свершится главное-то, они кидаются в спальню и оттуда плат окрасавленный вытаскивают и с криком по ночной деревне несут. Шутка ли — честь невесты несут! И теперь они предлагают родителям невесты выкупить плат. Ну, торговля! Иди ты! Двести рублей! Двадцать курей! Пять бутылок коньяка! Да бараньего мяса пять кило! А потом к жениховым родителям пойдут и там тоже выкуп за „честь невесты” возьмут. И всех родичей обойдут — со всех дань. Всю ночь гульба! Вот какие свадьбы гуляли. Теперь не то, конечно. Ну и жены у нас верны мужьям, что бы ни случилось: война ли, без вести пропал — сто лет ждать будет, детей поднимет... Вдова если даже, то редко у нас замуж выходит, да... — он вздохнул тяжело.

В этот момент в комнату протиснулась розовая Сипа, растрепанная, как веник, с которым она с утра носилась по комнатам.

— В чем дело? — грозно оборотился к двери Пинхасов.

— Мы вас очень просим, доктор Пинхас, — и мама, и

папа, и все — приходите к нам сегодня вечером! Простите, Бога ради, за беспокойство...

Багровый глаз пациента полной луной поплыл за мелькнувшим в дверях фартуком. А доктор Пинхасов не успел перестроить свои атакующие ряды: растерянный и умиленный приглашением, с раскаянием в душе, тер он ртуть на стеклышке и думал над тем, какой торт купит он этим симпатичнейшим, милейшим Ашуровым.

К вечеру подоконники, столы, лавки и даже полы в коридоре — все было заставлено яствами, до нужной минуты предусмотрительно прикрытыми полотенцами, салфетками и газетами. На двух длинных, сдвинутых столах был сервирован чай с пирогами и печеньем; к чаю был приглашен не настоящий гость, а так — незначительный поздравитель. Но и ему, незначительному, полагались торты, кирпичики пахлавы и миндальных конфет и варенья, не виданные на севере: из баклажан, лепестков роз, айвы, арбузных корок, ореха и моркови.

К вечеру, раздобыв на майдане пару старых, странно длинных и удивительно узких спортивных туфель, Исай Ильич Шалумов и художник Иосиф отправились на пир. Весь город, казалось, маршировал мимо ранних ночных огней в окнах домов — огней, отважно споривших с нестерпимым блеском заката. Оборванные деловитые мальчишки пронзительными голосами выкликали название и цену свежей газеты, только что доставленной сюда поездом из центра Закавказской федерации. Нагорье прополаскивало горло воздухом чистым и холодным, как родниковая вода; по утрам солнце ошетинилось тысячами лучей, острых, как дикобразьи иглы — а сейчас было холодно, и мерзли пальцы на ногах. Созвездия раскатились по широкому небу, как будто кто-то могучий и искусный разбил с одного удара бильярдную пирамиду, и вот шары разбежались по всему полю... В этом городе все совершалось „на воздухе”. Кто про-

вел здесь месяц — оставался на год, кто остался на год — не уставал дожидаться смерти. Человек чувствовал здесь себя мебелью, вынесенной на воздух, выколотенной от пыли и оставленной снаружи для проветривания.

Опьяненные сладким воздухом, раздувая в улыбке усы, шли по улице мужчины. Умный наблюдатель читал их лица, как читают почтовые марки, проштемпелеванные десятком печатей, — и открывалась многогранность Прошлого, истоптанные кочевниками большие дороги, переселения народов, вечный транзит между Востоком и Западом. У одних острый изгиб ноздрей, похожих на мертвую петлю, вытянутый книзу нос и круглый затылок наводили на мысль о владычестве гиксосов, об искусстве египетских скульпторов, о древнем народе — хемитах. В иных плоские скулы, подскочившие к самым глазам, и младенческий рот выдавали монголов. Третьи походили на греков, на итальянцев с их ровной линией бровей, с прямыми и короткими носами. Все они были разными и несхожими, и куда бы, в какой уголок света ни закинула их судьба — они нашли бы там соплеменников. Все они были евреями.

Женщины и молодые девушки прогуливались парами, не пересекая дорогу мужчинам; движения их были продуманны, губы налиты вишневой кровью. Их тяжелая красота, их иссиня-черные, цвета воронова крыла волосы над белыми матовыми лбами — все это как бы сошло с полотен старых мастеров.

Художник Иосиф горбился, втягивал голову в плечи: в толпе ему было не по себе. Желтый электрический свет заострял его черты, в беспорядочно рассыпавшихся волосах поблескивали серебряные нити, а лицо казалось изрытым глубокими морщинами. Путь им предстоял неблизкий — до противоположной городской окраины, утопающей в садах, — а они не дошли еще и до центра,

до старой площади с недавно разбитым на ней сквером. В кирпичных особнячках и казенных каменных домах, в мрачном здании тюрьмы с дощатыми намордниками на окнах, в наскоро сколоченных бараках для новых арестованных, в долговязой пожарной каланче угадывались еще черты старого губернского города Российской империи, не помышлявшего о дополнительном тюремном строительстве и строгом отсечении пригородов, населенных нищим рабочим людом, голью перекатной, от чиновно-партийного центра. Но леса уже взбирались по стенам подновляемых для начальства домов, улицы центра загромождал строительный мусор, и узкие тропинки обегали и огибали ямы с водой или известью, вырытые посреди дороги. На улицах появлялось теперь куда меньше прогуливающихся людей: новый крутой режим внушал неуверенность и страх.

Пятнадцать лет тому назад каждый гуляющий знал другого в лицо. Купцы вытаскивали стулья, ставили их перед своими домами и садились подышать свежим воздухом, а прохожий люд приветствовал их, вежливо наклоняя голову и величая по имени-отчеству. Грохотала по бульжнику пролетка местного помещика — отменного знатока лошадей... Теперь кости помещика валяются в овраге, коней пустили на колбасу для голодающих казанских татар, а пролетку забрал себе начальник областной ЧК. Да что там кони! Владелец ишака считался теперь кулаком, а тот, у кого было шесть баранов и две козы, зачислялся в капиталисты и шел в тюрьму как враг трудового народа. В старое время в городе среди кавказских евреев можно было найти и профессоров, и музыкантов, и актеров, и молодых беспокойных студентов. Теперь, хоть по пяти раз на дню выходи на улицу — знакомого лица не встретишь: кто бежал из города, кто сидит за решеткой, да и многие сотни голодающих или просто отчаянных людей с большой дороги

понаехали в город, осели здесь. Исай, сбоку взглянув на своего спутника, сказал об этом вслух.

— И все же много осталось старья! — беспечно сказал Иосиф. — Вот, к одному такому мы сейчас и идем. Хотите, расскажу?

Исай согласно кивнул.

— Я сам из мещан, родом бакинец, — начал Иосиф. — Жили мы там прекрасно, впятером на базар ходили за покупками — а на базаре, не как теперь, при колхозах, все можно было купить. Да это ты и сам знаешь не хуже меня: поди достань ведро картошки! Я каждый день бегал купаться в море, загорал на солнышке. Там, на пристани, стояли лодки с дивными названиями: „Мария молодец“, „Пушкин молодец“. Я сам катался на „Пушкине“... — Взглянув на шагнувшего рядом Исая и убедившись в том, что он слушает внимательно, Иосиф продолжал: — Так мы и жили, без всяких огорчений-приключений, до одного прекрасного дня. А на этот самый день выпало воскресенье, и пожаловал к нам гость. Был он коротышка, такой сгорбленный, сутуленький, лицо худое, бледное, с бородавкой под носом. Он приехал на извозчике, а за коляской шагал амбал за амбалом. И каждый амбал тащил на спине тюк, перевязанный веревкой. Мать выглянула из окна да как закричит: „Натан, Натан приехал!“ Это точно был дядя Натан. Он нам сунул свою плоскую желтую руку для поцелуя и стал расплачиваться с амбалами. Мы все, конечно, толпились вокруг: что дядюшка привез? Стоим облизываемся... А дядя Натан распутал один тюк, развязал одну коробку — оттуда посыпались жестяные баночки с конфетами, точь-в-точь как из-под персидской мази. На этом деле дядя Натан заработал три с половиной тысячи рублей и сотню отвалил мне на образование. Так это делалось в Баку...

Исай внимательно взглянул на художника и сказал:

— Ну, что ж, вот, значит, цена твоего образования.

— Ну да, — сказал Иосиф. — Ты себе даже представить не можешь, как я ненавижу всех этих торговцев-спекулянтов, как ненавижу козлий дух дяди Натана... Между прочим, мы идем сейчас к точно такому „предпринимателю”-винооторговцу. Это мой двоюродный брат, старший сын того самого дяди Натана.

2

Семейство Ашуровых встречало гостей в передней. Утомление двух последних дней сказалось на женщинах: руки их были красны, веки воспалены. Шелк скрипел и шуршал при каждом движении хозяйки, ее отекавшие от долгого стояния ноги выпирали из новых неразношенных туфель... Все эти мучения повторялись в торжественные дни из году в год. Зато гости проплывали мимо обессиленных хозяев церемонно и с большим достоинством; новая, с иголки-одежда гостей сидела на них подогнанно и ловко, как будто они в таком виде явились из материнского чрева.

Первыми приплелись старушки, дальние родственницы. Сухие синеватые губы на пергаментных личиках улыбались чуть таинственно, словно бы старушки были посвящены в страшную, им одним доверенную тайну. Каждая малая деталь, вплоть до изгиба салфеток на столе, с волнением переживалась старушками; они смотрели на мир ретроспективно, как в анфиладу комнат, уходящих в зеркальную даль. Их длинные крашенные локоны свисали справа и слева из-под старинного головного убора — кисейной фаты, прикрепленной к нарядному налобному обручу и спускающейся с головы на плечи и на спину. Осторожно, двумя руками сняв перед зеркалом этот убор, старушки высохшими, как ветви,

руками опраляли на себе черные шелковые кофты, холодными пальцами касались щеки хозяйки и подставляли ей для поцелуя чуть теплые губы: „Ах, дорогая!..” Малышам доставались щипки и ласковые подзатыльники... Открыв съезд гостей, старушки как бы поворачивали ключ музыкальной шкатулки — и вот уже звучит заводная музыка этого большого дня: первые гости, согласно обычаю, рассаживаются вдоль стен, обмениваются улыбками и выразительными взглядами, и кивок подбородком куда красноречивей сотни слов, и все они отлично понимают друг друга, как птицы на жердочке, и хозяйка чинно плывет от одной к другой. Стуча новыми сапогами, выпучив глаза, бегаёт по комнатам взбудораженный наследник виноторговца Ашурова. Ему пять лет. Он не хочет ложиться спать. За ним застенчиво поспевает девочка постарше — золушка в богатом доме, старается его унять и увести. Руки ее вытянуты вперед и растопырены, как будто она ловит курицу.

Следом за старухами неожиданно-негаданно пожаловал лишний молодой человек. Справедливости ради заметим, что его знали в доме, знали, что он интересный интеллигентный человек. Представляя его, хозяйка складывала губы особенным образом; с таким выражением показывают друг другу иные кавказские евреи револьвер, сообщая попутно, что он не заряжен. Молодой человек служил в Наркомторге. Он был одет в новый пиджак, его краги отбрасывали искры света, бесхитростное и очень юное лицо напоминало раскрашенную гипсовую отливку, каких наштамповано тысячи и тысячи штук. Поискав глазами хозяина и не обнаружив его, молодой человек в некотором замешательстве выгасил из кармана коробку папирос. Хозяева прекрасно знали, чего ради он приходит, и приличия требовали, чтоб хозяйка томилась в соседней

комнате, а встретить мужчину вышел бы мужчина. Но никто из мужчин еще не пришел, и хозяйка тихонько постучала в стенку, вызывая доктора Пинхасова.

Стук этот, пройдя сквозь стенку, обрушился на сердце доктора Пинхасова подобно горному камнепаду. Вот уже полчаса как он танцевал вокруг последней пациентки, в ярости потрясая кулаками за ее спиной и угрожающе выкатывая глаза. Пациентка сидела в кресле — высокая костлявая старуха, прямая как тополь (в стоячем, разумеется, положении), в богатой национальной одежде старинного синего бакинского шелка с красными атласными рукавами, расшитыми золотой тесьмой. Старухин сын, зайдя за шкафчик с инструментами, безучастно жевал там рахат-лукум, облепленный табачными крошками. Он вез сюда свою мать с большой осторожностью, как ящик с посудой, из самого города Огни. Старуха приехала вставлять челюсть. Но как только доктор Пинхасов, выжимая профессиональную улыбку, приближался к ней и протягивал руку к платку, закрывавшему нижнюю часть лица до самого носа, старуха стыдливо хихикала и отталкивала руку доктора. „Вот сукины коты, — с яростью думал доктор Пинхасов о большевиках, — с мусульманок сдирают чадру, а с таких вот старых развалин никак не догадаются содрать их проклятые платки”. Старуха, однако, сидела как каменная, сын ее меланхолично жевал лукум. „Ну, мамаша (идiotка старая!), мы ведь с вами два старика, это ведь всего-навсего рот (не под юбку же к тебе лезу, ведьма!)” Старуха снова отталкивала руку, клекочуще хихикала, и ее большие желтые веки, похожие на индюшачий клюв, дергались над остановившимися глазами... Доктор Пинхасов, взмокнув от злости и усталости, махнул наконец рукой старухининому сыну, не перестававшему жевать: „Завтра придете, завтра!”

К соседям он явился, когда там было уже полным-полно. Забыв купить торт, доктор Пинхасов, однако, несколько раз мысленно его покупал: выбирал цвет, форму кремовых башенок, размер и запах, платил и забирал коробку с прилавка. Он почти поверил в то, что торт действительно куплен и вручен хозяевам... Стоя в дверях и привычным жестом, тремя пальцами, поглаживая усы, он терпеливо ждал проявления особых знаков внимания и расположения — как к гостю, явившемуся с таким прекрасным тортом. Однако появление его среди гостей прошло незамеченным. За чайным столом все места уже были заняты. Озабоченная хозяйка, высоко подняв стакан с рубиновым чаем, осторожно пробиралась вдоль стенки. Чай адресовался тощему старцу — признанному руководителю пиров, местному маклеру. Когда и второй стакан проплыл мимо, доктор Пинхасов пробормотал глубокомысленное „ага” и принялся тереть мочку своего уха.

3

Художник с Исаем не спешили попасть к Ашурову на чай, предшествовавший настоящему пиру. Покружив часок по городу, они пришли к виноторговцу попозже, вместе с другими солидными гостями. Уже снизу видно было, как несут с балкона в комнату тарелки с закусками. Уже музыканты, стоя у лестницы, не спеша развязывали свои мешки и извлекали оттуда инструменты — старинную, выложенную перламутром каманчу, чей кожаный животик, прильнув к резному деревянному столбику, только ждал нежного прикосновения смычка, чтобы затрястись от рыданий; и желтые лоснящиеся бубны. Бубны взял и поднял к плечу седой безбородый перс с изъеденным оспой лицом. Поклонившись хозяй-

ке, музыканты прошли в дом. Художник даже не представил Исаю: на ашуровские пиры приглашенный почти всегда прихватывал с собою какого-нибудь приятеля и с загадочной улыбкой проталкивал его перед собой в комнату. А ну-ка, дорогие хозяева, догадайтесь сами, кто этот почтенный человек!

Исай прошел в гостиную вместе с двумя университетскими профессорами. Эти ученые люди приехали сюда из Москвы отдохнуть и конечно же были приглашены на пир. Нельзя сказать, что профессора так уж горели желанием познакомиться с виноторговцем Ашуровым — но им очень хотелось поглядеть народные танцы и послушать Шамхай. Кроме того, виноторговец угощал лучшими во всем краю мускатами.

Вот уже музыкантов с почетом усаживают за отдельный столик. Иосиф подносит им по стакану водки и корзиночку со сладостями, оставшимися от чая. И сандалисты, одобрительно оглядев публику и молчаливо переглянувшись, кладут пальцы на полные тела инструментов, пахнущие потом человека и шкурой животного.

В комнате установился праздничный гомон, пронизанный всхлипами настраиваемых инструментов. Гости обменивались короткими репликами, столь обычными перед самым началом затяжного, серьезного пиршества: „Возьмите, пожалуйста, вот это!“, „Благодарю вас“, „Попробуйте редьку!“, „Непременно“, „А вот печенка — не пожалеете!“, „Вы только взгляните на эту рыбу!“

Тускло поблескивали опрокидываемые в рот стаканчики, мелькали над столом длиннейшие стрелы зеленого лука, сбрызнутого родниковой водой. Пришло время выбора тамады; выбрали достойного красноречивого человека. Он с важным видом то и дело прижимал висячий подбородок к груди, словно подавлял отрывку.

Женщины расположились на одном конце стола и безбоязненно обстреливали оттуда взглядами мужчин, тоже

сидевших скученно. Пальцы их унижены кольцами, сквозь хрупкие прически, сделанные парикмахерами, поблескивают на пухлых, припудренных мочках ушей драгоценные камни. „Молчание! — важно изрекает тамада. — Замолчите все! Первый гост!“

Поднялся со стаканом в руке хозяин, виноторговец Ашуров:

— Вчера расстреляли наших певцов. Мордехай — собиратель песен и пословиц — выступал против перехода с древнееврейского алфавита на русский, и вот нет Мордехая. Эфраим писал для всех нас на нашем еврейском горском диалекте — и Эфраима нет. Выпьем за их память!

Художник слушал рассеянно. Оглядывая лица гостей, он вдруг испытал приступ неодолимой тоски и желание напиться как можно скорей. Он хотел было попросить Исаю: „Держи меня, не давай пить!“ — но Исай сидел уже довольно далеко от него и разговаривал с каким-то коротышкой, сильно смахивающим на обезьяну. А рядом с художником, на месте Исаи, помещалась неизвестно откуда и когда взявшаяся молодая женщина, статная и полная, настоящая красавица. На ней не было ни одной побрякушки. Лиловое шерстяное платье с высоким воротничком и длинными рукавами подчеркивало соблазнительные формы белокурой соседки. На ее мощных круглых коленях, распяленных под натянутым подолом, одиноко белел маленький платочек с надорванным кружевом по краешку. Ноздри короткого вздернутого носа были раздуты, как у деревенской лошадки, почуявшей терпкий весенний ветер. Эта женщина громко и заразительно хохотала неизвестно по какой причине, и из-под прыгающей челки сверкали крупные, чуть вкось поставленные, светившиеся каким-то диким лесным весельем серо-зеленые кошачьи глаза.

— Кто это? — повернувшись к соседу, шепотом спросил художник.

— Вот этот, что разговаривает с вашим другом, — кивая на коротышку, тоже шепотом ответил сосед, — его назначили начальником „Двигательстроя”, на берегу Каспия. Блондинка — его жена, он ее из Москвы привез, а сам — местный.

Красавица кое-что расслышала из этого мужского обмена информацией и, бурно повернувшись к художнику, представилась:

— Алла Ивановна Абрамова.

— А я вам говорю и повторяю, — хрипло меж тем кричал, запинаясь на каждом слове, виноторговец Ашуров, — что всех вас, моих гостей, я глубочайше уважаю и почитаю!

Он по порядку перечислил свои собственные заслуги, потом заслуги своей жены, потом сообщил, что начал он свое виноторговое дело с тремя медными грошами, а теперь вот уже достиг определенного положения и успехов благодаря смекалке и тяжкому труду, и что он вовсе не жалеет о тех жертвах, которые он принес революции и, видит Бог, никогда и не жалел... Одним словом, Ашуров сегодня хотел открыть себя обеими руками, как старую банку с икрой — и вот пыхтел и тужился от неистовых усилий. Знакомое чувство тошноты охватило художника.

— Условия для работы в высшей степени трудные, — говорил тем временем начальник „Двигательстроя”, вдумчиво разжевывая кусок селедки.

Исай слушал его внимательно, положив возле тарелки широкую спокойную ладонь, покрытую золотистыми волосками. Он почти не притрагивался к еде и питью. Даже Аллу Ивановну он вначале как будто бы и не заметил. Его острые, граненые зрачки только раз царапнули сидевших за столом, задержавшись на сутулом

старичке, каждую минуту поправлявшем хлипкое золотое пенсне на кривом носу. Старичок, неизвестными путями попавший за этот стол, был вчерашний статистик из отдела кадров. Шевеля в задумчивости губами, он обстоятельно выбирал закуску. Вилка его перемещалась от тарелки к тарелке, от жестянки к жестянке. Губы подрагивали в улыбке растерянной и чуть алчной. На голом черепе, празднично блестящем в свете сильной лампы, лежали одинаковые белые волосики. Уловив ненароком какую-нибудь реплику, старичок резко откидывался назад, на спинку стула, и выпускал перхоть, отдаленно напоминавшее смех: „кхе-кхе!”

— Чем же именно трудные? — спросил Исай.

— Ну, как бы вам объяснить... — задержался с ответом начальник строительства, посасывая маринованную травку. — В кооперативе жулики, проходимцы, то одного нет, то другого. Крыши барачков текут. Культурный досуг — вот разве что сюда выберешься на несколько дней, да и то в полгода раз. Аллочка вам подтвердит. И людей у меня нет, зарез у меня с людьми. Вот, дядю везу... Иван Гаврилович, дядя дорогой, мы ж договорились: не напиваться!

Старичок в золотом пенсне вздрогнул, как от укола шилом, и быстро опрокинул в рот рюмку.

— Вы полагаете, он справится? — с сомнением в голосе спросил Исай.

— Ну все-таки свой человек, родная, как говорится, кровь...

Чужой голос ворвался в их разговор, как врывается иногда в телефонный разговор третий, незванный и незнакомый собеседник, словно бы свалившийся на землю из другого мира.

— Двадцать тысяч чиновников управляют одной бывшей губернией, — произнес чужой голос, принадлежавший городскому старожилу в длиннополом старомод-

ном сюртуке, чуть припахивающем кардамоном, в галстук бантом, отглаженном специально для торжественного случая. Ироническая усмешка не сходила с чистого старческого лица.

Его собеседник, толстый и безбородый, с бульдожьей челюстью и обмякшим ртом, был когда-то присяжным поверенным на Юге России, а теперь штамповал пуговицы в промозглом подвале. „Вот отсижусь до лучших времен...” — со вздохом говорил он близким знакомым о своем нынешнем положении. Но годы шли, а лучшие времена все не наступали, и толстяк в один прекрасный день задал себе вопрос — а не сваял ли он дурака, не поддавшись с его способностями и образованием на государственную службишку. Выслушав замечание кардамонового старожилы, он ответил с обидой:

— Человек моего уровня создан для службы, а не для пуговиц. Да вы только взгляните, кто служит на руководящих постах: неучи, хамы!

— Но все-таки двадцать тысяч чиновников на крестьянскую губернию! — упрямо повторил кардамоновый старожил. Потом он демонстративно вытянул откуда-то из дальнего заднего кармана огромный носовой платок, чистый, но пожелтевший от старости, и высморкался в него так оглушительно, что сидевшие за столом вздрогнули, как от внезапного пистолетного выстрела.

4

Знаменитый каспийский рыбец, запеченный в муке, давно уже стал вчерашним днем — столько стаканов и стаканчиков уплыло за ним следом в желудки почтенных гостей, столько тостов было провозглашено: смешных и грустных, задорных и нудных, порочащих и возвечивающих... Откуда-то из глубины дома слышится

призывный голос хозяйки, и Хана, не без труда высвободив горячую потную ручку из железных пальцев жениха, опрометью бежит на зов матери: сейчас понесут на стол блюда с молодым барашком.

Музыканты, разгорячившись от вина и от славословий в свой адрес, превосходят сами себя. Тарист рвет косточкой струны своего голубинового тара, и изможденно, нежно воркует тар. Надрывается плачем каманча под старой безжалостной рукой, ходит ее живот туда-сюда, туда-сюда, как у танцующей негритянки. Рябой перс сатанеет над бубном, глаза его страшны и прекрасны, он поет и стонет, стонет и поет, рвутся душераздирающие звуки из его сложенных трубочкой губ, и он один сейчас себе беспристрастный судья. Не сыскать достойной награды такому певцу, вздохи одному ему видимой красавицы волнуют его душу бездонной негой, перс прижал к себе бубен, он поет молочную белизну ее груди, воркованье голоса ее, паутину волос ее, восход глаз ее — ах, как только выдерживает бубен такую страсть, такую силу!

— Фу, что это за музыка такая! — не выдержала Алла Ивановна. — Что это за мяуканье, никакие уши не вынесут! Мой муж, Давид Наумович Абрамов, — здешний человек, он тут родился, в Дербенте, и замечательно говорит на местном еврейском языке — а я все никак привыкнуть не могу к этой какофонии... Вот только один раз ты мне, Давид, сам пел — так это еще можно было слушать.

Алла Ивановна родилась в северной России, в семье крупного помещика. Большевики расстреляли ее родителей, и девочку взяла к себе тетка Вера Александровна. Малое время спустя пришла очередь тетки: арестовали и ее, и расстреляли. С тех пор Алла Ивановна осталась одна на свете, и только ее красота была ей оружием и щитом в этом мире.

— Да что ты, Аллочка, — воскликнул с досадой начстрой, — ведь это я тебе пародию на восточную музыку спел! Это я тогда пошутил!

— Нет-нет! — не согласилась Аллочка. — Ты меня тогда просто уморил! Вот было здорово! — Аллочка расхохоталась.

Хозяйка с помощницами меж тем споро освобождали угол комнаты для танцев. Они оттаскивали стулья и столы, поддавали ногами разбросанные по полу бумажки и объедки. Как только освободили место, хозяин с гостями поднялись из-за стола.

Танцы открыла еврейская старуха с тонким, нежным лицом. Низко опустив еще красивые руки, плотно сжав губы и улыбаясь только глазами, она медленно поплыла под музыку — то отставляя пятку, то наступая на нее, то далеко откидывая голову с застывшим лицом, то клоня ее вбок. Движения ее становились все более выразительными, все более чувственными. Тело ее было напряжено, пальцы рук трепетали, и зрители ударяли ладонями в такт музыке и движению. А стоявшие поближе не успевали бросать деньги ей под ноги, и в руки, и на плечи.

Тамада выскочил вторым. Перед медленно плывущей старухой он вынырнул как из-под воды, с большой глубины — крепко прижал кулаки к груди и, пыхтя, кинулся вприсядку, выбрасывая то одну, то другую ногу. Музыканты все убыстряли ритм, прыжки плясуна делались все неистовей, он то припечатывал каблук к полу и глядел на него в раздумье, то всем корпусом резко поворачивался и стремительно наступал на томно кружившуюся старушку... То был танец любви — целомудреннейший из всех танцев, без прикосновения, без открытого огляда, без движений лица; только вытянутые вперед руки говорили и кричали о любви и о желании. Притомившись вконец, старушка ахнула и остановилась. Ей закричали „браво, браво!“, подхватили под руки, и сам хо-

зяин проводил ее, раскрасневшуюся и счастливую, на почетное место.

А тамада все выкаблучивал, то прижимая руки к груди, то выбрасывая их вперед. Его багровый затылок и красный нос блестели от пота. Снисходительно усмехаясь, Хана, хозяйская дочка, вступила в круг. Эта горская девушка посещала занятия в школе ритмопластики и хореографии и на истинно народных плясунов поглядывала свысока. В легком платьице и чулках „Виктория”, с пышным черным хвостом волос, перехваченных на затылке алой лентой, Хана шагнула осторожно, словно по черепкам музейной вазы. Плавно поднятая рука отталкивала: „Нет-нет, не подходите ко мне!” Острое плечо, легонько вздрагивая, словно бы шептало: „Мне-то какое до вас дело!” Это было выступление дрессированного зверька, и чем восторженной поглядывал на дочку виноторговец, плативший немалые денежки хореографам, тем скучней делались профессора, соскучившиеся по кондовым народным танцам. Впрочем, они находили некоторое облегчение в содержимом особой бутылочки, поставленной специально для них хозяином и скрытой от прочих гостей большой хрустальной вазой с фруктами.

— Два месяца не получаем жалованья! — кричал старик в золотом пенсне Исаю, в котором нашел доброжелательного слушателя. — Я уже племяннику жаловался! А какого черта, если сегодня платят, а завтра не платят, сегодня электрификация, а завтра тебя самого включают в штепсель или секут электропроводами по голой заднице!

— Иван Гаврилыч! — подал голос начстрой. — Побойся Бога, не болтай лишнего! И брось пить — голову пропьешь!

Старик послушно снизил тон и, бормоча что-то себе под нос, наливал и пил все подряд: водку, пиво, сухое

вино, дамский мускат и столовый уксус. Глядя на его решительные действия, соседи сконфуженно ухмылялись.

— Наклюкался до того, что сидеть с ним противно... — проворчал начстрой. — А ну, выйди из-за стола, Иван Гаврилыч!

Но Иван Гаврилович помахал ему рукой, как машут рукой дорогим друзьям из окна отходящего вагона. И снова внимательный взгляд Исая ощупал старика, как бы желая проникнуть вглубь, в самую сердцевину происходящего с престарелым дядей начстройа; Исая уже и поднялся, намереваясь увести старика, — но вдруг Аллочка с театральным ужасом схватила его руку и крепко прижала к груди, указывая глазами на художника.

5

Наш бедный художник, набьгчившись, неотрывно глядел на благообразного пожилого человека с покрасневшим довольным лицом: вот-вот бросится. Краснолицый, обмахиваясь пожелтевшим от старости большим носовым платком, упоенно слушал музыку и даже привстал от удовольствия; взорам присутствующих открылись фалды его старомодного сюртука.

— Сюртуки! — пробормотал Иосиф. — Проклятые сюртуки!..

В его осоловелых глазах краснолицый владелец сюртука двоился, троился. Колода карт, выпорхнувшая из фруктовой вазы, рассыпалась, и с каждой карты глядел валет или король в длиннополом сюртуке. Сюртучки ползком подбираются к столу, карабкаются на него, усишки их закручены кверху, брови сведены над пересосицей, вытянутые носы похожи на пистолетные дула.

Торжествуя грядущую победу, сюртучки самодовольно посмеивались, поправляли усишки тонкими пальчиками с наманикюренными коготками... В ужасе Иосиф отвернулся, и блуждающий его взгляд уперся в дядю Натана — нет, не в дядю Натана, а в виноторговца Ашурова, в котором ничего уже не осталось от родной крови, от родственника. Виноторговец пробирался сквозь строй сюртуков, его покрытый бородавками низкий лоб ростовщика желто лоснился от пота, вытянутые к вискам козлиные глаза сияли расплавленным золотом.

Мысли Иосифа в этот миг были стремительны, как горные реки весной: „С детства я искал путь к лику Матери-земли, и земля не обманула меня. Она распахнула передо мной таинственный мир ощущений, и эти дубовые, чинаровые леса, взгорья и болотца, и горные ручьи среди зеленых лугов. Глядя в лицо земли, я искал профиль родины моих предков”.

Именно тогда художник Иосиф пережил, как он потом нехотя рассказывал, свое первое превращение. Это превращение заставило его схватить стакан со стола и, перегнувшись к тамаде, закричать диким голосом: „Тост, тост мне!”

Тост бедного родственника — это чего-нибудь да стоит! „Этот паренек — мой двоюродный племянник, московский художник, очень талантливый и известный... Я ему, как вы понимаете, помогаю”, — достаточно громким голосом дал справку виноторговец своим соседям. Все приготовились слушать тост племянника, когда пухлые пальчики Алочки вцепились в деревянную ладонь Исая.

— Я вдруг увидел, — рассказывал позднее опохмелившийся художник, — этакий амфитеатр, набитый баранами и козлами в сюртуках. Женщины и мужчины трясли головами и блеяли: „Бе-е!” У женщин прямо на глазах отрастали жирные курдюки. Они покачивали курдю

ками и бриллиантовыми сережками, их тупые глаза были похожи на кукиши. Их бляенье звучало несколько хрипловато. Каждый оглядывался на то, что делает другой. Я видел их задние мысли, так же отчетливо, как видел их хвосты. Не было среди них ни одного без задних мыслей... Нет, я не могу все это описать. Но, уверяю вас, то, что я тогда сделал — это была прямо-таки гениальная затея!

Он тогда поднял стакан и провозгласил тост: наше поколение изъязвлено, грядущее поколение должно быть воспитано на земле Торы, иначе ему грозит немая и позорная гибель... Когда сказанное дошло до одурманенных мозгов гостей, первыми возмущенно повскакали из-за стола профессора, за ними последовали рядовые приглашенные. Опрокинулись стулья, тарелки с закуской попадали на пол. И художник пережил второе превращение — и запнулся на полуслове!

Он уловил некую ударную волну, исходившую из двух глаз, из пары черных внимательнейших глазок восьмилетней девочки, золушки в богатом доме. Опустив нежный подбородок на столешницу, она вслушивалась в слова художника со всей доверчивостью неизбежного ребенка, боясь лишь одного: как бы ее не прогнали от стола, подальше от таких таинственных и интересных слов и дел взрослых людей. И не то чтобы эта девочка была хороша собой. Напротив, она выглядела дурнушкой. Гладкие, без блеска волосы зачесаны были в одну тощую косичку и открывали чересчур крупные раковины смуглых ушей, глаза над прямым носом были посажены слишком близко один к другому — но все это сходство с виноторговцем Ашуровым, столь явно выраженное в детском существе, нисколько не отвращало, а, наоборот, притягивало жалостливой трогательностью.

Художник вдруг закрыл лицо руками, словно соби-

рался расплакаться. Непереносимая жалость сжала его сердце. Что будет с этой девочкой? Он представил себе, что девочка сейчас умрет — умрет, услышав его слова, умрет от безнадежности покинуть когда-нибудь постыльную чужбину, этот богатый и неправедный дом. Не живет надежда в ее еврейской душе, нет там места для надежды... Перед мысленным взором Иосифа возникли нескончаемые ряды школьных советских классов, где даже думать запрещено о том, что ты — еврей, что твоя земля — не здесь, далеко...

— Какая мерзость! — прикрыв ладонью рот, прошептал художник. Хмель скатывался с него, как дождь с яблоневого дерева. Но никто его больше не слушал и ничего от него не ждал. Комната наполнилась гамом возбужденных голосов.

— Какое безобразие! — басом лаяли профессора. — Какая безответственность! Да нас всех потянут к ответу за такие ужасные речи! Да как вы, молодой человек, воспитанный советским обществом, можете мечтать о какой-то там земле какой-то там Торы! Чудовищно!

Воспользовавшись всеобщим замешательством, Исай вежливо, но решительно освободился от цепких пальчиков Аллы Ивановны и выскользнул на улицу, в прохладную и освещающую тьму. Тут он увидел, как старика в золотом пенсне заталкивали в тюремную машину плечистые молодые люди с круглыми стриженными затылками.

А на другой день после пира по городу поползли слухи, что виноторговец Ашуров арестован. Будто бы он оказался агентом мирового сионизма. Будто бы в его доме, под прикрытием праздничного вечера, обсуждались планы покушения на Сталина. Будто бы... Будто бы... Так или иначе, сразу после ареста, без следствия и суда, Ашуров был расстрелян в подвале городского НКВД.

Глава третья

УТРО

1

В школе, где училась маленькая золушка, урок на-
чался не совсем обычным вопросом:

— С чего, дети, начинается утро в нашей стране?

Школа помещалась в старом, сильно обветшалом здании — новое строили уже несколько лет и никак не могли достроить. Ветер, завывая, дул в щели под дверями — в эти щели свободно прошла бы крыса-мама с целым выводком крысят. Дуло и в окна, и сквозь щели в покосившихся стенах, и сквозь щели в полу. Мартовский ветер пробирал до костей. Облака в небе лежали жалкими комочками — точь-в-точь сгустки дешевого крема из мыльного корня. А за колченогими столами, свесив с высоких скамей ноги в стоптанных чувяках, галошах, сбитых ботинках и туфлях, разместились три десятка мальчишек и девочек. Ученики впились глазами в новую классную руководительницу — прежнюю они выжили проказами и непослушанием. Прежнюю каждое утро провожала в школу старая мама. В уши она закладывала вату и вдобавок прижимала эту вату пальцами — но чем сильнее она прижимала, тем сильнее галдели и кричали дети, и после уроков учительница устраивала истерики в

учительской. Пока она учила — смеялись и издевались над ней. Теперь, когда она ушла — в классе определились ее сторонники, ее „партия”. В основном то были дети репрессированных родителей, которых связывала с прежней учительницей общая судьба: всем было известно, что то ли отец ее погиб в тюрьме, то ли она сама недавно оттуда вышла. Все они понесли наказание без преступления — и дети, и взрослые.

Новая руководительница была пожилой женщиной с квадратным лицом, с большим костлявым лбом и водянистыми глазами. Руки ее пропахли дымом, запах этот нельзя было вытравить ни водой, ни мылом с песком: многолетняя возня у железной печурки накладывает на человека свою печать до конца его дней. Одета учительница была просто, не хорошо и не плохо, а ее огромная муфта из вытертого плюша сразу привлекла внимание ребят. Плюш на муфте до того истерся, что ворсинки видны были только в складках; всю остальную площадь муфты отполировало время. Драная подкладка свисала из муфты серой бахромой. Муфта была чем-то набита и раздута, как живот больного человека, и учительница, войдя в класс, положила ее рядом с собой с большой осторожностью, как будто там помещалось все ее достояние. Дети строили догадки, одна фантастичней другой. Первый же вопрос новой учительницы поставил учеников в тупик:

— С чего начинается утро в нашей стране?

Разинув рты, дети гадали, с чего же действительно оно начинается, покуда один маленький человечек, вскочив со своего места, не выпалил:

— С домов!

Один чулок этого человечка, пристегнутый к резиновой подвязке английской булавкой, все время сползал, открывая красную, в синяках и ссадинах ногу. Для мальчугана — самого маленького в классе — дело было

ясней ясного: из дома идут рано утром люди на службу, в школу, за хлебом. С самого утра в доме открывают ставни, убирают. Объяснить все это в двух словах под прищелом трех десятков пар глаз нелегко. Вот он и ограничился этим „С домов!”, а потом прибавил для девочек, сочтя их менее сообразительными, чем мальчики: „Снаружи!” Потом, сев на место, он сообщил, уже обращаясь к ближайшим соседям: „Вчера в нашем доме арестовали Саррочкиного папу и старшего брата Лены”.

Учительница выслушала еще несколько сбивчивых и неуверенных ответов. А потом поднялась какая-то девочка и сказала, что ее дядю вчера расстреляли, а всех его знакомых арестовали.

Учительница сделала вид, что не расслышала — только задержала на девочке внимательный, острый взгляд. Что она могла сказать девочке, как помочь ей?

Новые учебники — наскоро написанные, наскоро напечатанные — заботили учительницу. Старые учебники были строго-настрого запрещены; тот, кто предложил бы их ученикам, очутился бы в тюрьме, если не в земле. А новые учебные пособия оставляли детей равнодушными: они были на редкость скучны и неинтересны. Даже их язык представлялся каким-то „антиязыком” — сухой, мертвый, иногда безграмотный... Как-то раз учительница попыталась обо всем этом завести разговор с „ответственным лицом”, и ничего хорошего из этого не получилось: „ответственное лицо” прозрачно намекнуло, что учительница — скрытый враг советской власти, дореволюционный педагог и что „рекурсы по перековке” ей не пошли на пользу.

Вслед за этой встречей началась для учительницы полуса безработицы. Она обивала пороги отделов кадров, а вечером возвращалась в холодную и сырую комнатенку, которую делила с племянницей. Она мечтала лишь

об одном, старая учительница Лиза Мордехаева: продолжать учить детей...

Придя в новый класс, на первый урок, она волновалась, не могла сдержать дрожи в голосе: „С чего начинается утро в нашей стране?“ Как она и ожидала, ответы были неудовлетворительные: дети ремесленников, садоводов и мелких служащих ждали, что еще скажет, как поступит учительница.

— Ну, так слушайте! — сказала учительница и подняла свою муфту, и весь класс зачарованно на эту таинственную муфту уставился. — Представьте себе, что вот эта муфта — это наша страна. Земля вращается вокруг солнца, и там, где только что была ночь, наступает рассвет. Солнышко начинает освещать нашу страну, сначала самые высокие ее точки, а потом спускается все ниже... Итак, вот наш Дагестан. С какой высокой точки начинается утро в Дагестане?

— С Масиса! — крикнул тот мальчик в отстегнутом чулке, который заявил раньше „С домов”.

Учительница улыбнулась ему. Чудный мальчик.

— Верно, с Масиса, — сказала учительница. — Только ты разве не знаешь, мальчик, что Масис расположен по ту сторону границы, в Турции? Но и у нас тоже есть высокие горы — Кавказский хребет. Давайте-ка прогуляемся с солнцем по всему Дагестану, поглядим, где начинается утро.

Она все держала муфту перед собой, но ничего из нее не вынимала. Только руки ее шевелились в недрах муфты, и плюшевая поверхность принимала форму то гор, то долин. Учительница рассказывала, объясняла, и вместе с ее словами по классной комнате как бы неслись горные потоки и кочевали стада по альпийским лугам.

— Вот раннее солнце коснулось высоких вершин. Там еще лежат снега. Это хорошие, хорошие снега — они

дают пищу рекам, поят Дагестан. Вы ведь знаете, что Дагестан — засушливая страна, воды у нее мало, а без воды хлеб не растет, скот гибнет... Вот солнце немного опустилось — здесь тоже нет ни лесов, ни жилья. Зато здесь очень хорошая трава, и пастухи перегоняют сюда летом свои стада. Пастухи прикочевывают с семьями — с женами и детишками. Скот еле ноги приволакивает — так отошал за зиму. А все пастухово хозяйство размещается в арбе, и семья его живет все лето до августа — до первых холодов — под арбой или в шалаше... А еще пониже, — муфта дрогнула, — расположены пастушьи аулы, куда кочевники возвращаются на зиму.

Тут волшебная муфта сильно зашевелилась, как проснувшаяся в норе россомаха, и Лиза Мордехаева извлекла из ее чрева какую-то коробочку. В руках учительницы эта коробочка превратилась в модель крестьянской хижины-землянки: пара врытых в землю столбов, между ними — дверь, внутри — очаг, в потолке — дыра для дыма, за перегородкой — помещение для скота. Ученики, толпясь и тесня друг друга, сгруппировались вокруг учительского стола. А учительница не спеша вынимала из муфты всякие игрушечные вещицы: пряжу, дубовые валки для сбивания масла, плетеные блюда, кожаные сандалии. Под самыми облаками живут скотоводы, далеко им до городских магазинов — вот и делают они сами все, что им нужно и необходимо в жизни.

— А солнце все спускается по горам, как по ступеням, — продолжала Лиза Мордехаева, — и вступает в теплую и красивую зону садов. Тут растут вкусные вещи: виноград и персики, абрикосы и груши, вишня и черешня, грецкий орех и айва, инжир и гранаты. Скот здесь держать невыгодно: пастбищ мало, а гонять отары в горы — далеко. Земля хороша для садов и виноградников. Вот люди и занимаются садоводством, ухаживают за своими деревьями, лечат их, если они забо-

левают. К осени у каждого садовода куда больше плодов, чем ему нужно для пропитания, — и он везет их в город, продает нам с вами или сушит, вялит, готовляет из них вино. На вырученные деньги он покупает все, что ему необходимо: одежду, инструменты, посуду. Садоводы куда чаще бывают в городе, чем скотоводы, они больше видят, больше знают. Их дети ходят в школу... А что же солнышко? Оно все спускается и спускается и добирается наконец до равнины. Здесь конец горам. Здесь бежит по земле железная дорога, стоят города и земля родит зерно для хлеба, хлопок для тканей, рис и табак. Это хлеборобные края, и крестьянин подымается ранним утром, чтоб починить соху или борону, подготовить землю к посеву. Крестьяне тоже часто бывают в городе: им нужны городские товары. Откуда же город берет все эти товары, в обмен на которые они получают мясо, плоды и овощи, хлеб и хлопок? Когда-нибудь я расскажу вам, откуда все это берется, как в городах стали строить фабрики и заводы. А теперь, дети, еще несколько слов о солнце и о его сердечном друге; вместе с солнцем спускался этот преданный друг с гор, пересекал пастбища и сады. Имя его — вода.

Тут учительница сделала паузу, обвела класс внимательными глазами. В коридоре давно уже трещал звонок, и Истра Шабаева — коллега новой учительницы — вертелась перед закрытой дверью класса. Сгибая свое длинное туловище и брэнча длиннейшими ушными подвесками, Истра заглядывала в замочную скважину, но ничего не могла разглядеть. Из-за двери доносился сдержанный гул голосов.

Муфта, как измученное и опустошенное родами животное, лежала на столе. Вместительное брюхо ее опало. Дети, толпясь вокруг стола и не желая расходиться,

протягивали к ней руки: не осталось ли еще чего-нибудь интересного в ее утробе.

— С завтрашнего дня, — сказала учительница, — весь класс делится на три зоны. Каждая зона — два ряда скамей, считая от стены. Догадались, что означает каждая наша зона? Скотоводы, садоводы, хлебопашцы. Я вам дам книжки, бумагу, клей, карандаши — и начинайте работать. Скотоводы должны изготовить вот такую же, как у меня, модель хижины, вырезать из толстой бумаги фигуры буйволов, ослов, лошадей и овец. Кто-нибудь один будет отвечать за конторскую книгу; там будет перечислено все, что есть в хозяйстве.

„Скотоводы” загомонили в совершенном восторге — им досталось самое интересное задание. Зато четыре передних ряда возмутились такой несправедливостью: ведь садовые деревья следовало не вырезать из бумаги, а всего-навсего рисовать в тетрадку. Кроме того, „садоводам” и „хлебопашцам” предстояло много больше читать, чем „скотоводам”... Одним словом, четыре первых ряда заявили, что присоединяются к „скотоводам”. Однако „скотоводы” цепко держались за свою кибитку, никого не хотели туда пускать. Глядя на волнение, вдруг охватившее класс, Лиза Мордехаева и сама расстроганно волновалась.

— Вы, ребята, — сказала она, — еще почти ничего не узнали о первых двух зонах. У вас будет машина, трактор — их надо будет склеить. Вы будете на них ездить в город. А город — это я. Вот тут, на столе, — она положила руку на муфту, — я устрою настоящий город. У меня будет тут базар, фабрика, мельница, столовая. И кино будет, и аптека... Ну, кто хочет переходить к скотоводам? Решайте.

Соблазн ездить на тракторе в город победил. И только один маленький мальчик со спущенным чулком, решительно поднявшись, перешел к скотоводам. Городские

заботы и хлопоты надоели ему. Он взялся нарисовать и вырезать из картона лошадь, а также вести в конторской книге все конские дела. Узнав, что его зовут Авраам, учительница написала на большой грифельной доске: „Авраам переводится из хлебопашцев в скотоводы”.

Дел у всех было невпроворот. Для каждой зоны дети решили выбрать цветной знак, чтоб не случилась путаница на первых порах. А перемена уже кончилась, и Истра Шабаетова, так ничего и не выяснив и не разведав, отправилась в свой класс. Подвески ее возмущенно звенели, костлявые колени мелькали от частого шага. Встретив в коридоре подругу, она досадливо повела плечом: „Сумасшедшая Мордехаетова черт знает что делает с детьми. Она с ее затеями один раз уже вылетела с работы. Теперь она у нас тут взбунтует все группы своим лабораторным методом. Тоже мне, подумаешь! Она дальше Баку не была, что она нового может им показать!”

У Мордехаетовой был готов рассказ про воду, но она решила с ним повременить: дети требовали подробностей о зонах. Тогда она разделила на три части все свои заметки, газетные вырезки, фотографии, книги и брошюры и объяснила, как всем этим пользоваться, что выписывать в тетрадки, а что учить наизусть. Были выбраны завхозы, письмоводители и статистики. Grimасы коллег при ее появлении в учительской, мальчик Авраам со сползшим чулком, подковыристые улыбочки Истры Шабаетовой, замечательная повесть о воде, три зоны — все это сплывало в одно течение, в восторженные выкрики, во взметающиеся над головами руки, похожие на ветви в огне. Если б кто-нибудь из завистливых коллег Мордехаетовой заглянул сейчас в класс — тут же побежал бы шушукаться „с кем следует”, выкатывать возмущенные глаза: „Какое самомнение, дорогие! Что

она о себе воображает, какие строит рожи, вы бы поглядели! Прямо шут гороховый, а не советская учительница! Базарная торговка так не тараторит, как эта молчальница!”

Благодарно, торжествующе возвращалась она домой. Муфта ее почти опустела. Ее руки, погруженные в теплую утробу муфты, потирали одна другую. Войдя во дворик, она увидела знакомую и привычную картину по-городскому тесного и грязного, скученного человеческого жилья. На веревках, протянутых между балконами, сохло белье. Толстая жена совслужащего орала на продавца керосина, угрюмо стоявшего над своим бидоном. Над мангалом стлался серо-голубой дымок, пахнувший сочным жареным мясом. Пятеро детей с криком носились по дворику. Помои, стекающие по осклизлым ступеням, распространяли тяжелый запах гниющих отбросов... Надо было пройти сквозь двор, добраться до узкой и крутой деревянной лестницы и карабкаться по ней на второй этаж, где учительница Мордехаева жила в тесной комнатухе со своей племянницей, инструктором Гороно Шуламит Хизгиловой.

2

В школах ученики открыто говорили об арестах своих близких, и вести об этом быстро дошли до НКВД. В течение одного дня руководители всех городских школ были сняты с работы и заменены кадровыми партийными работниками. А потом начались аресты „провинившихся” учеников. Младший из арестованных едва достиг двенадцатилетнего возраста.

Стараясь не думать об этом и все же не в силах отогнать страх и негодование, Лиза Мордехаева отворила дверь своей комнатенки. Шуламит, стоя у окна, словно

бы ждала прихода тетки. На скрип двери она подняла голову; глаза женщин встретились. С первого взгляда обоим стало ясно, что с каждой произошло что-то важное, чем нужно поделиться, рассказать другой. Тетка была открытей, экспансивней племянницы, ей в таких ситуациях всегда принадлежало первое слово.

— Шуламит, я сегодня провела пробный урок, — сказала Лиза, снимая в углу боты.

— По вашему лицу, тетя, вижу, что хорошо.

Учительница улыбнулась, повесила пальто на крючок и поднесла пахнувший холодом носовой платок к повлажневшим глазам. Потом подошла близко к племяннице, взглянула на нее почти счастливо.

— Ты обедала, тетя? Садись к столу!

Но, не прикасаясь к еде, тетка начала оживленно рассказывать, перескакивала с одного предмета на другой, расцветчивала речь яркими описаниями. И получалось у нее так, что самое главное и прекрасное в этой страшной жизни — ее класс, содержимое ее „волшебной” муфты и мальчик Авраам со спустившимся чулком... Взяв наконец вилку и нож, она сняла глубокую тарелку с миски, в которой лежал холодный кусок вчерашнего мяса.

Несколько минут они молча ели, и тетка видела по лицу племянницы, по тени задумчивости над ее тонкими серповидными бровями, что весть, припасенная и еще не высказанная ею, значительна и грозна. А Шуламит молчала. Почти не глядя на то, что ест, она медленно разжевывала кусочки мяса, и тонкие ее пальцы подносили ко рту кусочки хлеба, еще меньшие, чем кусочки мяса. Поглядывая на племянницу, тетка убеждалась в том, что Шуламит сыта, сыта по горло — не хлебом и не мясом, а тем, чем полна ее грудь, что сухой колючкой стоит у нее поперек глотки. Но задавать Шуламит вопросы было бесполезно — не такая это была девушка... Учительница разожгла керосинку, поставила чайник и собрала гряз-

ную посуду. Потом поглядела, не осталось ли утренних невымытых тарелок и чашек на полке — нет, все было чисто и прибрано, комнатка сверкала чистотой. Эта их комнатка служила предметом острой зависти соседей — два мелких окошка, выходящих на асфальтовую крышу, за окошками ящики с зеленью и зимние горшки с цветами. Прямо в комнатку заглядывали две снежные вершины Кавказских гор, окутанные сегодня ключьями тумана: будет ветер, будет буря. Стены комнатки были чисто выбелены. В свое время маляр спросил у хозяек, как украсить: просто или с мотивчиком, — и, взглянув на прекрасное лицо Шуламит, сам решил: с мотивчиком. И на стены под потолком легли золотые разводы, похожие на ободок павлиньего хвоста. Золото, правда, скоро выцвело — но все же розовое сияние наполняло комнатку, гармонируя с алыми мутаками, брошенными на тахту Шуламит... Да, уютная у них была комнатка.

— Тетя Лиза, — сказала Шуламит, — знаешь, ты ведь в этой комнате остаешься одна... Гороно меня посылает в район, в глубинку, так сказать...

Не отводя взгляда от лица племянницы, Лиза думала о том, что Шуламит, наверно, сама добилась этого перевода, и ничего лучшего нельзя было и придумать в этой ситуации.

Давно уже наблюдавшая за страстями человеческими с высоты своего возраста, Лиза Мордехаева была уверена, что решение племянницы продиктовано ее ущемленным самолюбием, девичьей гордостью. Теперь надо отсидеться в одиночестве, в глухомани, дать ране затянуться.

— Этот тип еще пожалеет... — сказала Лиза, и тут же словно молния промелькнула по облачно-белому лицу девушки. — А самое главное, — поправились тетка, — что в районе у нас с тобой дел по горло, и работа замечательная. А дети какие — разве сравнишь с город-

скими! Честное слово, я тебе даже завидую! — сказала и осеклась: „Что за пошлятину я несу! И детей своих зря обидела...” Она вспомнила мальчика в спущенном чулке.

Поддавив смущение, она бросила свою муфту на диван и легла.

— Знаешь, Шуламит, я все вспоминаю того человека из отдела кадров, — теперь учительница говорила чисто-сердечно, прямо. — Помнишь, я тебе рассказывала: Исай, в разбитых очках! Необыкновенный человек, вот бы с кем тебе познакомиться...

Они обе лежали, отдыхая, — одна, с муфтой, на своей кровати, другая — на тахте, лицом к стене. Учительница отвлеклась уже от невзгод племянницы, она вновь переживала свой урок, повторяла не рассказанную еще историю о воде: как бежит она с гор, как пользуются ею люди. Первым делом для питья: пьют люди, пьют их скот. Потом для садов, огородов; но сады и огороды сами к воде не придут — надо воду к ним подводить. Вот и научились люди строить водоотводы, каналы. Строит изобретательный человек, шлюзы, дамбы, водохранилища, тянет воду в свои деревни, а там уже мираб — деревенский „сторож воды” — распределяет ее по дворам, по арыкам: кому недодаст, а кому больше отпустит чем положено. Поделив кое-как землю, люди никак не могут поделить воду. И вот уже начинаются ссоры-раздоры из-за воды, начинаются войны, льется кровь, и в огне погибают запруды и шлюзы. А вода все течет и течет: „Нельзя меня делить — я единая, я для всех. Будьте и вы, люди, едиными, и тогда я всех вас напою!” А люди уже научились использовать силу воды, ее неостановимое движение. Для этой цели нет в мире лучше стремительных дагестанских горных рек!.. Тут нужно вставить маленький рассказик про мельницу на реке, даже сделать модель мельницы,

установить ее на школьном дворе, на арыке: колесо, шестерни, жернова. Экскурсия на гидростанцию. Электроэнергия.

Электроэнергия была слабым местом учительницы Лизы Мордехаевой. Вздохнув, она вспомнила, как искала повсюду, спрашивала книги по электричеству — и не было таких книг. Спрашивала у специалистов — и не могли они, не умели рассказать ей простыми, понятными словами все то, что хотела она передать детям.

— В какой район ты едешь, Шуламит?

Но племянница не ответила, даже не шевельнулась свернувшись по-кошачьи в клубок под вязаной шалью

3

Утром этого же дня Алла Ивановна Абрамова, удовлетворенно оглядев себя в последний раз в зеркало, вышла из своего дома на пыльную городскую улицу. Алла Ивановна шла легкой, летучей походкой, дробно постукивая каблучками. К ее большому плавному телу очень шел этот мелкий, стремительный шаг. Все в ней было волнительно и сладко: маленькая искусственная родинка на верхней губе, некрупные белые зубы, падающие на брови локоны-кудряшки и эти нервные, трепещущие ноздри, похожие на ноздри деревенских лошадок. Даже когда не было никого рядом, Алла Ивановна, в силу выработанной привычки, суживала свои зеленые глаза, в глубине которых прятался заразительный хохоток — словно невидимые ловкие пальцы щекотали ее под мышками. Медленно поводя полными плечами, лениво поблескивая глазами, шла она по улице, и от ее рассеянного, казалось бы, внимания не ускользало ничего: она почти механически отмечала, во что одеты идущие перед ней женщины, что выставлено в окнах

домов. Как всегда на улице, мысли ее были заострены на одном: кто из встречаемых мужчин наиболее приметен, приятен, призывен. „Вот бы мне такое пальто, платье, мужчину!“ — зеленые глаза раздевали, примеряли, ощупывали. Муж Аллы Ивановны зарабатывал немного, рубли приходилось считать. Плотная, ладная, с украшенным цветными стеклышками гребешком в волосах — она излучала матовый волнующий свет, источала будоражащий пряный ветер, кружащий голову встречаемым. Аллочка прекрасно знала, какое впечатление производит она на мужчин, и любила говорить по этому поводу: „Муж так много работает! У него просто не хватает на меня времени“. Чувствуя на себе горячие мужские взгляды, она испытывала физическое удовольствие; глаза ее темнели, подергивались маслянистой пленкой. Городские завистницы прозвали ее „бесстыжей“.

Ветер гнал по улице белесую пыль, швырял ее в стены домов, сложенных из туфа. Казалось, не было в городе защиты от этого всепроникающего ветра, бесцеремонно врывающегося под платья женщин и в серые плоские постройки, в пригородные бараки и сакли. Кутаясь в пальто, потряхивая гривкой каштановых волос, Алла вошла в базарные ряды.

Она повергла Дербент в столбняк! Она была первой сексуальной революционеркой на всем горном Кавказе! Еще бы! Ведь она позволяла себе по нескольку часов проводить в обществе посторонних мужчин. А одни ее триумфальные появления на базаре чего стоили!

В отличие от восточных людей, видевших в базаре своеобразный клуб, она находила в нем лишь место, где можно купить по дешевке все необходимое, а то и ничего не купить, как сегодня. В нехватке товаров она винила то торговцев, то большевиков, то и тех, и других вместе. Базар меж тем открывал перед вдумчивым наблюдателем интереснейшие картины. Свесив

курдюки тяжелых ватных штанов, сидели возле корзины и кувшинов дагестанские крестьяне, и загорелая кожа, обтягивавшая их острые костистые скулы, блесла. Их глаза, упрятанные в глубокие темные впадины, были красны от дыма очагов и костров. По проницательному взгляду крестьянина всегда можно было определить степень недоверия села к городу. Въезжая на своем осле в городскую черту, сельский человек нацеплял на себя маску „не обманешь — не продашь”; но и горожане не отставали от своих сельских собратьев: обращаясь к ним, они нацепляли на себя простоватую, почти дурацкую маску, желая тем самым как бы снизить до уровня крестьян и говорить с ними на одном языке.

Крестьянин, однако, был далеко не так глуп, как хотел казаться. Польза города была для него несомненна. В городе он своевременно узнавал, чем живет мир, что нового в стране, в республике и в области. Газете, приходившей к нему в глухие места вместе со звоном колокольчика почтовой брички, он не очень-то доверял, отдавая предпочтение звукам живой речи. Город начинал большие дела, строил, грохотал железом и камнем, и в этом промышленном грохоте сельчанин, вместе с недоверием и страхом, улавливал и некие притягательные нотки: город все жадней и жадней жует своими стальными челюстями, пережевывает и глотает все больше и больше муки, овощей, мяса. На этом его аппетите сельскому человеку можно неплохо зарабатывать... Но, с другой стороны, крестьянина с десятью-одиннадцатью пудами хлеба в амбаре власть объявляла кулаком и ссылала в Сибирь или в Соловки. С одной стороны, город хотел жрать, с другой — власть запрещала его кормить. Такой нелепицы дагестанский крестьянин не мог уразуметь своей костлявой головой.

Базар был как раз на полдороге между домом Аллы

Ивановны и берлогой художника Иосифа. Проснувшись утром с тяжелой головой, Иосиф начисто забыл о том, что сам же пригласил Аллу прийти в гости и даже нарисовал подробный план, без которого непосвященный человек сразу запутался бы в мешанине мазанок и сараев. В то время как Аллочка поцокивала своими каблучками по грязным переулкам, оба новых приятеля собирались отправиться в отдел кадров. Исай поднялся первым, тщательно умылся в арыке и даже, к тайному возмущению Иосифа, проделал упражнения утренней гимнастики по шведской системе. Потом он сбегал в ближайшую лавочку и вернулся с буханкой хлеба и куском овечьего сыра. Вскипятить воду в кастрюльке было недолгим делом — и вот уже завтрак готов, и Исай зовет Иосифа к „столу”. Хотя и прожив в Москве более трех лет, Иосиф не пристрастился к чаю, особенно с похмелья. Сидя на чурбаке, Исай один прихлебывал чаек из своей жестянки. Словно сговорившись, оба ни словом не упоминали о вчерашнем, как будто и не было никакого пира у виноторговца. Доброжелательно поглядывая друг на друга, они продолжали свой разговор об искусстве.

— Тебе нужна натура, — рассуждал Исай, откусывая крепкими зубами хлеб с сыром. — Ты только приглядишься к живой натуре! Человек меняется, и в этих его изменениях — опаляющее дыхание современности, ее тревога и надежда.

— Очень милый совет, — проворчал Иосиф. — Особенно если учесть, что за натуру надо платить по рублю в час. Кроме того, профессиональная натурщица меняется столько же, сколько вот эти камни у порога. У всех профессионалок одно и то же выражение лица — как у нас в Строгановке.

— Осенью, — отставив кружку, как ни в чем не бывало продолжал Исай, — я весь этот край пешком исхо-

дил. Как замечателен народ в его работе! Труд тяжелый, каторжный. Люди очищают землю от валунов, как будто выкорчевывают корни. Тяжко! Подкапывают такой валун со всех сторон, ломami его подпирают, а он в земле окопался, сидит прочно, и, когда подымут его — крикнет земля, как будто зуб выгащили... Таких валунов — тысячи на гектар! Я смотрел на лица людей: усталые, злые, довольные, безразличные. Целый музей!.. Или вот пластичность, грациозность. Да-да, народ удивительно грациозен, особенно те люди, что живут в горах! Ты видел когда-нибудь, как аробщик прыгает из арбы прямо на спину буйвола, на ярмо, и сидит там на корточках — спиной к рогам? Попробуй-ка, прыгни вот так! Был бы я художником — обязательно рисовал бы этих людей, как они трудятся. Пластику труда невозможно описать словами, это только вам, художникам, дано. Ах, был бы у меня талант — ручаюсь...

— За кого это вы ручаетесь? — Аллочка заглядывала в пролом глинобитного забора и вбирала, впивала своими зелеными глазами все, что помещалось во дворе: уродливую кибитку, груды мусора, штаны в полосочку на натянутой бельевой веревке. Она была рада, что Исай тоже здесь.

Потерянно вскрикнув, Иосиф выскочил из дома, сдернул штаны с веревки и одним прыжком, как заяц, прыгнул обратно в дом.

— Ха-ха-ха! — рассмеялась Аллочка. — Вот чудак-человек! Чего вы стесняетесь? Да что я штанов, что ли, никогда в жизни не видела?

Исай вышел ей навстречу, поклонился учтиво и отступил, давая дорогу. Потом указал на чурбан жестом, каким указал бы на глубокое вольтеровское кресло. Ветер гонял пыль по двору, порошил глаза. Гостью приглашать в дом и в голову не пришло хозяевам.

— Я не совсем понимаю... — медленно проговорил Исай.

Аллочка почувствовала вспышку легкой, обжигающей радости. Глаза ее блеснули, ноздри трепетали. Вот он стоит перед ней, так близко, этот большой спокойный человек в разбитых очках, с черными выщипанными волосами над крутым лбом, и она видит его волевой крепкий подбородок, его плотно сжатые красивые губы, его ласковые руки, — она видела их сегодня во сне, эти теплые и нежные руки. Каким-то задорным, детским движением выхватила она из кармана сложенную четверо записку — и тотчас отвела руку за спину.

— Чего же вы не понимаете?

— Да как вы нашли нас?

— Я и с завязанными глазами нашла бы. Ведь он мне вчера план дороги нарисовал. Вы разве не видели? — она кивнула в сторону кибитки. — Все объяснил: сколько шагов туда, сколько шагов сюда, где повернуть... Он сказал, что он — знаменитый художник и хочет меня рисовать. Скажите правду: он художник?

— Он хороший художник, — серьезно сказал Исай.

А хороший художник уже вышел из дома — в полозатых брюках, причесанный и почти свежий. Он глядел на Аллочку и не верил своим глазам. Так он ей и сказал:

— Я просто не верю своим глазам! Вы пришли! Я буду вас писать! Умница! Попадете на выставку!

— Я, пожалуй, пойду... — смущенно пробормотал Исай.

Аллочка подлетела к нему, сияя глазами, как зелеными фонариками.

— Куда же вы? — воскликнула Аллочка, помахивая рукой с зажатой в ней запиской. — Досказать не дадите! Я тут целый час туфли о камни сбиваю, бегу к вам, а вы уходите. Фу, какой грубый! А я-то думала, вы умеете

обращаться с женщинами... Вот, муж вам тут записку прислал. Читайте. А если потом захотите уйти — я с вами.

Исай принял записку, дважды перечитал ее. Начальник „Двигательстрой”, ссылаясь на вчерашний разговор за столом, приглашал Исайю на канцелярскую службу — место, конечно, не ахти какое, жалование маленькое, но безработному ведь выбирать не приходится. Так что, если Исай согласен, ему надо сегодня же выехать... Разглядывая записку, Исай с облегчением думал о том, что необходимость идти в отдел кадров отпала сама собой.

— Муж велел спросить, как ваша фамилия, — сказала Аллочка. — Неужели вы соглашаетесь? В такую дыру, и всего шестьдесят рублей! Но я ужасно, ужасно рада, если вы согласились.

Пока Исай читал записку, Иосиф, установив самодельный подрамник, жадно ощупывал Аллу глазами. „Алла Ивановна, Аллочка, — взывает про себя Иосиф, — я не смогу разгадать ваш характер, пока не увижу вас обнаженной! Какая грудь, какие бедра! Я хочу вас, хочу тебя сейчас, здесь! Дай-ка я сниму с тебя все! Ах, как хорошо ты это делаешь! Еще, еще!..” Перед глазами Иосифа поплыли радужные круги, он схватился за подрамник и чуть не свалил его.

Аллочка сидела на пне, глядела на художника то ли удивленно, то ли шаловливо. Иосиф на слабых ногах обошел вокруг нее, прицеливаясь глазами, покачивая головой, бормоча что-то под нос. Великое терпение овладело им. Он не спешил начинать, не спешил накладывать первый мазок. Подойдя близко, он резким движением вырвал гребень со стеклышками из ее волос, крикнул: „Гадость какая!” — а потом вернул гребень на место. „А это еще что за мерзость! — указал на родинку-мушку. — Чернилами, что ли, нарисовали?” „Так модно”, — лаконично ответила Аллочка.

Исай ушел. Через неделю, правда, она поедет к мужу и увидит Исаю. Целая неделя! Какая жалость! Желание, которое возбудил в ней Исай, медленно уходило, как вечером тепло из земли, накопленное за солнечный день. Иосиф все расхаживал да поглядывал, и Аллочка с некоторым разочарованием почувствовала, что художник, только что казавшийся пораженным ее красотой, теперь смотрит на нее, как на капустную кочерыжку... Но Исай вдруг вернулся почти бегом, хотя и не вязалась с ним такая поспешность. Пройдя по двору, он взглянул на Аллочку, улыбнулся ей и озабоченно почесал щеку.

— Время пришел посмотреть? — не глядя на приятеля, спросил Иосиф.

— Ну да, — сказал Исай. — Взглянуть на часы.

Посреди двора, на ровной площадке, установлена была прежними жильцами прямая палка в кругу, разделенном на двенадцать частей.

— Четверть двенадцатого! — сказал Исай, внимательно взглядевшись в сооружение. — Ну, я бегу!

Солнце пригревало все сильнее. Аллочке стало жарко, ей надоело сидеть неподвижно на жестком пне. Она представила себе большие ласковые руки Исаю, гладящие ее грудь, ее бедра... "Гордый какой! — умильно подумала она. — Часы из палки сделал!"

Иосиф наконец зашел за подрамник и, сощурившись, положил первый мазок. Алла видела по его наклоненному над холстом лицу, что он счастлив. Его лоб был покрыт мелкими бисеринками пота, волосы упали на лоб. Первая волна творчества несла его на своем хрустальном гребне. Почувствовав высоту, он знал, был уверен, что портрет получится. „Я работаю, работаю! — восторженно думал он. — Кроме моей работы, нет ничего на свете. Какое это счастье, что я опять пишу!"

— Ну, Аллочка, теперь можете пошевелиться, — сказал

он, отбрасывая волосы со лба. — Какое интересное у вас лицо, какое чувство!

Она пококотничала слегка, поиграла глазами. Потом простое бабье любопытство взяло верх: ей страсть как захотелось узнать, сколько он зарабатывает. Он ответил не задумываясь:

— Нисколько. Ничего.

— Ах, вот как! — Значит, Исая обманул, и он никакой не знаменитый художник. Ах, этот Исая! Странный человек. Ботинки каши просят, пиджак, видно, на „американке“ купил. Очки разбиты, новые стекла вставить полтинник стоит — да у него и полтинника нет. На улице с ним показаться стыдно.

— А вы ведь в Исая втрескались, как говорится. А, Алла Ивановна? Угадал?

— Я? В Исая? — она захохотала бисерным хохотком, как будто дернула нитку и бусинки посыпались, обгоняя друг друга.

Этот хохоток дал новое направление его мысли. Кисть заплясала в его руке, глаза налились тяжестью. Тяжело сопя, он то подступал к полотну, то отходил от него, то глядел на Аллочку, как на неживой предмет, то вовсе ее не замечал. Его сопение раздражало Аллочку: как будто нельзя сдержаться, не сопеть или хотя бы сопеть потише. Она вдруг вспомнила свою первую беременность и первый аборт. В предоперационной родилке, где она дожидалась своей очереди, стояла, вцепившись в спинку кровати, женщина в рубашке. Горообразный ее живот ходил ходуном. „Рожает, — объяснила санитарка, — а лечь не хочет. Ну, что ж, всяк по-своему...”. По запавшим щекам женщины струились ручейки пота, волосы ее были спутанны и мокры. Стиснув зубы, она сопела деловито и сосредоточенно. Мутные ее глаза скользнули по напуганной Аллочке; видно было, что

глядит она внутрь себя, в глубину производимой ею трудной работы. Но Аллочка об этом не догадалась.

„Сопит, как та роженица”, — с неприязнью подумала она об Иосифе.

Аллочке вдруг сделалось противно, как тогда при взгляде на роженицу. Она, Аллочка, никогда не доводила себя до родов — пусть другие, пусть дуры нутро выламывают, а она сохранит и фигуру, и здоровье, и цвет лица... Иосиф, побледнев, смотрел на нее неотрывно. Последняя черточка, последний штрих ускальзывал от него — а он должен был его схватить, поймать, перенести на полотно одним мазком кисти. Глаза его сделались тяжелыми, как свинцовые пули, — и Аллочка, забыв все на свете, испугалась ужасно, вздрогнула, заморгала беспомощно. Вот этой беспомощности и не хватало Иосифу, — и теперь он поймал ее!

Взъерошенный, как петух, прыгал Иосиф вокруг своего подрамника, и кисть его мелькала, как шпага, и глаза из свинцовых сделались золотыми.

— Все! — вскрикнул он вдруг тонким голосом. — Все, мать честная! Ни мазка больше!

Он отшвырнул кисть, схватил картину и убежал в дом. Минуту спустя он вернулся во двор — обмякший, опустошенный, вытирая пальцы смоченной скипидаром тряпочкой. Аллочку он увидел словно бы впервые и поглядел на нее жадно, требовательно и нагло. Под этим взглядом Аллочка снова почувствовала себя самую собой.

— Спасибо, душенька, что дали, — по-шутовски растягивая слова, сказал художник. — Что дали попотеть. Как кончу — конфеты вам подарю.

Глава четвертая

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

1

В белых клубках пыли подкатывали к вокзалу линейки, фэтоны и черные комиссарские автомобили. Люди с одинаковыми портфелями и одинаковыми лицами появлялись тут так часто, что носильщики знали их наизусть. Путь из Баку в столицу Дагестана — это почти единственный железнодорожный путь на всю республику. Проходя без петель и зигзагов через Дербент, по белоснежному побережью Каспийского моря, где маслянистые волны лизали синие рельсы, он напоминал гигантский ров, в который скатывались со всех сторон погоняемые нуждой путники. Тысячи людей с чемоданами и без чемоданов, с папками и с мешками, с баулами и бидонами подымались в вагоны, как на плаху, и спускались, как с порога собственного дома на тенистой улочке.

Только изредка какой-нибудь новичок принимался ругать железнодорожные обстоятельства:

— Что такое?! Безобразие! Вагонов, что ли, у вас личных нет?

А иной только пожимал плечами, негодуя на кондуктора, беспардонно вламывающегося в любое купе, в любой закуток и дергающего за любой предмет, до ко-

тогого можно дотянуться — будь то горло мешка, чемоданная ручка или человеческая нога. Своими уверенными действиями кондуктор повсюду сеял ядовитые зерна бессонницы; ночная работа уверенного в себе человека всегда вызывает страх и покорность. По этой причине, быть может, пассажиры и предпочитали проводить эту дорожную ночь на ходу, просиживая до рассвета в буфете — отгороженном углу жесткого вагона, грязными неудобными столиками напоминавшем то ли пивную, то ли погребок.

Под грохот и подергивание износившегося состава, катящегося по износившимся рельсам, в тусклом свете красноватых лампочек толстый буфетчик-турок показывался за стойкой, украшенной кое-как жесткими пожилыми курами, пыльным сыром, почерневшей зеленью и высокими винными бутылками. Еда не привлекала ночных посетителей — они заливали время вином; пробочник вертелся и плясал в руках турка, как будто он был фокусником. Для непьющих людей астматически пыхтел и отдувался паром пузатый самовар на заплеванном полу за стойкой. А мимо окон, с воем и свистом, пролетали пустынные станции, как мячи, подброшенные к небу.

В жестких бесплацкартных вагонах места давались с бою, и при посадке люди толпились там, как перед райской калиткой. В этот день, как всегда, туда кинулись, весело и яростно давя друг друга, пассажиры попроще — путешественники с детьми и женами, с плетеными корзинами-зембелями и двугорбыми курджунами на плечах, с вонючими мешками и жестяными бидонами.

Единственный мягкий вагон состава бдительно охранялся кондуктором; пассажиры шли в него без сума тохи и не густо — как крупная рыба. На этот раз, впрочем, маленький затор все же приключился: в узких железных дверях застряла хрупкая шляпная коробка,

и, покуда носильщик с ней управлялся, а кондуктор, привстав на цыпочки, давал советы, несколько пассажиров снисходительно топтались в очереди.

Тут собрались как раз те, кто ездят часто и всегда по делу. Все они были друг с другом знакомы и давным-давно успели друг другу надоест, регулярно встречаясь на бесчисленных совещаниях и конференциях. Две-три инженерские фуражки, комсоставская шинель, кепка, еще одна, черный котелок плюс какой-то ничем не примечательный гражданин, подсаживающий на высокую ступеньку молодую даму с саквояжем и сам втискивающийся вслед за ней. А вот появление последней пассажирки привлекло внимание. То была никому не знакомая девушка с двумя тяжеленными чемоданами в руках, в короткой юбке и в высоких, сшитых по мужскому образцу сапожках. Пальцецо на девушке запахнулось, длинное полосатое кашне размоталось и почти мело доски перрона. Подняв голову с зажатым в губах билетом, она было уже собралась протянуть его кондуктору и войти — как вдруг увидела перед собой того, ничем не примечательного гражданина с молодой дамой. И в тот же миг рванулась, как бы отброшенная взрывной волной, прочь от кондуктора и от вагона. Но лениво, на низких ворчливых нотах пропел второй гудок, и девушка, путаясь ногами в кашне и проседая под тяжестью своего багажа, кинулась к последнему вагону, за которым начиналось уже чистое поле, исчерченное рельсами. Она успела вскочить на подножку и теперь безуспешно пыталась втащить в тамбур свои чемоданы, и опасно балансировала, и теряла силы — когда чья-то рука, опустившись, помогла ей подняться вместе с кладью.

— Благодарю вас, — сказала девушка и больше не прибавила ничего. По лицу ее было видно, что она не из разговорчивых и экспансивных натур, что нечего ждать от

нее всяческих этих „Ах! Я так напугалась! Я чуть не свалилась! Какой ужас! Ведь я могла опоздать!”.

В жестком бесплацкартном, набитом доверху пестрой публикой, было тесно и жарко. Ни на кого не глядя, она уселась в первый же угол на свои вещи — и вдруг, внезапно покраснев, крепко прикусила нижнюю губу. Так бывает с человеком, когда он неожиданно вспоминает для себя что-то очень стыдное и хочет поскорей от этого неприятного воспоминания отмахнуться, как отмахиваются от боли, тряся в воздухе ушибленным пальцем.

Отгоняя воспоминание, она даже голову нагнула упрямо и руки подняла, словно бы собираясь провести ладонями по щекам — но совладала с собой, и прежнее сдержанное выражение, с каким стояла она в тамбуре, вернулось на ее лицо... Все это с большим любопытством и участием наблюдал со своего места Исай. Он сидел совсем рядом с ней в нелепом своем пиджачке и все в тех же спортивных туфлях, спокойно опершись спиной о жесткую спинку скамьи. Очки с треснутыми стеклами мерно покачивались вместе с его головой, со скамьей, с вагоном. Когда девушка, справившись с собой, резко опустила руки и исподлобья оглядела соседей, он отметил: „Красивые брови”.

Меж тем девушка, оглядевшись мельком, продолжала свои наблюдения более независимо и более внимательно. Семейство ахтинских лезгинов сидело перед ней. Две азербайджанки-мусульманки, откинув чадры, держали на коленях, у раскрытых грудей, сонных детишек. Классическая их поза — утомленно раздвинутые ноги, широчайшие юбки, складками свисающие между колен, смуглые тонкие пальцы, опоясавшие голенькие тела младенцев, — это напоминало изображения на персидских миниатюрах. Возле них, по-турецки подогнув под себя ногу, а другую свободно свесив с лавки, старый

лезгин мохнато глядел в пространство перед собой из-под бараньей дикой шапки. Глаза у него были мечтательные — точь-в-точь как у горских евреев Кавказа. Какой-то тихий крестьянин примостился на полу, между лавками, на двух крепко увязанных мешках. От мешков тянуло запахом лука, бараньего жира и прокисшего вина.

Дверь из тамбура внезапно скрипнула, и девушка вздрогнула так резко, что Исай перестал расслабленно раскачиваться и подобрался. Белокурый человек в коричневом толстом свитере, посвистывая, прошел мимо. Он не глядел ни на кого и глядел на всех, и прищуренные глаза на рябом лице привычно заносили в реестр памяти и пассажиров, и их скарб, мешки под крестьянином, подозрительно раздутый курджун на полке, корзины с яйцами, выглядывавшими из сена. Это был оперативный агент НКВД. Когда он прошел, девушка вынула свой билет. Повертев его в руках, она, видимо, решила, обернулась к ближайшему соседу и увидела Исая. Его разбитые очки и добродушное лицо с внимательными глазами ей как будто что-то напомнили. Серьезно сдвинув брови, девушка протянула ему билет со словами:

— Я хотела бы поменяться с кем-нибудь, кто едет до моей станции. У меня мягкое место. Но я хочу остаться в этом вагоне. Вы можете мне помочь?

Исай взял билет и близоруко поднес его к глазам, к разбитым стеклам очков. Потом молча поднялся и, положив на свое место маленький сверточек, пошел по вагону. Девушка слышала, как он со смешной и трогательной учтивостью обращался к пассажирам с предложением обменять жесткое место на мягкое. Но охотников на такой странный и подозрительный обмен не находилось. Вернувшись, он с юмором пожал плечами, вынул из кармана сшитый из клеенчатой

тетрадной обложки кошельек и запустил туда пальцы. Девушка нетерпеливо глядела на эту большую, спокойную руку, поросшую золотистыми волосками. Слишком короткий рукав пиджака открыл молочно-белое, как у женщины, запястье. Он выудил наконец из кошелька свой собственный билет и протянул его соседке. Они ехали до одного и того же места.

— Ну, что ж вы? — спросил Исай. — Берите!

Взяв свой сверточек, он потянулся к полке за шапкой. Полы его сшитого в талию пиджачка разошлись, и девушка увидела какую-то допотопную железную пряжку на его штанах. „Вот чучело!“ — мелькнуло у нее в голове.

Достав наконец шапку, Исай натянул ее на голову, поклонился девушке и объяснил:

— Надо спешить — сейчас пойдет контроль.

2

С ловкостью акробата он пробирался по набитым до отказа вагонам. Распахивая дверь в очередной вагон, он как бы открывал новую главу романа о своей стране.

Раздать бы всем этим людям анкеты, думал он, перешагивая через ноги и мешки, раздать бы им анкеты с вопросами, и чтоб грамотные помогли их заполнить неграмотным — можно было бы взять на ладонь, приблизить к свету все социальные слои общества, их заботы, их надежды и чаяния, их открытия и тайны. Можно было бы проследить приливы и отливы людских волн из деревень в столицы, закономерности этого движения, его экономическую подоплеку. Все, что происходит в этой стране, в ее кровеносных сосудах, в ее серд-

це... Но не было таких анкет, и не было социологов и статистиков.

Только острые зрачки Исая накальвали на булавочку внимания всех, мимо кого он проходил в вагонном мчащемся мире — да еще водянистые глаза энкаведешника впитали, как промакашка, все, что хотелось запомнить соглядатаю. Деревенские трогались с места не в одиночку. Семьи мусульман — лезгинов, аварцев, даргинцев, кумыков, кавказских евреев — спускались из своих аулов в низинные дагестанские города. Крестьяне из самых глухих горных углов, дожевав последнюю пригоршню ячменя, в поисках работы расползались по строительным площадкам республики. Их крепкие спины, их подвязанные веревками сандали из буйволовой кожи, их широкие плечи, коричневые от загара лица и понуро опущенные отощавшие ястребиные носы — все это составляло горный тип, исполненный своеобразного хищного благородства. Опустив головы, терпеливо сидели эти люди на скамьях и мешках, слушали, как бередил какой-нибудь любитель струны тара, да разглядывали от нечего делать свои руки, тяжелые доски своих ладоней, покрытые синими ссадинами и черными занозами.

Служащие с женами хлопотливо раскладывали на лавках цветные ватные одеяла, бросали на них подушки и принимались пить чай из медных чайников или из оловянных жбанчиков с проволочными ручками. Они ехали на стройки и на заводы, и весь свой домашний уют везли с собой на новые места; верхние полки были переполнены их рухлядью, и багажные вагоны ломились от их сундуков и корзин.

По плацкартным вагонам пробегал в белом фартуке помощник буфетчика. Насупив сросшиеся над переносицей брови, он умело жонглировал стаканами чая,

расставляя их по столикам и на ходу всыпая в коричневый кипяток ложечку сахарного песка.

По коридорам купейных вагонов не спеша прогуливались подтянутые граждане в брючках фасона „король Джордж”. Эти ехали одни, без жен и без детей. Подтянутые граждане знали наизусть все станции, им даже не надо было выглядывать в окно, чтобы безошибочно определить, где они находятся. Следовали они на небольшие расстояния — в Мамедкала, в Избербаш — и там, небрежно помахивая кожаными чемоданчиками, первыми спрыгивали с подножек на перрон и направлялись к вокзалу. То были маклеры, разъездные виноторговцы, строительные подрядчики, неунывающие частники. Когда расширялись где-то вены бюджета — вот тогда-то они и срывались с места и, помахивая своими чемоданчиками, устремлялись на новостройки, на торжественный пуск заводов и фабрик.

Исай все шел и шел, гадая, кто же из попутчиков его будущие сослуживцы, кто вместе с ним едет на „Двигательстрой”. На своем пути он попал в шумящий, как потревоженный улей, вагон; кондуктор, просунув круглую голову в дверь и почтительно посмеиваясь, прислушивался к голосам своих возбужденных пассажиров. Исай вежливо извинился, прося кондуктора дать ему дорогу; с тем же успехом он мог обратиться к деревянному чурбаку. Протиснув свое худое и ловкое тело в вагон, он уловил обрывки слов и удовлетворенно хмыкнул.

Так и есть: это были кочующие по всему Союзу „счастливые птицы” железных дорог — с одинаковыми головами, с одинаковым блеском глаз, с одинаковыми блокнотиками в руках, с одинаковыми брошюрками, книжечками и значками, с одинаковыми жареными курицами, завернутыми в газету и спрятанными на дно чемодана. Они независимо пережлестывали — в Сибири или

на Украине, в Крыму или на Дальнем Востоке — через всех прочих пассажиров, едущих, возможно, по тому же маршруту. Они были членами одной из бесчисленных делегаций, направлявшихся в Москву на один из бесчисленных съездов.

К делегатам стоило приглядеться. Деревенских сразу можно было признать по новой, сидящей колом брючной паре, по напряженно-торжественной, как на трибуне, позе, по свежестриженным волосам, воняющим дешевым одеколоном. Горожане, напротив, разгуливали до приезда в столицу в каждодневном залосненном костюмчике, как будто командировка в Москву для них дело обычное-привычное, — и только в их взгляде проскальзывал иногда блеск превосходства и торжества. С первой же минуты они опекали деревенских людей, как всадник опекает лошадь.

Исай шел дальше, с наслаждением переваривая собранные им впечатления и факты. Когда он наконец вступил в теплый, обшитый узкой лакированной планкой мягкий вагон, барственно покачивающийся с боку на бок, мощно гудящий, — мысли его вернулись к той молчаливой девушке с красивыми бровями. От кого или от чего убежала она из мягкого вагона?

3

В вагоне царил сдержанная тишина. Из приоткрытых дверей купе в коридор доносился дымный запах дорогих папирос. Ничем не примечательный гражданин со своей молодой дамой давно уже вошел в купе, где два молчаливых пассажира, один в штатском, другой в военном, мокали носы в развернутые газеты. Оторваршись от газет, освещавших очередные достижения советской власти, они без удивления узнали во-

едших; военный кивнул им, а гражданский произнес риветственно-дружеское „бэрорма-азима”*

Молодая дама, скорее даже девушка, с персиковым ветом лица, с бархатистыми щеками, округло-строй-ая, тут же уютно уселась у окна, стянула перчатки, ридирчиво оглядела крашенные ноготки, а потом отки-ула крышку лакированной сумочки и, с обезьяньей ыстротой поглядывая во вправленное туда зеркальце, инялась пудрить подбородок.

Ничем не примечательный гражданин сел рядом с ей, достал портсигар, взял папиросу и предложил за-грить соседям.

— В Махачкалу? — беря папиросу, поинтересовался гатский.

— В Махачкалу, к матери, — подтвердил гражданин и гонько кивнул в сторону своей дамы.

Его спутники и виду не подали, что знают о том, что звали гражданина в Махачкалу для специального чета. А гражданин глубоко прятал чувство смутной евоги, порожденной этим внезапным вызовом, и от мого себя, и, в особенности, от жены, ничего еще об ом не знавшей. Щелкнув пряжкой сумочки и попра-в прическу, она наконец оборотилась к своим попут-кам.

Никто из них не мог потом вспомнить, о чем и каки-и именно словами заговорила эта милая молодая да-и — так незаметно, непринужденно вплелся в общую седу ее мелодичный голосок. Хорошенькая женщина лтала на все темы сразу, неизвестно о чем, и попут-ки слушали ее внимательно и с удовольствием, а ж тянул папиросу за папиросой, и отработанные ысты завязтого курильщика помогали ему сохранять д спокойного человека, уверенного в своем завтраш-

* Дорогой брат (горско-еврейский язык).

нем дне. Но тревога все же прорывала белые швы спокойствия. То он нервно открывал и закрывал спичечный коробок, то беспокойно щурился, вглядываясь в табачный дым и как бы отыскивая в нем что-то неведомое, то машинально стряхивал пепел с папиросы прямо себе под ноги. За его спиной, по грязно-зеленому бархату дивана полз клоп.

И в наружности этого пассажира было что-то напоминавшее голодного клопа на бархате. Он сидел в неловой настороженной позе, о его костлявой груди никак нельзя было сказать „вот сильная грудь!”. Однако посадка головы выдавала военную выправку. Тугой воротничок френча подпирал сухие, гладковыбритые, в бритвенных порезах щеки. Жесткие, с проседью на висках волосы были острижены бобриком. С выражением сосредоточенности и властности, отчетливо обозначенным на лице, резко контрастировал рот — мясистый, безвольный. Глаза казались бы бесстрастными, если бы не заганная на самое их дно тоска пополам с трусостью. Но этот человек, видно, знал себе цену. Не сосредоточивая внимания на открытой двери, он тем не менее видел, как пассажиры из других купе, прогуливаясь по коридору, как бы невзначай заглядывают сюда и скользят любопытным взглядом по нему или по его спутнице. Группируясь и разбегаясь, как бильярдные шары, они почти запрудили коридор у двери его купе, когда новая примечательная пара появилась в поле его зрения. Это был старый английский писатель, беспристрастный наблюдатель, приехавший в СССР по вынужденному приглашению правительства, и его секретарь. Страшные, кровавые слухи просачивались время от времени из Советского Союза на Запад — о ночных расправах над беззащитными людьми, о пытках, о тюрьмах и лагерях, об издевательствах, чинимых тайной службой над гражданами — рабочими и интеллигентами, солдатами

и крестьянами. Особое беспокойство вызывали сведения о национальных преследованиях, особенно антисемитских гонениях на евреев. Красные лозунги не замутили острый взгляд англичанина; переезжая из города в город, он собирал факты, и факты эти были страшны. Будучи человеком благовоспитанным, он произносил сухие вежливые речи, пожимал тысячи официальных рук и целовал подводимых к нему упирающихся детей. И — собирал факты для будущего протеста и борьбы. Псевдоним этого писателя был Джон Сконс, а настоящее его имя мало кому было известно.

Секретарь его между тем не вникал в душевные переживания своего патрона; он был вполне доволен интересной поездкой. Шустро потеснив толпу, он пропустил хозяина в купе, а потом вошел сам, лучезарно улыбаясь, спеша представить литературное светило „сильным людям”. Ему нравилось играть роль посредника, близость к „великим мира сего” льстила его самолюбию. В обществе власть имущих или просто известных людей он чувствовал себя, как мальчик, допущенный в круг взрослых.

Английский писатель пожал руку ничем не выдающегося гражданина во френче и, потеснив соседей, сел против него на нечистый бархат дивана. Секретарь остался стоять в дверях; из-за его спины выглядывали любопытные, желающие послушать, о чем пойдет речь в этом купе.

4

Английский писатель говорил по-русски. Его выговор был хотя и достаточно четок, но ударения ему не давались; некоторые слова он произносил как уроженец

Западной Украины. Его собеседник вставлял в свою речь время от времени английские слова.

Дождавшись паузы, Исай перегнулся через плечо секретаря и спросил:

— Простите, пожалуйста, как вам показался наш социалистический строй? Вы видели наши заводы, новостройки?

— Я много ездил, — ответил писатель, внимательно поглядев на Исаю. — Меня интересует история вашего народа. Я видел в Дербенте старинный памятник, ему около пятисот лет. На памятнике высечена древнееврейская надпись. Мне сказали, что этот памятник будет снесен. А христианская старина? Церковь XIII века на площади Горсовета уже снесена, на ее месте установлен бездарный памятник Ленину. Еврейский район снесен до основания, синагоги разрушены. Это, молодой человек, не реконструкция, это — политика! Вы еврей, не так ли? Так вот, вы знаете что-либо о своих национальных корнях? А я — знаю! Мой дед был раввином на Украине, в Шепетовке. Я помню, как он мне рассказывал о кавказском еврействе, о его обычаях, о его приверженности иудаизму. Что вы знаете об этом? А если захотите узнать — сможете ли?

Исай промолчал — вокруг было слишком много любопытных ушей.

— В вашей стране установлен новый строй, — продолжал писатель. — Вы начали производить вещи и все время говорите о том, как вы эти вещи производите. Но мы, на Западе, очень давно и очень хорошо производим вещи, и мы об этом не кричим на весь мир. Мы уважаем свое время. Мы против принудительного труда, против подавления человеческой свободы. Вещь, созданная принудительным трудом, для нас — табу! Приезжая к вам, мы здесь ищем не вещи, а новый принцип жизни. А что мы находим? Если вы разрешите мне сказать

правду, я видел много людей во многих местах — но я не видел уважения к человеку. Вы собираете многотысячные массы людей только с одной целью — производить вещи! И это все!

— Кто это такой? — шепотом спрашивали в коридоре. — Да он просто контра!

— Что мешает вам проявлять уважение к человеку? — волнуясь, продолжал англичанин. — Я знаю что! Для вас строительная площадка — это фронт. Рабочие — это солдаты. Начальник строительства — это командир. Вы собираете людей, вы стремитесь обеспечить их хорошим фуражом, достаточным кормом, чтоб они работали с полной отдачей. Но люди есть люди, даже если они солдаты строительного фронта. И приезжает одна ревизия, и другая ревизия, и третья ревизия, и вот уже кого-то сажают в тюрьму. И люди начинают нервничать — и работают плохо. У нас нет ревизий — и работают хорошо... Теперь второе: кого должны слушать ваши люди? На одного работника десять начальников: инженер — начальник, мастер — начальник, директор — начальник, рабочий комитет — начальник, райисполком — начальник, партком — начальник, ревизор — начальник, НКВД — начальник. Рабочему это надоедает, он тоже хочет стать начальником, и он очень хорошо знает, как это надо сделать: написать донос в НКВД, все равно на кого и за что. И вот пишут — и тоже становятся начальниками. Чем больше пишут, тем большими становятся начальниками... Есть такое правило: хочешь командовать — учись слушаться. У вас все хотят командовать, никто не хочет слушаться.

— Так, значит, получается, — выдал из себя Исай, — что у нас тут анархия какая-то, а не диктатура пролетариата...

— Диктатура страха! — решительно опроверг писатель. — Один другого боится, один другому мешает.

У вас каждую мелочь надо брать с боя — поэтому даже строительство бани вы называете баннным фронтом. Бумажки, волокита, бюрократизм — а настоящим делом и не пахнет!.. Поверьте мне, я люблю русских, их широту, их мечтательность — но я не люблю шовинизм, не люблю, когда сверху натравливают великий народ против малых. Ведь под Россией никто не уцелеет — ни татары, ни евреи!

В коридоре любопытные уже давно толкали друг друга локтями. Спецы, сняв пенсне, сосредоточенно и тщательно протирали стеклышки — спасительный жест, неведомо с каких времен и кем введенный в обиход. Один рыжеусый, кругленький, полненький, нагнувшись к уху соседа, с ехидцей шептал ему что-то на ухо; элегантный путеец с военной выправкой, с алыми влажными губами откликнулся на речи англичанина, глядя почему-то прямо на человека во френче:

— Нам в работе очень мешают приезжие...

Странное, загнутое выражение промелькнуло в глазах человека во френче — промелькнуло и тут же исчезло. Но и это мимолетное выражение поймал, зафиксировал военный; он тяжело уставился на человека во френче и уже не спускал с него глаз. И взгляд его говорил достаточно явственно только для того, на кого он был направлен: „Докатился! Уж не рад ли ты этим дурацким речам чужака? Уж не соответствуют ли они твоим собственным, тайным и подспудным мыслям? Или, может, тебе по душе слюнявый шепот спецев? Ты на опасном пути, ты оторвался от нас, ты выдохся. Так и голову недолго потерять...”

Человек во френче не подымал глаз на военного. Он угадывал его тупой, тяжелый взгляд по смутному томлению под ложечкой, по подвздошному какому-то беспокойству. Уже не раз за последнюю неделю эти странные, сосущие боли беспокоили его, и врачи, пока-

чивая головами, повторяли с глубокомысленным видом: „Несомненно, диафрагма...” Военный чуть прищурился, взгляд его долбил череп человека во френче, как отбойный молоток. И в злобном грохоте слышались те же слова, что были им произнесены вчера в кабинете. А то случайное, казалось бы, совпадение, что военный едет с ним в одном купе в Махачкалу, только усиливало тревогу человека во френче, делало ее почти невыносимой.

Беспомощно скользнув взглядом по соседу в штатском, он не встретил помощи: закрыв глаза, сосед то ли спал, то ли делал вид, что заснул. Тогда он подобрался и заговорил сухо, почти враждебно:

— Вы, однако, рассуждаете поверхностно, господин писатель. Можете ли вы охватить взглядом наше будущее?

— О да, — оживился писатель. — Если так у вас и дальше пойдет, будущее поколение наверняка возмутится и совершит новую революцию, чтобы изменить вашу политику.

Человек во френче вильнул глазами, поглядел в окно, потом пошарил взглядом по столику, как бы ища газету или журнал, с тем, чтобы переменить тему разговора, — но его молоденькая жена, искренне скучая, уткнулась в журнал, а в окне проплывала, желто освещенная молодой луной, холмистая снежная степь, дышавшая, казалось, той же тревогой и беспокойством. И толпившиеся на полустанках крестьяне, казалось ему, провожали поезд тупыми и тяжелыми, как у военного, взглядами... А писатель, не встретив ожидаемого отпора, многословно и чуть снисходительно приводил примеры неуважения к людям: бесцеремонно будят в поездах спящих пассажиров, и разговаривают громко, и дверями хлопают, и вещи сбрасывают с верхних полок прямо

тебе на голову. А хлеб? Он развел пухлыми руками и возвысил голос:

— В такой огромной стране — и нет хлеба. Надо разрешить крестьянам свободную инициативу, тогда и хлеб появится!

Аккуратно сложив газету, военный всем корпусом повернулся к писателю. Но прежде чем он успел открыть рот, кто-то заговорил в коридоре звонким взволнованным голосом. То был Исай. Он не заметил движения военного, он протискивался в купе, прося извинения у толпящихся ротозеев. Стекла его ветхих очков посверкивали, руки он нервно сунул в карманы. Военный, с любопытством окинув его взглядом, дал ему говорить.

— Простите меня, но вы ничего не поняли в нашем новом подходе к жизни, — волнуясь, начал Исай. — Вы глядите на нашу жизнь, ничего не видя. Новый подход нельзя изучать старыми глазами, со старых позиций.

— Ну, почему же... — писатель удивленно взглянул на Исайя. — Я ведь не огульно говорю. Вот, например, я слышал, как переговаривались между собой еврейские дети, возвращаясь из школы, — в их речи минимум треть древнееврейских слов. Это хорошо, замечательно: пока жив язык, жив народ... С другой стороны, я видел в Дербенте, за Шурынскими воротами, лагеря для заключенных. И знаете ли, к нашему приезду спилили сторожевые вышки — чтоб мы не догадались, что это такое. Но стены, плач ни в чем не повинных узников ничем нельзя унять — только смертью! Разве это свобода, господа? Разве это справедливость? Такими методами вы хотите построить ваш новый порядок?

— Нельзя без насилия построить новое общество на месте старого, — возразил Исай. — У нас к тому же нет практики, мы идем по неизведанной дороге. Одним добрым словом тут не ограничишься: ты иди сюда, а ты делай это. Вы говорите, что мы неэкономно расхо-

дуем человеческую энергию, и вот товарищ инженер заметил, что нам мешают приезжие. А я в этом тоже вижу новый принцип: это метод всеобщего обучения. Вы говорите — ну, не вы, так другие иностранные гости, — что нам нужны иностранные специалисты только для того, чтобы построить подземные военные заводы, наладить военную промышленность, а потом мы вас и знать не захотим. Это — детали революции. Революция разбудила интеллект в массах, простой народ потянулся к знаниям. Этого ни в одной стране нет! И вот правительство выделяет Наркомпросу огромный бюджет, какой вам даже и не снится, — и все равно этого мало, не хватает для того, чтобы научить всех желающих учиться.

Тут военный вступил в разговор. Он слушал Исяя вполуха — заранее знал, что скажет этот восторженный очкарик. Мысли военного были заняты иностранцем. Что он знает? Что он успел пронюхать? Он слышал, видно, что-то про правый уклон, а может, и про Шахтинский процесс. И вон, хлебная проблема ему известна. Откуда? Кто нашептал?

Злоба поднялась в нем — но не против писателя, а против этого слюнтяя во френче, против ничтожества со смазливой бабенкой, которой скоро, ой, скоро придется заворачивать подол перед каждым лагерным надзирателем.

— Вы должны, господин писатель, познакомиться с „Двигательстроём”, — тоном приказа сказал военный. — Там вы увидите много таких вот... энтузиастов, — и военный, как на пустое место, взглянул на удивленного Исяя.

Пассажиры расходились без спешки. Коридор опустел. Прижимая к груди грудку жидких подушек и постельного белья, прошел вдоль дверей купе старый седой проводник, которого пассажиры запросто называли Биньомин. Но и Биньомин не оставался в долгу: состав населения мягкого вагона был почти постоянным, Биньомин знал в лицо каждого второго и к своим подопечным запросто обращался на „ты”, как это принято в кавказско-еврейском языке... К словам англичанина, стоя у двери со своими подушками, он прислушивался с живейшим интересом, но реагировал на них только едва заметными движениями бровей и губ.

Этот седой, сутулый человек в очках в серебряной оправе, с вечной ваткой, подложенной под тесную дужку, давящую на переносицу, служил здесь, казалось, со дня открытия дороги. Он мог бы, наверно, рассказать о первом паровозе с огромной дымящей трубой, об обилии дореволюционных станционных буфетов, о том, куда и зачем едет каждый из его пассажиров. Многие повидал на своем веку проводник Биньомин и к концу жизни пришел к выводу, что не следует — для собственной же пользы — задавать слишком много вопросов, да и делиться своими обширными знаниями с окружающими тоже не стоит. Конечно, каждому человеку хочется поговорить — но лучше сказать два слова вместо трех, а еще лучше — одно слово вместо двух... Вот, например, ведь и дураку ясно, что до революции железнодорожникам жилось куда лучше — а они бастовали, а теперь живет совсем худо — а бастовать нельзя, и не дай Бог спросить, почему нельзя: за такой вопрос упекут в тюрьму лет на десять, если к стенке не поставят.

Биньомин знал в лицо чуть ли не всю республику.

И кто ж, как не он, мог дать справку коридорным зевакам, кто этот военный с тяжелым взглядом? „Важный человек, — шепотом называя фамилию военного, объяснял Биньомин. — За назначением едет”. О том, что дела у военного в последнее время идут из рук вон плохо и что новое „назначение” может кончиться весьма плачевно, — это Биньомин на всякий случай не рассказывал никому.

Поездной стукач в коричневом свитере — сосед Исая — высунулся по пояс из двери купе и крикнул начальственно:

— Биньомин, тащи постель!

Старый проводник заторопился, засеменил по коридору, беззвучно шепча себе что-то под нос.

Исай, заняв свое место, сидел молча. Час был поздний, за окном сливовый сок вечера загустел, сделался черным, как деготь; апельсиновая долька месяца в этой черноте сморщилась, увяла. Мелкие острые звезды стали видны, если приблизить лицо вплотную к холодному стеклу и вглядываться напряженно.

Привыкнув рано ложиться, Исай хотел спать. Сдерживаясь, чтобы не клевать носом, он терпеливо ждал, пока Биньомин постелит стукачу на его верхней полке и займет его, Исаевым, нижним местом. Но стукач не собирался спать. Он поставил на столик бутылку дербентского коньяка, разложил на салфетке соленые огурцы, сыр, яйца и пышный свежий лаваш и пригласил „на рюмку” Исаю и Биньомину. Проводник знал стукача не только в лицо, но и по имени: его звали Мишей. Маленький металлический стаканчик Миши пошел по кругу.

— В этом году зачастили к нам иностранцы, — вкусно хрустя огурцом, начал стукач Миша. — Большинство, конечно, хорошие люди, понимающие... А этот писатель — умный тип, и хитрый... — он выжидающе взглянул на Исаю.

Но Исай молчал. Он поднялся сегодня рано, весь день бегал и хотел сейчас одного — лечь, расправить кости. А спутники его привыкли к дорожной бессоннице и не представляли себе, как это можно в вагоне лечь спать раньше полуночи.

— А вы куда едете? — не отставал Миша. Узнав, что Исай получил работу на „Двигательстрое”, понимающе закивал головой: — Хорошо, замечательно. Вон, и мягкий вагон оплачивают. Работенка рублей на триста, а?

— Нет, просто я свой жесткий билет на мягкий обменял... — Исай замаялся. Ему не хотелось распространяться о незнакомой девушке с красивыми бровями.

Но тут вмешался проводник Биньомин — и сон у Исаю как рукой сняло: с жадным любопытством, как в детстве, ждал он, что скажет Биньомин.

— Ну, понятно... — с хитринкой сказал проводник. — Не иначе, как с Хизгиловой обменялись. Я ее видел. Она совсем было уже вошла, билет мне протянула — и тут... — он замолчал с таинственным видом.

Т-р-рах! — хлопнулась с верхней полки пустая бутылка, брызнули осколки. Свет замигал, как во время землетрясения. Коньяк опрокинулся, золотистая струйка потекла под ноги. Поезд трясло, как в лихорадке; стенки вагонов скрипели, под полом визжали колеса. Наконец поезд в последний раз дернулся и застыл.

— Что это? Что случилось? — растерянно бормотал стукач Миша. — Вы посидите, я сбегая узнаю.

Он, размахивая руками, побежал по коридору, а Исай рукавом принялся вытирать окно, запотевшее от теплого дыхания. Но за окном стояла, как черная стена, непроглядная тьма. „Вот, говорят, — подумал Исай, — что изобретут когда-нибудь люди такие машины — без шума, без копоты и вони. Говорят, придет пора, когда природа будет послушна человеку, а небо

станет навсегда голубым и блестящим, как оконное стекло, протертое хозяйкой к Пасхе. И контуры вещей будут очерчены резко, как тушью... А мне становится страшно от такого будущего, когда все люди получат по равной мерке счастья! Я хочу, чтоб жизнь осталась неровной, как перекопанное поле, чтоб можно было споткнуться, упасть и подняться, отряхивая землю с колен. Я хочу, чтоб по ночам кричали паровозы, вот как сейчас: „А-а-а!”

Так или примерно так рассуждал Исай, приплюснув нос к холодному влажному стеклу. В темноте расстилалась гористая дикая степь, впереди, вылизанная буйными ветрами, лежала Махачкала, за ней волчьей стаей горбились, скалились горы и стеклянно поблескивало море. Вправо от Махачкалы вздымались стены ущелья, прославленного тем, что железную дорогу трудно было по нему прокладывать, очень трудно. Оно так и осталось в истории под именем „Перегон с тяжелым профилем”. А ущелье это красиво, как лицо девушки с темными мрачными глазами, с губами чувственными. По сторонам подонной быстрой речки громоздятся, как куски кровавого мяса в мясной лавке, глыбы красного базальта. Чем ниже спускается ущелье, тем чаще встречаются одинокие деревья по склонам, и исчезают дагестанские плоские каменные кровли, и появляются веселенькие треугольные черепичные крыши низины. Упрямство инженерного гения загоняет синие рельсы в черные туннели, возносит их на виадук, пропускает через ажурные мосты, повисшие над пропастями... Прижавшись к стеклу, Исай различал фигурки железнодорожников с золотыми точками фонарей. Пробуя чугунные кости вагонов, отрывисто постукивал молоточек: „бам-бак, бам-бак!” Исай схватил шапку и вышел из вагона, в ночь, под небо. Лиц нельзя было разобрать в темноте, в жидком свете фонариков, но в

мерцании форменных пуговиц и скрипе сапог, в стуке молотков, в запахе машинного масла, в негромких словах команд было нечто объединяющее, цельное. Вся дорога пульсировала золотыми вспышками, мартовская хлябь была пропитана отрывистыми словами и движениями смазчиков, сцепщиков, машинистов и кочегаров, и будоражащий запах едкой машинной мочи, дегтя, керосина и отработанного пара забивал далекие ароматы тающих горных снегов. Пассажиры уже знали, что случилась авария, и успокоенно обсуждали детали происшествия: впереди столкнулись два товарняка, аварийная бригада расчищает полотно. Острое дорожное сладострастие ночных поездов окатило пассажиров, и Исай, радостно удивляясь самому себе, толкаясь в спину, побежал в хвост состава, к жесткому вагону. Но напрасно шлепал он по лужам, заглядывая в темные окна: девушка с красивыми бровями как сквозь землю провалилась, и только слышался Исаю ее чистый, как снег, голос в бодрящих порывах весеннего ветра... Продрогнув в своей куртке на рыбьем меху, Исай разочарованно повернул обратно.

— Это черт знает что такое! Третий раз с начала месяца! — услышал он возмущенную скороговорку сухопарого спеца в вытертой бекеше с поднятым воротником.

Из тьмы выкроился взъерошенный человек-всезнайка с незакрывающимся ртом и принялся объяснять:

— Дежурному по станции звонили, спрашивают: „Принимаете одиннадцатый?“ Он говорит: „Принимаем, готово“ — и пошел дрыхать. Одиннадцатый идет, а стрелочник тоже ворон ловит, или сорок. Перевести бы стрелку — и все в порядке. Ужас! Из-за этого мерзавца такое могло случиться! Расстрелять его мало!

Пассажиры терпеливо толпились вдоль поезда; никто не собирался идти спать. Махачкала казалась далекой как Венера. Никто не знал толком, когда двинется

поезд. Завязывались знакомства, возникали кратковременные дорожные надежды, о которых сладко забываешь, сойдя на перрон станции назначения. Паровоз шипел и отрыгивал паром. Моросил дождь. Все было, как полагается в подобных случаях... И только стукач Миша так и не узнал, с кем Исай обменялся билетом. И Исай не узнал, почему убежала из мягкого вагона девушка с красивыми бровями.

Глава пятая

„ДВИГАТЕЛЬСТРОЙ”

1

Только поздним вечером подкатил вышедший из графика поезд к махачкалинскому вокзалу. Потерявшие надежду встречающие уже давно разбрелись кто куда. Высокопоставленные командированные, сойдя на перрон, раздраженно озирались по сторонам; некоторые из них, пройдя в здание вокзала, ругались с дежурным начальником. Начканц Абрамов, наступая на сонного телеграфиста, тряс телеграммой, составленной в весьма соленых выражениях; впрочем, он и не думал ее посылать, а только хотел попугать телеграфиста и тем унять свое возмущение. Большинство же приезжих понуро торговались с извозчиками, круглые сутки дежурившими со своими телегами на вокзальной площади... Что же касается английского писателя, то он, морщась от изжоги и предчувствия подступающего язвенного приступа, одиноко сидел в заплыванном и сыром зале ожидания. Более всего ему сейчас хотелось вернуться в Англию.

Никого ни о чем не расспрашивая и не прося ни у кого совета и помощи, Исай тем временем широко шагал по махачкалинскому шоссе к морю. Он шагал как бы играючи, как бы ведя перед собою футбольный

мяч. Он чувствовал себя как сильный конь на дороге — и одновременно как всадник, горячащий этого коня. Это бурлящее ощущение кентавра было одним из самых любимых ощущений Исаея Шалумова. Один на дороге, он не стыдился своей нежности к миру и к самому себе. Глаза под разбитыми стеклами очков источали тихую благодарную радость. „Звездочки вы мои! — закидывая голову, думал Исай. — Маленькие, прекрасные”. Вечер искрился мириадами звезд, вечер пах талой водой и последним весенним льдом — так никогда не пахнет день, замешанный на солнечном свете. Запах дня — запах прелой земли, влажной и теплой гнили. А запах вечера — запах бездонной вселенной... Все это чувствовал и любил Исай, потому что он был одинок в мире и умение любить природу получил вместе с драгоценным даром одиночества.

Впрочем, вскоре его упойтельное одиночество разрядилось: вдалеке посверкивала Махачкала, в той стороне угадывалась теплая и сладкая жизнь.

Ласковые копыта волов пошлепывали в плотной темноте, и слышалось горестное сопение животных под ярмом. Тонкий кнут, воткнутый в сено, упирался в зеленоватое небо. Аробщик спал, уткнувшись лицом в колени. Сон синей дугой стоял над миром; спали горы, люди, кусты, спали далекие волы, похожие на египетских сфинксов. А навстречу Исаю шел прохожий человек, и не видно было, кто он такой и что у него за лицо; Исай не вглядывался в него, а только чувствовал, как собака чувствует собаку во тьме. Полагаясь более на ноги, чем на глаза, Исай почти бежал по дороге — и вскоре, как он смутно того и ожидал, появилась на гребне дороги махачкалинская линейка, катившая к „Двигательстрой”. Тройка сытых лошадей тащила эту линейку, позванивали бубенцы, пассажиры сидели спина к спине, болтались крылья высокого балдахина,

а кучер кричал свое „н-но!“ таким высоким и резким голосом, что ночь редела, уступая место раскаленному звуку.

Среди пассажиров линейки была и Шуламид Хизгилова, закутанная в кашне, с локтями, тесно прижатыми к бокам. Исая видел на станции, как носильщик тащил ее вещи, а она попевала за ним, и стучали ее сапожки по деревянному настилу мостика... Исая выступил из темноты, поднял руку:

- Место есть?
- А тебе куда?
- На „Двигательстрой“.
- Ну, садись...

Исая вскочил на подножку и, держа свой сверточек над головой, втиснулся на скамейку между Шуламид и каким-то грузным типом, похожим в своем негнувшемся плаще на брезентовый куль. Теперь Исая сидел бок о бок с девушкой, он чувствовал ее острый локоток, он, вытянув руку над ее плечами, оперся о стойку и застыл в напряженной, неудобной позе. Ему хотелось, чтобы она узнала его и заговорила первой. Но Шуламид молчала. А вот человек в брезентовом плаще сделал попытку пошевелиться. Он высунул голову из капюшона и натужно повел плечами. Он признал бы Исайю и среди тысячи людей. В темноте и в тесноте его возня раздражала соседей. Этот парень был сухощав, его брезент вонял бензином, его руки были велики и мускулисты. По черным ободкам под ногтями, по воспаленным глазам и по обветренным скулам можно было предположить, что этот парень — шофер или автомеханик.

— Я извиняюсь... — смущенно пробормотал шофер, пытаясь высвободить руку.

— Кончай локтями-то дергать! — заворчал толстяк из Дербента. — Не один едешь!

— Я извиняюсь... — повторил шофер. — Вот этот, в очках, третьего дня так красиво в отделе кадров говорил...

И Шуламит тотчас узнала того, с кем она поменяла билет, и припомнила слова своей тетки о смешном человеке в отделе кадров. Она внимательно взглянула на своего соседа и в ответ встретила острый и какой-то беспомощный блеск разбитых стекол очков. Шофер меж тем продолжал, обращаясь к дербентскому толстяку:

— Очень красиво тогда он про машину сказал. Вот мы тащимся на трех лошадиных силах — а мне бы сейчас руль...

Мимо линейки, рассекая ночной воздух золотыми кинжалами фар, промчался черный, блистающий лаком автомобиль — это с „Двигательстрой“ послали „Линкольн“ за английским писателем. Проводив машину восхищенным взглядом, шофер продолжал рассуждать о преимуществах мотора перед конной тягой, о безработице, о смерти жены, о непорядках в отделе кадров, о секрете изготовления дербентских лепешек и о своей службе в России. Он все болтал и болтал, и никому из его соседей не захотелось, пересилив дремотную лень, сказать ему: „Слушай-ка, да замолчи ты наконец!“

— Вы тоже на „Двигательстрой“? — наклонившись к Шуламит, тихонько спросил Исай.

Девушка утвердительно наклонила голову и промолчала.

— Все бы еще туда-сюда, — продолжал тараторить шофер, — если б жена не померла. А теперь вот гляжу на небо и думаю: где она, жена-то моя, — на небе или еще где, а если на небе, то, выходит дело, коммунисты врут, что Бога нет. Как вы думаете, — оборотился он к Исаю, — смерть — это конец или нет?

— А разве твоя жена ушла из твоей души оттого, что

она умерла? — помедлив, сказал Исая. — Быть может, бессмертие — это вечная память оставшихся об ушедших?

Шуламит поразил ответ Исая. Она, скосив глаза в темноте, старалась получше разглядеть его лицо, выражение его глаз. Брезентовый шофер глубоко вздохнул и уставился на звезды.

Вскоре линейка остановилась. Водчик, спрыгнув на дорогу, выгрузил багаж из кузова. Шуламит расплатилась, и Исая тоже выудил из кармана пригоршню мелочи. Теперь им предстояло спуститься вниз, к морю, и Исая, связав веревкой чемоданы Шуламит, легко перекинул их через плечо. Шуламит без возражений разрешила ему это сделать, а сама взяла его легкий сверточек. И они молча зашагали вниз, и, когда Шуламит оступилась, Исая взял ее под руку — но тут же отпустил, почувствовав, что рука отдана ему неохотно, по необходимости. Они шли быстро, почти бежали, пока не очутились у большого освещенного барака, на окраине строящегося городка. Девушка остановилась, и Исая опустил ее вещи на землю.

— Вы сказали про память, — сказала Шуламит. — Но память — проклятие, проклятие! — она глядела на Исая снизу вверх, и он жадно ловил в ее взгляде тепло чувств, все равно каких, и мечтал стоять под ее окном целую ночь, чтобы утром снова увидеть эти глаза, эти красивые сросшиеся брови. — Много есть такого на свете, о чем лучше не вспоминать, — продолжала Шуламит. — Фальшь, например... Я сюда только на одни сутки, может, больше не встретимся. Прощайте! Спасибо!

Исая хотел спросить, что-то сказать, хотел взять Шуламит за руку, почувствовать тепло и мягкость ее кожи — но вдруг смутился как мальчишка и остался молча стоять на своем месте.

Первый строительный участок раскинулся на широкой равнине, тремя ярусами. На третьем ярусе, там, где ворчала сбегаящая к морю речушка, работала сейчас третья смена. Строительную площадку заливал яркий свет, чуть повыше толпились темные бараки: слабенькие лампочки кто-то выкручивал каждую ночь, и ни ругань, ни угрозы коменданта не помогали. Заглянув в мутное окно, любопытный наблюдатель обнаружил бы сырые углы общежития, койки со свернутыми в трубку тонкими одеялами, грязные голые стены, влажные от мытья полы да железную печурку с обугленным поленом и оставленным для просушки сапогом или портянкой. Здесь жили сезонные рабочие, их холостяцкий быт пропах объедками ячменной лепешки, и тощая курица, забредшая сюда со двора, оставляла здесь, к негодованию уборщицы, куда больше, чем находила.

Ярусом выше торчали бараки семейных, тут жили мастера, прорабы, механики, инженеры. На окнах пылились марлевые занавески, тюлевые гардины. Они скрывали от любопытного взгляда быт куда более прочный, жизнь более налаженную. Сюда привезли из города тюфяки, железные кровати с никелированными шпешечками, венские стулья. На стенах висели вышитые крестиком дорожки, лоскутные одеяла наводили на мысль о простейшей правде жизни. Дети еще не спали, они возились на полу и на койках, и матери шутиливо шлепали их по голым задкам. Здесь уже воцарились вонючие устои налаженной жизни, земля вокруг бараков пропахла щедро выплескиваемыми помоями, на натянутых между шестами веревках болталось сохнувшее после стирки белье... В одном из окон покачивалась голова человека, старательно читавшего книгу. Он ше-

велил губами, его большие серые уши топорщились под ладонями, которыми он поддерживал большую голову, не приспособленную для умственных упражнений. Глаза книгочая были опущены, он время от времени покусывал и теребил зубами нижнюю губу, и тогда черная его бороденка приходила в движение и волосы ее как бы вставали дыбом. Почувствовав на себе взгляд Исаея, бородачкый книгочей вздрогнул, словно бы его тронули шилом, — но Исай уже прошел мимо, обогнул косогор и поднялся к верхнему ярусу, где располагались конторы, клуб, жилье старших технических работников и домик начальника участка.

Одернув куртку и поправив очки, Исай переступил порог конторы. Начальник участка Исаак Давидович сидел спиной к двери, лицом к окну. Спина Исаака Давидовича была куда выразительней его сухого, щучьего лица. Спина выдавала путейца, человека почти военного. Ровные плечи были неподвижны, шея выростала, как ножка гриба, из белого накрахмаленного воротничка, и только легкая дрожь, как морская рябь проходившая по туго натянутой ткани тужурки, выдавала нервность характера ее обладателя.

— Собачий выдался сегодня день! — проворчал Исаак Давидович. Утром он поругался с председателем местного комитета. А в обед приехала на грузовике из Дербента женщина с ветхим клеенчатым портфельчиком в руках — народный судья. Судить предстояло рабочего, укравшего какую-то безделицу со стройки, и Исааку Давидовичу необходимо было торчать на этом цурацком суде и терять время. И еще какой-то англичанин, писатель, должен был приехать с минуты на минуту и совать повсюду свой нос, и морочить голову — а Исааку Давидовичу предписано было играть роль громоотвода: убеждать иностранца, что все в полном порядке, что рабочие трудятся с небывалым воодушев-

лением, что никого нигде не сажают и не расстреливают и что советский народ совершенно счастлив — в отличие от угнетенных и голодных западных пролетариев, которым давно уже пора взяться за камни и палки и сокрушить загнивший капитализм...

В такое вот неподходящее время за стройной спиной Исаака Давидовича раздался предупредительный кашель — кашлял кудрявый с проседью мужчина в черной кавказской рубашке, опоясанной кожаным наборным ремешком, начальник канцелярии Давид Наумович. За локоть начканц держал Исаю.

— Это меня не касается, совершенно не касается! — почти не оборачиваясь, закричал Исаак Давидович. — Это ваше личное дело, сами его и расхлебывайте! — В другое время он хотя бы взглянул на нового служащего, но теперь его мысли занимал скандал с месткомом и предстоящий суд. — Я вас, во всяком случае, не уполномочивал, Давид Наумович! Не знаете ли вы, что ли, какие у нас каждый день неприятности? Сами согласовывайте с месткомом, а я ничего не знаю. Понятно?

Он схватил фуражку и только теперь встретился со взглядом Исаю — открытым, умным и, как ни странно, веселым.

— Нам, разумеется, нужен инженер... — пробормотал начальник участка, поспешно выходя из комнаты. Строительная площадка была ярко освещена, воздух пах упоительно — и все же Исаак Давидович не мог подавить в себе раздражения. Четким шагом прошагал он вдоль конторы и, чтобы сократить путь, решил проскочить через соседний барак, где жили конторские служащие. В коридоре барака раздражение его усилилось: пол был грязен до омерзения, мусорный бачок переполнен, жестяной рукомойник пуст, окурки валялись повсюду... Исаак Давидович не знал, что барак с

утра забастовал. Причина забастовки крылась в комнате номер 6, принадлежащей начальнику канцелярии. Частые отъезды его жены, Аллы Ивановны, взваливали на соседок тяготы внеочередных уборок. И так хлопот полон рот, а тут изволь мести, мыть и подбирать окурки за совершенно посторонним мужчиной в черной рубашке, подпоясанной кавказским ремешком, — и это при том, что этот мужчина никогда не изволит поздороваться или какое ласковое слово сказать. Правда, и присутствие Аллы Ивановны доставляло местному „женколлективу” мало радости: у каждой работал тут муж, сын или зять. И каждая шестым чувством чуяла опасность, исходящую от Аллы Ивановны, от ее пахнущего валерьянкой и китайским чаем платья, от стука ее высоких каблучков, а особенно от ее звонкого бесстыжего голоса, от которого у мужчин глаза вспыхивали масляным блеском, а на лицах появлялась блудливая улыбка.

„Оглядевшись на „Двигательстрое”, Алла Ивановна выписала к себе из Москвы двух подружек — вроде как для устройства на работу через своего мужа. Подружки-девушки были как на подбор: русые, рослые, в теле, пахнущие цветочным одеколоном. С их появлением мужья, сыновья и зятя подозрительно подолгу стали задерживаться на работе, кивая на завышенные нормы и необходимость перевыполнения плана, а также на социалистическое соревнование и ленинские субботники. И поползли по стройке слухи, что Машка за „внутренний прием” берет по пятерке, а Катька — по шести рублей, что голого Абрама видели с голой же Катькой в винограднике, а голый Шаул плясал с не менее голой Машкой какой-то дикарский танец в дровяном сарае... Взволнованные родственницы плясунов и виноградарей проявили завидное единство и составили коллективную петицию в область: мол, на „Двигательстрое” ор-

ганизован преступный проститутский центр. Но область решила шума не подымать: приезжие дамы все же были русские, к тому ж „столичные штучки”. Командированные из области ревизоры, прибыв на „Двигательстрой” с целью проверки петиции, остались весьма довольны поездкой, поскольку были обслужены по первому разряду, бесплатно и без очереди. Все осталось по-прежнему.

Женщины стройки ненавидели Аллу Ивановну ненавистью лютой и острой: за развратную привлекательность, за городские туфли, за то, что белье мужу не стирала, а засовывала за шкаф и оставляла там на месяцы, за то, что чашки споласкивала под рукомойником и не протирала до блеска, за то, что стряпать не любила, а ела с мужем мацун из одного горшка, присыпая его сахарным песком нерасчетливо. И если замечено было, что начканц бреется утром перед зеркалом, бормоча себе под нос какую-то бравурную мелодию, — значит, пожаловала из города Алла Ивановна, значит, глаз нельзя спускать с мужей, сыновей и зятьев... Такие или почти такие же чувства испытывала к опасной Алле Ивановне и „первая дама” участка — жена Исаака Давидовича, „мадам”, как величал ее муж, говоря о ней с каким-нибудь третьим человеком.

Исаак Давидович большую часть жизни прожил во Франции, и жена его была француженка, парижанка. „Мадам” была старше мужа, в каштановых ее волосах поблескивали струйки седины; но, бережно сохраняя парижскую элегантность, она выглядела моложе своих лет. Она жила со своим Исааком в двух комнатках, там прохладно сверкал фарфор на полках, мерцало серебро, а бело-синий отлив полотняных салфеток говорил о добросовестной стирке и старательной глажке. С двух темных фламандских картин на стене дышали влажные розовые языки лягавых, застигнутых художником над

дичью, на охоте... Исаак Давидович был заядлым охотником, он собирал охотничьи картины, старинные кавказские патронташи и пороховницы. Со старой любовью к благородной охоте он сохранил и старые привычки: стол к обеду накрывался так, как нигде его нынче не накрывают — три смены ножей и вилок, хрустальные розанчики, лиловый фарфор. Непосвященному человеку трудно было разобраться в назначении полудюжины графинов, лафитников и ваз.

Приглашенный к обеду гость приятно провел бы полчаса за разглядыванием диковинной сервировки — и был бы жестоко обманут в своих надеждах: мертвая стряпня „мадам” вошла в поговорку. Супы ее были безвкусны, как крахмал, жесткая курица торчала, как пень, на севрском блюде в окружении коричневых камешков — недоваренных картофелин. Сухарики здесь подсушивались из огрызков, хлеб нарезался бумажными ломтиками... Придерживая тюлевую занавеску тонким пальцем с рубиновым перстнем, мадам, горько поджав губы, наблюдала за тем, как ее муж выходил из соседнего барака.

— Послушай-ка, Марина! — стараясь погасить раздражение, сказал Исаак Давидович, появившись на пороге. — Знаешь, к нам едет английский писатель, настоящая знаменитость. Его дед, кстати, с Украины, он был главным раввином Шепетовки... Так вот, надо его принять как можно приличнее. Займись этим, ма шер. И заодно скажи кому-нибудь, чтоб прибрали в соседнем бараке — там чудовищная грязь. Это просто невъяснимо, я буду их штрафовать.

Он повысил голос до крика, а его жена в ответ улыбалась загадочно и мстительно — она прекрасно знала причину раздора в бараке Аллы Ивановны. Исаак же Давидович, не желая развивать столь опасную тему, продолжал сердито сопеть. Подозрения жены приятно ще

котали его мужскую гордость. Механически повторив несколько раз „штрафовать, штрафовать”, он уселся в столовой, с нетерпением ожидая той минуты, когда жена прямо упрекнет его, обвинит, оскорбит. И тогда можно будет развязать настоящую ссору — и за ней позабыть обо всех неприятностях сегодняшнего дня.

— Ну-ну! — сказал начальник канцелярии, как только Исаак Давидович вышел из комнаты. — Ну и ну! Три семерки, два туза! Придется нам с вами идти к председателю месткома. — Он с большим огорчением оглядел комнату, как будто видел ее в первый раз в жизни.

Архив, недавно перевезенный сюда из города, валялся на полу в совершенном беспорядке. Бумажки, не подшитые к делам, как живые, сползли с пыльных полок. Распахнутые папки показывали розовые и белые языки страниц. Невскрытые конверты с вырезанными тем не менее марками были увязаны в стопки и кирпичами стояли вдоль стен. Пыль покрывала весь этот хлам, как простыня мертвое тело.

— Вот, извольте бриться! — разведя руками, сказал начканц. — На вас вся надежда была. Поищите-ка на ваш оклад человека, который бы это все разгреб!.. А с месткомом, я вам скажу, каши не наваришь. Знаю я этот местком.

— А вы все-таки сходите, Давид Наумыч! — вкрадчиво посоветовал конторщик Володя. — Ревизия приедет — и вам достанется, и месткому. Здесь и так уже все чихают, как на табачной фабрике. А я, честно вам скажу, к этим бумагам даже пальцем...

— Да замолчи ты! — оборвал начканц. — Тоже мне... — он хотел выругаться, но заметил, что Исай с интересом оглядывает бумажную заваль.

Старый библиофил так рассматривал бы коллекцию книг, оставшуюся после смерти знаменитого книжни-

ка. Подоидя к стопке конвертов, он смахнул с нее пыль рукавом, поднял на стол и распутал шпагат. Распечатывая конверты, он как бы связывал в единую повесть их содержимое.

— Знаете что? — спросил Исая, встретив прищуренный взгляд начканца. — Будь у меня возможность — я бы вам и даром все это разобрал: увлекательное чтение... Но давайте все-таки пойдем в местком.

Когда они вышли и в конторе вновь воцарилась пропыленная тишина, Володя перестал лениво полировать свой длинный и не совсем чистый ноготь на мизинце и вышел из-за стола. Володя считался на стройке красавчиком, его огромная шевелюра свисала с головы на лоб, а над томными глазами закручивались, как рога испанского меринуса, два локона. Володя носил полувоенный френч, его комнату украшали вырезанные из журналов фотографии киноактрис. Подойдя к пачке конвертов, он брезгливо, двумя пальцами извлек одно письмо и, держа на отлете, пробежал его глазами.

— Чушь какая-то, ерунда, — пробормотал Володя. — Вот так люди цену себе набивают: глядите, мол, как это интересно! А тут написано про какие-то мешки цемента! — вернувшись к ногтю, Володя неприязненно думал об Исае, о том, как он набросился на эти скучные бумажки.

Тем временем начканц с Исаем ходили от барака к бараку, разыскивая без всякого успеха председателя местного комитета. Наконец знающий человек сказал им, что „местком” пьет чай у завскладом Мишиева.

— Своя компания... — шепотом, чтоб никто не услышал, просвещал начканц Исаю по дороге к складу. — Рука руку моет, нога ногу греет.

И правда, граница между компанией начканца и компанией „месткома” была куда строже и непреодолимей Китайской стены. То были два мира — враждебных,

готовых к схватке и противоборству. Каждый из представителей этих миров имел свою кличку, каждый делал свою политику. Председателя месткома Ханукаева прозвали за вредность „змеем”. Секретарь, молчаливый и молодой, получил кличку „мямля”; в разговоре с приезжими о нем говорили не иначе как „секретарь у нас подготовленный”, потому что приехал он на стройку прямо с партийных курсов. Завскладом Мишиев, бывший архангельский моряк, прозывался „пират”. Еще один коммунист, Абаев, в прошлом школьный учитель, получил прозвище „дьячок”. Вся четверка сидела в тесной комнате Мишиева, пропахшей картофельным паром, овсяным киселем, смазными сапогами и распаренной на печи гречихой. Кроме них за столом помещались двое. Шуламит и женщина с клеенчатым портфелем — нарсудья из города. Эта женщина была сухощава, но отнюдь не худа, с волевым подбородком, с широкими бедрами, мимо которых никакой мужской взгляд не скользнет — обязательно остановится и упрется.

Говорили о предстоящем суде. Перед судьей лежал блокнотик, исписанный мелким бисерным почерком, карандаш она держала наготове, как револьвер. Стук в дверь заставил ее вскинуть красивые, чуть раскосые глаза. Появление начальника канцелярии и Исяя произвело как бы шок: все мигом замолчали, даже мишиевские дети перестали возиться в углу.

Прямой и добровольный контакт двух противоборствующих сил был выдающимся событием на „Двигательстрое”. „Работяги”, „писаря” и „комиссары” жили отрезанно друг от друга и встречались лишь по необходимости. Куда приятней было крыть друг друга на все корки — за глаза, сочинять анонимные доносы. Жены „заклятых друзей” тоже между собой не общались; собираясь однородным кружком, они перемывали ко-

сточки представительницам противной группы, и не приведи Господь попасть к ним на зубок: все знали все обо всех.

Прежде чем заговорить, начальник канцелярии трудно отдышался. Исай использовал передышку: он внимательно изучил сидевших за столом. „Дьячок” Абаев был ему знаком; он уже видел эти два серых уха на лысоватой голове, натужно склоненной над книгой. Лицо у Абаева было серое, губы — бескровные, борода — редкая. Одет он был в некое подобие сюртука старинного черкесского покроя. Он заведовал участковым клубом, командовал „культсектором” и раз в месяц сочинял стенную газету под названием „Красный Двигатель”. Иными словами, он не делал ничего, что могло бы принести какую бы то ни было пользу кому бы то ни было.

Мишиев, напротив, был деятелен, красен от выпитого чая; его белые, как у альбиноса, ресницы и брови еще ярче оттеняли кирпичную красноту его лица, по которому прихотливо были рассыпаны крупные желтые веснушки. Распахнув ворот натальной рубахи, он блаженствовал над своим стаканом — потный и довольный, с голым сынишкой Борухом на коленях. Борух был так же распарен и потен, как отец, так же белобрыс и деятелен.

Секретарь ячейки, едва взглянув на вошедших, продолжал потягивать из своего стакана. (Исай мельком отметил, что одет он в чистенький, с иголки френч, желтые кожаные штиблеты, с красным, как волчий глаз, значком в петлице; его густейшие, в два пальца толщиной усики блестели...) Зато последний, председатель месткома или, сокращенно, „местком” Ханукаев живенько поднялся, на правах истинного хозяина, навстречу гостям. Его руки были неотмываемо черны еще с тех пор, когда он занимался кожевненным делом и тем зарабатывал себе на хлеб, не метя в начальники. Недоверчи-

выми, холодными глазами уставился он на начальника канцелярии — „гнилого интеллигентика”.

— А мы к вам по делу, по неотложному, так сказать, делу, товарищ Ханукаев, — вкрадчивым голосом сказал начканц. — Пиковое, понимаете ли, дело: три семерки, два туза. Архив в конторе видели? В нем сам черт не разберется, не то что мы, можно сказать, грешные. А вот этот вот парень, валет бубен, берется сделать. Прежнего-то архивариуса, спеца поганого, посадили, расстрелять его мало. Так что давайте согласуем да решим насчет этого, нового — а то ревизия нагрянет, головы с нас поснимает. Шапку-то не жалко — жалко голову. Архив, конечно, — мой участок, да ведь местом и за ним должен надзирать. Особенно у нас, на военном объекте. У нас одна голова слетит — десять покатаются: четыре сбоку, ваших нет. Каре тузов, так сказать. Иностранцев к нам сюда шлют — а сидеть-то нам с вами.

— Ну, так вот вам и помощник, Ханукаев! — вдруг вмешалась Шуламит. — И помощник, и конференсье на ваших концертах... Хорошо, что вы зашли, товарищ! — она полуулыбнулась Исаю.

Исай сиял, улыбался счастливо. Он был уверен, что злюблен в Шуламит, влюблен всем сердцем, всей накопившейся за долгие годы нежностью. Какая девушка, какая красавица! И как вовремя пришла ему на помощь!

Ханукаев, нахмурившись, нервно сучил ногой. Он не желал вот так, походя, решать вопрос, поставленный ненавистным начканцем. Начканца следовало помучить, потерзать — и отказать ему. И Давид Наумович прекрасно понимал ход мыслей „месткома”. Приди к нему Ханукаев с какой-нибудь просьбой — он поступил бы точно так же... Но если можно перекинуть неприятное дело этой чернобровой девке, которую неплохо было бы при-

жать где-нибудь в уголке, — так это выход замечательный!

— Так вы с ним, товарищ Ханукаев, заканчивайте, — сладенько запел начканц, — а мне бежать надо: работа. И насчет жалованья, — он погрозил Исаю пальцем, — вы, друг любезный, к товарищу Ханукаеву не приставайте: все равно контора больше не даст. Сами понимаете, это вам не флешь-рояль. — И Давид Наумович даже руками развел, показывая тем, что это не только не флешь-рояль, но даже и не тройка.

Спихнув „месткому” новичка, он, легко улыбаясь, выскользнул из комнаты. Ах, хитрейший ты еврей. Давид Наумович! Ах, голова золотая! Ах, политик несравненный! Недаром сам начальник участка советуется с тобой в особо ответственных случаях.

Довольно щурясь, чуть ли не пританцовывая, шагал начканц вдоль грязных стен барачков, и серебряные побрякушки кавказского пояска вызванивали мелодично: „Та-лей-ран, Та-лей-ран!”

3

Секретарь ячейки аккуратно допил свой чай и обстоятельно догрыз крошки колотого сахара. Потом поднялся из-за стола, одернул свой нарядный френч и голосом густым, как его брови, объявил: „Ну, пока!” И двинулся к двери.

Шуламид удивленно на него взглянула. Странный действительно человек! Ведь ничего еще не решили: ни как вести собрание, ни с чего начинать — с суда или с митинга... А секретарь молчал-молчал, а потом и высказался: „Ну, пока!” И попрощавшись, он шагнул к вешалке и натянул на голову нарядную клетчатую кепку.

Мишиев придвинул Исаю освободившуюся табуретку, и Исай сел, ощущая блаженство от близости Шуламит, от домашнего тепла.

— Чайку? — спросил Мишиев, и, правильно расшифровав благодарную улыбку гостя, кивнул жене: — Налейка ему, Ангелина Ивановна!

Рослая, как лошадь, жена Мишиева придвинула Исаю стакан и блюдечко с колотым сахаром-рафинадом.

— Что-то не нравится мне ваш секретарь, — холодным, ровным голосом сказала судья. И от этого голоса холодно стало на душе Исаю, как будто теперь следовало ожидать другой фразы: „Пять лет тюрьма, шесть — ссылки и четыре года поражения в правах”.

— Да нет, он парень аккуратный, — с кривым смешком возразил Мишиев. — У него в комнате вон сколько щеток: и для зубов, и для штанов, и для башмаков, и для волос... Я ему говорю: „Женись!” — а он обижается: „Беспорядок, что ли, разводить?”

Абаев насупился над своим стаканом: не в ту сторону загнул Мишиев, не в ту! Секретаря сюда Москва прислала, ему поручено очистить коллектив от неустойчивых элементов, ему в самом НКВД руку жали. И если судья этого не знает — придет время, узнает. А за эти шуточки про щетки да про женитьбу Мишиеву могут без всяких шуток годика три дать для начала, а за ним и всех прочих месткомовцев потянуть.

— Подготовленный, одним словом, человек! — заключил характеристику Мишиев, и Ханукаев недовольно хмыкнул и пресек:

— Ну, будет! Довольно!

Сказано это было начальственно, и все примолкли; даже судья перестала улыбаться. Мишиев сделал знак жене, и Ангелина Ивановна, обтерев руки передником, няля голого Боруха с отцовских колен.

— У нас на участке произошла кража государствен-

ного имущества, — продолжал Ханукаев. — Вор, правда, — не кадровый рабочий, а сезонник из крестьян, из отсталого, можно сказать, класса. И сегодня, когда наши враги говорят, что мы безвинных людей судим и стреляем, — он мельком взглянул на судью, — мы всему миру должны доказать, что это ложь: судим вора, и пусть отвечает по закону. Наш суд — самый гуманный в мире, наш НКВД — самый преданный друг мирового пролетариата! — он еще раз взглянул на судью и, незаметно вздохнув, опустил на табурет.

— НКВД — разящий меч пролетариата! — одернув юбку на мощных бедрах, заговорила судья торжественным голосом, подходящим для чтения судебного приговора. — И мы снесем голову любому, кто замахивается на народную власть! Сын отрубил голову отцу, мать — дочери! Революционная жалость — это революционная бдительность! Если враг не сдастся — его уничтожат!

— Бог с тобой, Зоя, что ты говоришь! — воскликнула Шуламит и подняла руки над головой, как бы защищаясь от удара меча. — Ты только подумай, что ты говоришь!

Зоя Дадашева была подругой Шуламит, и дружеские стычки между ними не были редкостью. Шуламит не столько возмущала, сколько удивляла совершенная и законченная раздвоенность Зои: с глазу на глаз она охотно говорила о массовом терроре и зверствах НКВД, о мужчинах, о платьях. Почувствовав себя на трибуне, „на службе” — она начисто забывала о человеческом языке и вещала о классовой борьбе и о страшных казнях. И в этой чудовищной раздвоенности сама Зоя Дадашева, одарившая своей благосклонностью половину Махачкалы и две трети Дербента, не находила ничего противоестественного.

Реплика простодушной Шуламит была пропущена

мимо ушей опытными месткомовцами: может, и эта красивая девушка, как и красивый секретарь, послана сюда „органами“? Тем более судья на эту прямо-таки контрреволюционную реплику никак не реагирует...

— Так вот, мы должны в один вечер провести запланированный концерт и одновременно митинг, — как ни в чем не бывало продолжал Абаев. — Это трудная задача, товарищи, — он озабоченно взглянул на Исаю — человека несомненно постороннего, могущего вынести, как говорится, сор из избы. — Но мы с ней, товарищи, справимся, как нас учит наша партия и лично товарищ Сталин. Мы соединим эти наши мероприятия. Вопрос только в том, как соединить?

— Я не буду из суда делать концерт, — резко возразила судья. — Капиталистические враги пронюхают про это и исказят наши намерения. А наши намерения, товарищи, — кристальные!

— Замечательно сказано! — заметил Ханукаев. — Порабочему!

— Тебе не надо было звать меня сюда! — наклонившись к Зое, прошептала Шуламит. — Они тут прекрасно обошлись бы и без моего доклада.

— Мы все проведем по плану, как положено, — продолжал Ханукаев. — Вот только на что именно приглашать рабочих? На суд или на концерт? Или так объявить: суд, а в заключение концерт? Но больше трех часов рабочие по своей воле не высидят. На концерт они, правда, пойдут с удовольствием, но тут у нас получилась промашка: конференсье никуда не годится, политически не подкованный товарищ.

— А кто ж это у вас конференсье? — поинтересовалась Зоя Дадашева.

— Володя-конторщик, — дал справку Абаев. — Волосатый, — он сделал рукой волнообразный жест от бро-

вей к затылку, и Исая тотчас же вспомнил меринуса в конторе.

— Да, это тип, неподходящий для такого дела... — погрустнел Ханукаев. — Может вы, Исая, возьметесь? Тем более товарищ Шуламит вас рекомендует.

Это предложение застало Исая врасплох, он промычал что-то неопределенное.

— Вот что, товарищи, — вступила в разговор Шуламит. — Вся эта история с воровством — история неприятная. И нечего мешать мясное с молочным, концерт с судом. Я так думаю: надо собрать общее собрание и поговорить с рабочими об этом деле. И англичанина пригласить: пусть послушает, как рабочие сами решают свои проблемы. Выбрать открыто обвинителей, защитников, свидетелей пригласить.

— Для этого людей подготовить надо, — хитро прищурился Мишиев. — С защитником поговорить, с обвинителем. А то они тут такое наплетут, что завтра отдельные несознательные товарищи всю стройку растащат. А отвечать кому? Нам отвечать!

— Об этой подготовке англичанин ничего знать не должен, — строго предупредил Ханукаев. — Он может неправильно понять. А если кто ему скажет — я сам того передам в соответствующие органы.

— От пятнадцати лет до высшей меры революционно-го наказания через расстрел. — резюмировала Зоя Дадашева.

— А как же! — сурово поддакнул Ханукаев. — И мы так все это дело должны прокрутить, как будто англичанин случайно сюда попал. После суда конференсье встанет, скажет, что между нами — этот самый англичанин, гость то есть. И что мы его приветствуем, — он вопросительно взглянул на судью, она согласно кивнула головой, — от имени всего многонационального социалистического Дагестана. У нас кто есть? Аварцы, — он

начал загибать корявые пальцы на черной ладони, — азербайджанцы, лезгины, чечены, кумыки тоже, грузины есть, армяне, русские, конечно, с украинцами, ну и кавказские евреи. Полный комплект. А, товарищ Шуламит?

Шуламит сидела понурившись, ласточкины крылья ее бровей сошлись на тонкой, нежной переносице.

— Все сходится, — удовлетворенно подвел итог Абаев. — И концерт хороший выйдет для повышения культурно-политического уровня, и иностранец останется доволен.

— Насчет иностранца ты погоди, — потер лоб Ханукаев. — Насчет иностранца я еще кое с кем провентилирую — допускать его до наших внутренних дел или не допускать. А то он потом такое про нас наплетет, что никому головы не сносить. Если он что не так напишет как надо — деньги из-за границы перестанут давать, и тогда нашу же стройку прикроют.

— Да ты что! — усмехнулся Мишиев. — Им ихний бардак самим надоел. Пусть поглядит англичанин, как народ в ежовых рукавицах держать!

Поглядев на часы и для надежности поднеся их к уху — проверить, идут ли, Ханукаев оглядел своих подручных и произнес голосом строгим и громким:

— Объявляю общее собрание. Всем занять свои места. Ты, товарищ Исай, тоже ступай, готовься. А ты, Мишиев, давай загоняй народ в клуб.

4

Сияя приветливой и чуть грустной улыбкой, мадам вышла на крыльцо встретить иностранного гостя. Вишневое, до полу платье мадам было несколько не к месту в этом бараке — но напоминало хозяйке о Фран-

ции, о тех счастливых временах, когда она с Исааком жила в нормальном доме, среди нормальных людей.

Писатель, впрочем, не обратил ни малейшего внимания на наряд хозяйки. Войдя за ней в комнату, он обнаружил там кроме хозяина инженера Александра Александровича, приглашенного на этот ответственный вечер по двум причинам: во-первых, он приходился заместителем Исааку Давидовичу и, во-вторых, был изрядно глуховат на оба уха и, не разбирая по этой причине смысла произносимых вокруг него слов, в разговор вступал крайне редко.

К ароматному, кирпично-красному чаю хозяйка подала ежевичное, алычовое и айвовое варенье в хрустальных вазочках. Писатель, утомленный последней беспокойной ночью и нынешним длинным днем, пил чай, ел варенье и раздумывал над тем, что радушные хозяева с их хрусталем и фарфором выглядят несколько нетипично на фоне диких гор и варварской стройки.

— Мы ведь, можно сказать, тоже из-за границы, — вздохнув, начал хозяин. — Я, хоть родился в России, много лет провел во Франции, там учился, там женился, а потом все-таки потянуло домой. И дым отечества, знаете ли, и сладок, и приятен... И кроме того, условия здешние меня вполне устраивают, вполне сносные условия. Иногда, правда, приходится сталкиваться с отдельными проявлениями дикости — но это исправимо, исправимо... Самое главное, что каждый из нас готов костями лечь за построение светлого будущего.

— Мне кажется, вы чересчур резки! — неуверенно возразил писатель. — Здешняя дикость — это просто проявления национального характера. Есть вещи куда более неприятные — например, доноительство, произвол начальства, прямой террор.

Исаак Давидович заскучал глазами и погрузился ли-

цом. За одно только выслушивание таких разговоров можно получить десять лет лагерей усиленного режима.

— Я всегда утверждал, — откашлявшись, заявил глухой Александр Александрович, — что инженер в рабочем процессе — это прежде всего хирург с ножом.

— Ах, не о том ведь речь, — досадливо заметила ему хозяйка, а Исаак Давидович взглянул на него благодарно.

— Да-да, хирург с ножом! — как ни в чем не бывало продолжал глухарь. — Нерадивых рабочих, лентяев и саботажников следует вырезать, как злокачественную опухоль. И, попрошу вас, ни слова о жалости, ни слова!

Загодя приготовленная тирада была произнесена, и глухарь замолчал, жуя жесткое, как резина, айвовое варенье.

Писатель устало заговорил о недостаточном воздействии культуры на политический строй, и Исаак Давидович старался не вслушиваться — чтобы потом с полным правом утверждать, что не запомнил ничего из крамольных слов знаменитого гостя.

— Лично я убежден, — справившись наконец с вареньем, вновь вошел в разговор глухарь, — что Англия уже мертва. Она сгнила изнутри, у нее воспаление крови. Поэтому мы должны незамедлительно объявить ей войну, освободить ее рабочих и трудовую интеллигенцию. А всех прочих, во главе с королевой, поставить к стенке!

Наступило мгновенное молчание, прерванное кашлем писателя — он подавился вареньем.

— Как! — взревел англичанин, справившись с приступом кашля. — Что! Вы оскорбили Ее величество королеву Великобритании! Провокатор! Я вас презираю!

Размахивая руками, писатель направился к выходу. В передней его уже поджидал, держа в руках писательское пальто, Исаак Давидович. Одев гостя, он вышел

за ним следом на улицу и повел его к ярко освещенному клубу. Оставалось только сдать иностранца с рук на руки начканцу Абрамову.

Глухой инженер тоже не стал засиживаться в гостях. Допив чай, он с достоинством поднялся из-за стола и раскланялся с онемевшей от гнева и возмущения мадам.

— Замечательное варенье, — сказал он уже от двери. — Но жестковатое!

Когда Исаак Давидович, после передачи иностранца, вернулся в барак, в доме было уже прибрано: варенье спрятано до следующего раза, посуда перемыта, скатерть свернута. На столе пестрела цветочками старенькая клеенка. Мадам сменила парадное платье на домашний халат, обтягивающий ее костлявую прямую спину.

Из спальни струился мягкий розовый свет ночника, кровать сияла белоснежными простынями, как начищенное серебряное украшение. В такой кровати даже костлявые прелести мадам могли показаться не столь древними.

— Мари... — прошептал Исаак Давидович. — Какой скандал!

— Пойдем, — сказала Мари, осторожно, но властно беря мужа за руку. — Тебе сейчас полезно отдохнуть...

— Мари... — повторил Исаак Давидович. — Чем это все кончится? Нас всех арестуют. Зачем мы сюда приехали?

— Пойдем, пойдем... — прошептала Мари, подталкивая мужа к двери спальни.

— Такой жуткий день! Я так измучен! Я не могу идти ни на какое собрание! Зачем мы уехали из Франции?

Мари тянула его в спальню, как барана или козла —

не очень поспешно, но и не слишком медленно. В конце концов, каждая женщина должна хоть немного знать своего мужчину.

Глава шестая

СУДИЛИЩЕ

1

В те годы мировое общественное мнение ничего не знало о „красном фашизме”, поскольку ничего не хотело о нем знать. Те отважные одиночки, что осмеливались кричать о лагерях смерти на Колыме и на Чукотке, на Дальнем Востоке и Воркуте, в Сибири и Норильске, в Средней Азии и Красноярском крае, признавались либо безумцами, либо реакционерами. Тучный Запад даже одобрял оздоровительный социальный эксперимент — разумеется, на территории СССР: приятно глядеть из безопасного далека на беспрецедентное сокрушение устоев, на гигантскую стройку „нового мира”. И только дальнзоркий улавливал, что вместо воды на этой стройке в цемент льют — кровь, вместо бетонных опор вгоняют в землю человеческие кости. Но дальнзорких спешили объявить слепыми... Коммунистические палачи вошли в моду в Свободном мире — как танец чарльстон, узкие брюки или презервативы с усами. Сталин был объявлен мудрецом, Берия — человеколюбом. Уничтожение миллионов жертв, от стонов которых раскалывалось небо, не поколебало ни одной травинки на земле Западной Европы и Америки. Правительствa и толстосумы Свободного мира по собствен-

ной воле предоставили банде грабителей займы, технику, специалистов. И бандиты, лениво и нагло ухмыляясь „фраерам”, охотно им подыгрывали — объявляли черное белым, а коричневое — красным. И „фраера” верили.

Исай шагал вслед за Мишиевым по узкой тропинке в клуб, расцветенный огнями, как прогулочный корабль в море. На фоне звездного неба, горбато вздымаясь по обе стороны ущелья, темнели горы. Внизу глухо рокотала река, сливая в спокойное море свою горную дикую ярость. Глядя на огни клуба, Мишиев остановился, обернулся к своему спутнику.

— Нет, не зря мы кровь с народа пускаем, как с курицы, — сказал Мишиев. — Год назад здесь ничего не было, а сегодня — погляди сам, товарищ конференсье. Год назад здесь, в море, мой папаша рыбу ловил и на базаре продавал — пока его опять же строительным камнем не зашибло насмерть у второго причала. А сегодня вся горная рвань, темень аульская лепешки коровьи больше не грызет с голодухи, а идет вкалывать на стройку. Жирно ли, постно — а с голоду не дохнут и памятник нашей эпохе строят... Ты сам-то, товарищок, знаешь, что мы тут строим? Что за завод? Не знаешь? Ну, значит, тебе и не положено: поживешь — узнаешь. А не узнаешь — так тебе и надо: глуп, значит, идеологически не зрел. Вон сезонники тоже не знают, им и не надо: они лопату возьмут или кайло — и вкалывают. Им что сортир стройкаменный, что военный завод — все одно: лишь бы получку платили. Несознательный элемент, неподготовленный! А ты меня слушайся, товарищок, тебе же лучше будет.

Исай слушал Мишиева с внимательным омерзением — так вслушиваются в шипение клубка змей в яме, у твоей ноги. И все же, думал Исай, в одном был прав Мишиев: за год перевернули здесь все ущелье, тысячами смертей вызвали к жизни завод завтрашнего дня.

И не возникла бы здесь жизнь, если б Америка да Англия денег не дали. Правда, тогда бы и смертей не было... Но, в конце концов, жизнь должна приходить на смену смерти, а не наоборот — в этом смысл диалектики.

Из барака, посвечивая нефтяным фонарем, вышел сгорбленный старик в ветхом тулупе, в бязевых онучах, перетянутых кожаным шнурком, и в деревенских сандалиях из сырой воловьей кожи. Узнав Мишиева, человек этот улыбнулся, показывая голые десны и сизый язык. Казалось, он явился, этот старик, не из двери рабочего барака, а из глубины веков, из варварской языческой древности.

— Сторож это, — сказал Мишиев. — Настоящий новый человек, советский трудящийся. Такие, как он — основа нашей народной власти. Он врагу социализма горло перегрызет!

Исай незаметно ухмыльнулся в темноте: старый дикарь не то что горло — вареную макаронину не смог бы перегрызть.

— Семья у него в горах, — продолжал Мишиев, — детишек десять человек уже настрогал. Здесь отъестся — еще пяток заварит. Работящий, черт!.. Ну, ладно, товарищок, ты иди, готовься, и я пойду: у меня еще дел — пропасть. Ты петь-то можешь, нет? А то спел бы что между номерами. Вот между силачом и дрессированными собачками спеть что-нибудь революционное было бы очень воспитательно. Иди, репетируй!

Зал клуба, еще пустой, был похож на вырубленный лес: желтели пни табуреток, зеленела лужайка председательского стола. Было сыро и холодно. Из щелей в стенах дуло. Поеживаясь, Исай прошел в тесную закулисную комнатку для актеров и выступающих. Там он и сел в уголке, уткнув подбородок в ладони, а локти — в колени. Его занимала мысль, что он будет делать, вый-

дя на сцену в перерыве между номерами: собачками, силачами, местными плясунами. Ему, разумеется, надлежит в новом его положении шутить — несколько пошло, слегка сально. Английский юмор здесь явно не пройдет. Может, рассказать анекдот? Но анекдотчиков почти без разбора подгоняют под статью уголовного кодекса „контрреволюционные разговоры” и дают по ней от пяти до десяти лет. Прямо тут и дадут: судья есть, прокурор найдется. Спеть? Но он не умеет петь. Может, пройти на руках и сделать „колесо”? Это как будто безопасно. Или сыграть немного, объясняться при помощи жестов. Но тут могут усмотреть то, что называется в следственной практике „намек” или „неконтролируемый подтекст”. За эти штуки можно схлопотать приличный срок. А если просто выйти объявить: „А сейчас перед нами выступит Али Магомедов, строительный рабочий и исполнитель лезгинки”. Но это ведь каждый может сказать, для этого необязательно быть конферансье; и Мишиев с Ханукаевым останутся недовольны и не дадут ему, Исаю, работы. Путь к архиву Давида Наумовича лежит, таким образом, через эту сцену... А что, собственно говоря, делают конферансье во всем мире? В Париже? В Нью-Йорке? Они немного шутят, немного поют, немного танцуют. Публика, глядя на конферансье и слушая его, радуется и смеется. И беда не в том, что Исай не умеет толком ни шутить, ни петь, ни отбивать чечетку. Беда в том, что, если бы Исай даже мог вести себя на сцене, как нью-йоркский или парижский конферансье, он получит как минимум десять лет строгих лагерей плюс пять лет поражения в правах: конферансье „Двигательстрой” должен быть советским, социалистическим конферансье, и этим все сказано... Положение получалось почти безвыходное, и Исай лишь по легкости характера не впадал в отчаяние. Но он уже видел себя сидящим в лагере, оборван-

ным, умирающим от голода, таскающим камни на каком-нибудь сибирском карьере.

Меж тем скрипучие двери клуба то и дело отворялись, пропуская в помещение группки рабочих. Мишиев потруился на славу: бегая по всей стройке, он врвался вихрем в жилые бараки, вытаскивал людей из кроватей, сдирал с них одеяла, отрывал их от их женщин с грозным криком: „Все в клуб! Порядка не знаете? Кто на собрание не пойдет — хрен получку получит! Вставай, ишак! Вставай, шалава!” И ишаки и шалавы, ругаясь матерно сквозь зубы, вставали и шли. Ретивый Мишиев мог не только лишиться получки — мог без труда и под статью подвести. Так что с ретивым Мишиевым не стоило связываться простому человеку, социалистическому пролетарию.

„Местком” Ханукаев стоял у входа в клуб, наблюдая течение народа. Вот так мельник — заботливо и любовно — смотрит на струйку золотого зерна, текущую под жернов его мельницы: зерно перемелется — мука будет... Войдя, рабочие молчком устраивались на скамейках и табуретках, подальше от сцены, и без любопытства глядели на стенные газеты „Красный Двигатель”, развешанные на специальных стендах, под стеклом. Помимо хвалебных статей газеты содержали лозунги, выполненные красной краской, крупно: „Даешь стройку”, „Да здравствует товарищеское отношение к женщине!”, „Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!”

С задника стены глядели в зал знакомые лица вождей, взятые в полированные рамки: в военных мундирах и в гражданских пиджаках, усатые и безусые, толстые и тощие. Под портретами стоял стол, покрытый красным сукном. На столе — графин с водой, стакан и председательский колокольчик.

Поток людей выбрасывал поближе к сцене начальство,

как море выбрасывает пену на берег. Вот уверенно проследовал в первый ряд начальник милиции, сел и, закинув ногу на ногу, закурил папиросу. С ним по соседству устроился начальник кооператива, потом — пожарный, потом — командир ВОХРа. Второй ряд организованно заселили служащие конторы. Давид Наумович не явился — он был занят, но победно светилась волнистая шевелюра Володи, и щуплый кассир, наклонившись к его уху, нашептывал ему новости и сплетни. Красивые бараньи глаза конторщика, налитые обидой и жадной мести, выскивали на сцене нового ведущего — Исаю.

Женщины приходили с детьми — в ярких коротких юбках, с подведенными тушью глазами, нарумяненные невообразимой смесью толченого кирпича с клейким лаком. Многие были по последней моде, коротко острижены, волосы на их затылках торчали, как петушиний гребень. Жены рабочих не хотели отстать от жен служащих — их платья, их украшения и прически выглядели еще более жалко и нелепо. Настороженно, по-птичьим оглядывая соседок, они награждали детей шлепками и подзатыльниками. Зал постепенно наполнялся, наливался. Русские рабочие сидели особняком, не смешиваясь с пропахшими чесноком и кислой овчиной кавказцами, и это отдельное сидение выглядело вполне естественным. Горские евреи устраивались вперемежку с мусульманами и христианами; их можно было узнать издали по их бараньим папахам, в которых они ходили в свои синагоги. Христиане же и мусульмане, напротив, сидели с непокрытыми головами, держа шапки на коленях. По неписаному правилу курил только первый ряд во главе с начальником милиции. Рядовые курильщики подчинялись вывеске „курить воспрещается” и компенсировали это неудобство беспрестанным хождением к председательскому столу и питьем воды из графина. Уборщица, ругаясь и вздыхая, уже несколько

раз доливала графин из ведра; стакан она прибрала, чтоб не украли или не разбили. Движение в зале, таким образом, не прекращалось ни на минуту. Все ждали появления председателя; одним своим присутствием он должен был положить конец неорганизованному шуму. Пока же, рассекая толпу, проплыл большою рыбою начканц Абрамов, ведя английского писателя в распханутом лондонском пальто, и усадил его в первом ряду, неподалеку от милиционера.

Грызая семечки, публика обстреливала глазами иностранца. Дети с непросыхающей зеленью под носом подбирались к нему вплотную и пялили на него глаза, как на пришельца с иной планеты. Женщины возбужденно перешептывались, оценивая качество ткани и покроя пальто иностранного гостя. Преклонный возраст англичанина и его утомленный вид вызывали у них почему-то двусмысленные ухмылки... Выглянув в зал, Исай при виде моря голов испытал тоскливое смущение и вздохнул подавленно. Чем меньше оставалось времени до начала, тем муторней и отчаянней становилось у него на душе: он предвидел свой провал, свой позор, свое изгнание отсюда.

— Паяц на стройке... — пробормотал Исай сквозь зубы. — Жалкий комедиант... — Он смотрел на себя как бы со стороны и видел загнанного, по-лошадиному поводящего боками человека — перед прыжком в провал, в неизведанную пропасть. И чувствовал на себе посторонний, холодный, сверлящий взгляд Ханукаева — настоящего коротышки, то ли горбатого, то ли скрюченного каким-то омерзительным недугом. „Такой уж не пощадит, — холодея, подумал Исай. — Один раз запнешься — а он на тебя донос напишет: мол, контра, диверсант идеологический, пытался сорвать и опорочить „культурно-воспитательное мероприятие“.

— Володьку, конторщика нашего, бабы местные очень

ценят, — раздумчиво глядя поверх Исаевой головы, сказал Ханукаев. — Это неплохо, это в воспитательных целях даже хорошо... Но вот чего-то не хватает ему политического, а чего — сам никак не пойму. Вроде бы все у него на месте: и руки, и ноги, и другие все приспособления. Но — политический недомерок... — он наконец взглянул Исаю в глаза, и за бьющим, разящим этим взглядом крылось: „Он — недомерок. А ты?”

Качая широчайшими бедрами, дыша духами и косметикой, приближалась судья Дадашева. Потертый клеенчатый портфель она несла, как легкую изящную сумочку. За Дадашевой, в ее тени, шла Шуламит — и у Исаю перехватило дыхание; он вмиг позабыл о неотвратимых неприятностях и готов был ходить по сцене на руках... Пришло время начинать собрание. Президиум гремел стульями, рассаживаясь. Мишиев, кашляя строго, протянул серую руку к колокольчику.

2

Позвнев в осевшей и уплотнившейся тишине, Мишиев поздравил судью Дадашеву с приездом на стройку и поведал собравшимся о позорном происшествии: краже доски с участка. По мере развития темы голос его накалялся, белел, переходил на визг. Да, товарищи, совершено преступление. Украсть у народной стройки — все равно что украсть лично у товарища Сталина. Поднявшего руку на социалистическую собственность следует изолировать от счастливого общества, следует разорвать его на мелкие кусочки, кусочки эти сжечь, а пепел отправить по почте за границу — туда, откуда, несомненно, был заслан к нам презренный вор и экономический диверсант... Тут Мишиев вспомнил про английского писателя и с тем же подъемом приветствовал представителя

заграничных кругов, прибывшего на стройку из капиталистической Англии, задыхающейся в ядовитом тумане, от которого дети умирают в раннем возрасте, а рабочий класс поголовно страдает кашлем и одышкой.

Не успел Мишиев закончить речь, как на сцену бодро поднялся общественный обвинитель — механик Руфаев. За ним плелся защитник — подготовленный завкооперативом. Явились и народные заседатели — возчик с конной базы и строительный рабочий. Судья Дадашева оглядела свое воинство и чуть заметно улыбнулась Шуламит: гляди, мол, подруга, как все это делается, гляди и веселись от души... Секретарь партячейки, недавно присланный сюда взамен посаженного, затесался „в гущу народа”; его мало кто знал в лицо, он напряженно вслушивался в тихие разговоры, наблюдал исподтишка. Он совершенно справедливо полагал, что большинство людей в этом зале сочувствуют украшшему доску крестьянину Сосону Ильягуеву из горной деревеньки Мушкри. Но не менее обоснованно он надеялся, что страх залепит глиной рты сочувственников. И все же опасно было устраивать открытый показательный суд, очень опасно — особенно в присутствии иностранца. Ведь если что выйдет не так — не воришке, а ему, новому партсекретарю, не сносить головы...

Вора привели три милиционера; двое, зажав его между собой, сели вместе с ним на скамью подсудимых, а третий встал сзади. Сосон Ильягуев был одет в ветхий зипунишко — такой старый и драный, что оставалось только диву даваться, как это он еще держится на воре, а не расплзается на глазах и не падает на пол ключьями и тряпьем. Грязная вата и колтуны овечьей шерсти свешивались из бесчисленных дыр, больших и малых, — так жильцы большого дома высовываются по пояс из своих окон, когда перед фасадом вдруг случается что-нибудь необыкновенное. Ветер, впущенный

в дверь для очистки застоявшегося воздуха, шевелил тряпочки и веревочки, из которых, казалось, и состояла одежда преступника, сшитая когда-то из мучного мешка. Ноги Сосона, обутые в лапти и истлевшие местами онучи, подвязанные бычьими жилами, воняли сырой буйволово́й кожей. Лицо выражало безразличие и полную покорность судьбе.

Суд вызывает свидетелей — сезонника-крестьянина и милиционера — и берет с них слово, что они будут говорить правду. После этого начинается чтение обвинительного акта:

„Вор Сосон Ильягуев, крестьянин села Мушкри, безлошадный и безышачный, отец четверых несовершеннолетних детей, проработал на строительстве шесть месяцев в качестве чернорабочего. Попался на краже доски длиной в пятьдесят сантиметров. Признал себя виновным, показав следствию, что доску украл для производства предмета домашнего долговременного пользования — табуретки”.

Судья Дадашева слушает вполуха, чертит что-то в своем блокнотике. Но ошибется тот, кто сочтет ее совсем чужой в этом зале. Горстка молодежи, толпясь у стены, вовсе не слушает костлявые слова обвинительного акта, — они неотрывно смотрят под председательский стол, где соблазнительно различимы круглые колени судьи Дадашевой.

Дадашева знает об этих взглядах, знает, о чем мечтают неутомимые молодые люди с руками, глубоко засунутыми в карманы потертых штанов. Время от времени судья подымает глаза от блокнотика и ощупывает томным взглядом молодых людей у стеночки — и тогда раздается сдавленный стон. Зое Дадашевой нравится играть в эту не совсем все же безопасную игру: молодые люди горячи и бесстрашны, а ночи в этих местах

темны и долги. И бывали здесь случаи, когда затаскивали девушек в темные углы...

— Какая была доска — длинная или короткая? — глядя мимо обвиняемого, холодно спросила Дадашева. — Покажи руками.

Шуламит глядела на подругу почти с испугом — после сегодняшнего судилища никогда уже она не сможет быть с Зоей такой, как прежде.

Сосон, не понимая вопроса, глядел очумело; он никак не мог сообразить, чего от него хотят. Милиционер подтолкнул его под локоть, показывая, что надлежит делать. Тогда Сосон развел руки, подумал, прикинул, чуть сузил, потом снова расширил.

— Примерно пятьдесят сантиметров, — удовлетворенно подытожила судья. — Прошу занести признание в протокол.

При слове „протокол” обвиняемый совсем погрузнел, поник.

— Я что — мерил ее, что ли? — попробовал он защищаться. — Я взял какая поменьше, и все. На табуретку больше и не надо.

В зале зашумели, закашляли. Симпатии явно принадлежали Сосону Ильягуеву.

— Позвольте мне тоже сказать несколько слов, — поднялся защитник со своего стула. — Я вообще-то говорить не умею, но, раз надо, все же скажу... — Защитник был совершенно лыс, чисто выбрит ради торжественного случая, пьян самую малость и полон желания объяснить публике всю нелепость происшедшего. — Вот ты сам скажи, Сосон, ты сколько зарабатывал? Сорок рублей? Так и запиши, секретарь: зарабатывал ниже нормы!

— Ты рублем слезу не дави, гнида! — тут же отозвался Мишиев. — Не умеешь говорить — так и молчи, не лезь! Контра!

Защитник вспотел и полез со сцены в зал. Не удержи его Дадашева, он, пожалуй, сел бы на первый поезд и уехал куда глаза глядят.

— А вы продолжайте, защитник, — холодно процедила Зоя Дадашева. — Вы ведь, кажется, еще не кончили.

— Да я... — промямлил защитник, послушно возвращаясь к столу. — Да мне... собственно... Я только хотел спросить, как это все случилось, то есть покража. И еще, что у этого Сосона ничего нет, кроме малых детей.

— Да-да, вот именно, — круто вошел в разговор прокурор — комсомольский секретарь. — Как он украл, этот аморальный тип, я бы даже сказал, капиталистический тип? Свидетели есть? Кто видел?

— А я и не скрывался, — вдруг громко заявил подсудимый. — Она, доска эта, валялась — я и взял. Все видели.

По знаку судьи к столу подошел свидетель — милиционер.

— Я видел, как он брал, — сказал милиционер. — С земли доску поднял, обтер ее о штаны — она вся в грязи была — и пошел себе с государственным имуществом. Я на это обратил бдительное внимание и задержал вора. Сопrotивления он, правда, не оказал.

Начканц Давид Наумович Абрамов слушал невнимательно — все его внимание было приковано к его подопечному. Подопечный иностранец выглядел неважно: он устал, айвовое варенье вызывало сильную изжогу. Голоса в зале слились в его ушах в монолитный чугунный гул, он свесил голову на грудь и задремал. И только теперь, слыша тонкое похрапывание гостя, Давид Наумович окончательно успокоился и даже повеселел. Сидя вполоборота к англичанину, он старательно отгонял от него тощую весеннюю муху. Помахивая рукой близ лица спящего, начканц мечтательно думал о том, что Аллочка, наверно, уже приехала, что его ждет, мо-

жет быть, горячий ужин и теплая постель с теплой Аллочкой... Взгляд его затуманился, он вдруг почувствовал приятное волнение, вместо храпящего англичанина он видел перед собой розовую жену, пахнущую одеколоном и потом, ее тяжелые полные груди, шелковистый на ощупь зад и мягкий рыжеватый треугольник пониже живота. Этот треугольник и нежная складка живота над ним заслонили от него и вора Сосона, и даже судью Зою Дадашеву, мощные прелести которой он, однако же, успел отметить и мысленно одобрить.

3

После небольшой паузы, заполненной покашливанием, сморканием и скрежетом передвигаемых лавок и табуреток, поднялся, сжимая кулаки и грозно горбясь, обвинитель — комсомольский секретарь. Тяжелый, черный взгляд Шуламит вошел в его затылок, как нож в масло, — и он вдруг обмяк и сделался как бы меньше и мельче. Порывисто обернувшись, он уставился на нее чуть не с испугом — на хрупкую, сжавшуюся в комочек девчонку с ласточкиными крыльями бровей на чистом лбу.

Ее никто и не замечал до этого тяжелого, летящего, как копьё, взгляда. Она сидела за спинами, позади председательского стола, как птица в кусте: вроде бы на виду — но одновременно скрытно и замаскировано. Никто на нее, одним словом, не обращал никакого внимания — до этого взгляда. Теперь же, следя за замешкавшимся комсомольским секретарем, публика обнаружила и причину его внезапного замешательства — Шуламит. И связь между ними была странна и необъяснима для публики: как будто электрическая искра внезапно возникла над сценой и тут же исчезла, не оставив следа.

Но люди, уже почти забыв о Шуламит, нет-нет — а взгляды дывали в ее сторону встревоженно и смущенно.

— Я спрашиваю вас, — начал комсомольский секретарь тоном куда менее грозным, чем то было им запланировано, — кто этот отщепенец, кто этот вор и предатель рабочего класса Сосон Ильягуев? Можно ли называть его рабочим? Нет, нельзя! Нам не нужно таких рабочих, позорящих знамя победившего пролетариата. У кого крадет этот мелкий земледелец с психологией настоящего кулака? У нас с вами, товарищи, у нашего класса, у нашего строя, лично у товарища Сталина! Мы с вами строим новый мир — а этот разбойник с большой дороги выбивает с диверсионными целями опорные столбы из-под крыши светлого здания социализма. Мы обливаемся кровавым потом — а он утирается шелковым платочком. Мы кричим от усталости — а он грызет сахарные орешки. Сегодня он крадет древесину, завтра — гвозди. А нам, товарищи, нужен каждый гвоздь, потому что с каждым забитым гвоздем мы приближаемся к светлому завтра. Мы собираем по досточке — а он по досточке растаскивает. Мы строим народный дворец — а он личную табуретку. А из обрезков он по ночам сколачивает гроб для социализма. Мы должны дать ему по рукам, товарищи! — Зал напряженно перевел дыхание, услышав это предложение комсомольского секретаря — эта публика не была подготовлена к метафорам. — С ним надо покончить раз и навсегда! — продолжал обвинитель. — Стройматериалы — это кровь промышленности, и он пьет эту кровь. Если не отрубить голову одному кровопийце, его примеру последуют другие. Пить кровь — это капиталистическая привычка, и если мы ее у нас не вырежем раскаленным ножом, то у нас победит капитализм и все мы умрем, дорогие товарищи, от потери крови. Вот что нас ждет, друзья! — живописал секретарь. — Сегодня — доска, завтра —

гвоздики, послезавтра — крепежные балки... Я требую судить чуждого нам Ильягуева как предателя родины и политического диверсанта.

Комсомольский секретарь разгорячился, как то свойственно восточным людям, своими аргументами он убедил самого себя — и вот готов был собственноручно привести приговор в исполнение. Ему было несколько досадно, что он не использовал в своей речи всего того набора острых словечек, который он приготавливал загодя и который, он знал, так нравится публике — и свою досаду он адресовал Шуламит, помещавшей ему. Он уже и Шуламит готов был отнести к категории врагов народа и предать ее суду вместе с воров Ильягуевым. А вор как сидел молча, так и продолжал сидеть после того, как комсомольский секретарь кончил свою речь. Казалось, два человека спят в этом зале: английский писатель и похититель доски.

Теперь всех в зале занимал, пожалуй, единственный вопрос: сколько дадут Ильягуеву. Что еще перед оглашением приговора скажут свидетели, обвинители и защитники — это не имело никакого отношения к делу: срок полностью и всецело зависел от судьи Дадашевой... Поэтому, когда вслед за комсомольским секретарем вдруг снова поднялся робкий защитник — председатель кооператива, по залу пробежал ропоток недовольства: чего там языком молоть, давай, мол, судья, действуй!

— Я хочу еще два слова сказать... — озираясь затравленно, промямлил защитник. — Я хочу сказать, что преступник из этой самой доски хотел табуретку сделать — и это очень важно. Потому что табуретка — это предмет нашей советской цивилизации, и раз Ильягуев хотел сидеть на табуретке, а не на полу, как он сидел в своей сакле до сих пор, — это значит, что

он собирался стать культурным человеком, человеком коммунистического завтра. И это очень хорошо и важно... Вот это я и хотел подчеркнуть.

— Ишь ты, культурный какой! — немедля подал голос Мишиев. — Это значит, каждый, кто сидит на табуретке, может воровать идти? Ты-то сам на полу сидишь, что ли? Нет? А что ж не воруешь?

Испуганно, но с сознанием выполненного долга защитник сполз со сцены. В зале долго шушукались.

Шушуканье было пресечено резким металлическим звуком: то судья Дадашева с хрустом открыла замок-молнию своего клеенчатого портфельчика. Сидевшие в первых рядах напряженно уставились на этот портфельчик, как будто из него вот-вот должен был вылететь джин или ангел смерти.

— Ни обвинением, ни защитой не учтено одно важнейшее обстоятельство, — начала Зоя Дадашева. — Украденная доска имеет свежий срез — следовательно, она отпилена от строительной доски. Это значит, что подсудимый вывел из строя строительную доску, причинив тем самым значительный ущерб нашему строительству — как этому, местному, так и общегосударственному.

— Да не пилил я! — подняв руки, крикнул Ильягуев. — Я ее на дороге нашел!

Зоя обратила на отчаянную реплику Ильягуева такое же внимание, как если бы над ее головой пролетела муха. Недолго поговорив о моральных ценностях общества, она решительно пригласила членов суда в совещательную комнату.

Уважаемый суд отсутствовал минут пятнадцать. За это время изнывающая публика перебрала все возможные варианты: от смертной казни до полного освобождения. Английский писатель спал. Начканц мечтал о горячем ужине и теплой постели. Ильягуев сидел не-

подвижно. Мишиев вглядывался в лица людей в зале и делал пометки в записной книжечке.

Наконец суд вновь появился на сцене, и Дадашева жестяным голосом объявила приговор: четыре года тюрьмы и три года поражения в правах. Кроме того, он должен был уплатить строителству 26 рублей 20 копеек в возмещение убытков.

— Подсудимый, вам ясен приговор? — с сомнением покосилась Зоя в сторону Ильягуева.

Сосон ничего не ответил, только еще ниже свесил голову.

— После перерыва состоится обсуждение суда и концерт! — объявил Мишиев. — Сначала все говорят, потом все смотрят и слушают артистов. Кто домой уйдет — того мы лишим премиальных. Ясно?

Последнее предупреждение было ясно даже дураку. Рабочие толпились, покуривая, в проходах между лавками и у дверей клубного барака. Об Ильягуеве говорили в прошедшем времени — как будто его уже отравили в Сибирь и он там орудует кайлом на золотом руднике.

Начальство собралось в закулисной актерской комнате, где сидел, уронив голову в ладони, Исай. Увидев его, такого подавленного и печального, Шуламит как бы обрела новые силы.

— Это просто чудовищно! — сказала Шуламит, ни к кому к отдельности не обращаясь. — Это фарс!

— Ну, не надо так... — остановила ее Зоя Дадашева. — И главное, не делай выводы! Мы ведь здесь занимаемся практическими решениями. Рассказывать о морали этому Ильягуеву — просто терять время. Наша задача — пресечь преступность, предотвратить ее развитие в масштабах страны. Поэтому личная судьба Ильягуева не имеет здесь никакого значения.

— Но он ведь человек, — воскликнула Шуламит, — живой человек, отец своих детей!

Дадашева понимающе усмехнулась секретарю партячейки.

— Ты ребенок, Шуламит! — сказала она мягко. — Ну, что такое судьба одного человека по сравнению с судьбой страны...

— Это был настоящий, демократический суд! — подвел итог секретарь партячейки, и все, кроме Шуламит и Исаа, согласно закивали головами.

4

Убедившись в том, что сон англичанина достаточно глубок, Давид Наумович решил было выйти на улицу покурить, но, поднявшись уже с табуретки, передумал: а вдруг гость проснется, начнет задавать вопросы кому не следует. Лучше здесь посидеть, подымить в рукав.

Давид Наумович по-своему понимал службу, по-своему понимал дисциплину. Начканца не занимало далекое будущее, он желал спокойствия лишь сию минуту. Все должно идти гладко, смазанно. А для этого следовало действовать тихо, подспудно. Неурядицы и шум споров, даже если в них и рождается истина, лишь мешают тихому, бесшумному ходу событий... На нервного Исаака Давидовича слова начканца Давида Наумовича действовали, как смазочное масло на заржавевший механизм.

— Никому выше головы не прыгнуть, — говаривал Давид Наумович в минуты философского настроения. — Во всяком случае, выше своей собственной головы...

Начканц был уверен в том, что голод и богатыря валит, безденежье отрицательно сказывается на состоянии нервной системы, а сон необходим даже самому опасно-

му критику. Особенно сон, разделенный с красивой женщиной, достаточно просвещенной в части милых утех... Тот, кто правильно рассчитает момент подхода голода, безденежья и сна у потенциального неприятеля — тот сэкономит силы и здоровье. И таким непогрешимым предсказателем Давид Наумович считал, разумеется, самого себя. Впрочем, заметим в скобках, начканц знал и любил свое прямое дело — канцелярские интриги: секретные сведения о сотрудниках, двойную бухгалтерию и параллельные отчеты. При желании он мог бы доставить немало неприятностей своим сослуживцам. Коренным правилом Давида Наумовича было: „Всякий начальник хорош”. Такое правило, принятое безоговорочно, избавляло начканца от мучительных раздумий о несправедливости бытия. Все всегда было в порядке, все было просто замечательно! Человека, плохо отзывающегося о начальстве, он считал бы просто неуравновешенным, мягко выражаясь, человеком.

Обсуждение суда затянулось надолго. Сидя рядом с англичанином, Давид Наумович, не слушая пламенных речей, привычно размышлял о совершенно посторонних предметах: о скором отпуске, о небольшой служебной афере, которая должна была принести ему, начканцу, приличный денежный куш и повышение по службе... Поэтому носок разбитого башмака, выглядывавший из-за матерчатого задника сцены, не сразу привлек его внимание. Но когда взгляд его остановился в конце концов на этом покачивающемся носке, Давид Наумович почувствовал боль в глазу, как будто туда попала маленькая щепка: вне всякого сомнения, драный башмак принадлежал Исаю. Мысль начканца заработала слаженно, как часовой механизм: как попал Исай за кулисы, кто его туда провел, что он там делает? С кем он свел знакомство?

Перегнувшись вбок и вытянув шею, начканц воочию

увидел в щели задника Исая. Ай да Исай, ай да пронира! Не успел приехать на строительство, как уже примазался к начальству! Вот у кого надо учиться! А ведь выглядит таким тихоней-бессребреником!

С чувством легкой горечи Давид Наумович подумал о том, что Исай, час назад всецело от него зависивший, теперь, по-видимому, обрел совершенную самостоятельность: не зря же сидит он рядом с секретарем партячейки и Ханукаевым. Да и эта чернявая девчонка, на которую он уставился, — тоже, видно, партияка с весом, несмотря на молодые годы.

Вид внезапно выдвинувшегося Исая вывел Давида Наумовича из состояния приятной отвлеченности. Он взглянул на часы: время приближалось к полуночи, а собрание вроде бы и не собиралось расходиться. Конечно, куда им спешить, этим болтунам! Не они же, в конце концов, стерегут иностранца. И какое им дело до того, что работяги остались без концерта: городские артисты, проклиная устроителей говорильни, возмущенно вышли из зала и уехали на гастрольном грузовике обратно в Махачкалу.

Чихнув, англичанин открыл глаза и взглянул на своего опекуна несколько удивленно.

— Все в порядке! — поспешил успокоить его Давид Наумович. — Вы просто слегка вздремнули, на несколько минуточек! Я сейчас отведу вас в вашу комнату, вы там отдохнете до завтра, наберетесь сил. Ну, идемте! Это тут рядом!

Только выбравшись с писателем из зала, начканц задумался над тем, куда вести гостя. На этот счет никаких указаний „сверху” не было спущено, но в одном Давид Наумович был уверен: оставлять гостя в зале было никак нельзя. А куда его теперь тащить? К „мадам”, что ли? Нет уж, дудки!.. И поравнявшись со своим баракком, начканц решительно двинулся ко входу, под-

держивая иностранца под локоток. План его был прост: до окончательного решения вопроса уложить англичанина в своей комнате и доложить об этом начальству. Если же Аллочка уже вернулась из города и легла в постель, можно перекинуть гостя в свободную комнату в конце коридора; там, правда, не так уютно, но зато есть коечка, покрытая солдатским одеялом, и тумбочка. Не Лондон, конечно, — но все же лучше, чем мерзнуть на улице.

— Киса! — нежно адресуясь к жене, промурлыкал Давид Наумович. — Открой! Я с гостем!

Ответа не последовало, и начканц смело сунул ключ в скважину дверного замка.

— Устраивайтесь! — пропустив гостя в комнату, сказал Давид Наумович. — Вот кровать, полотенце, а тут водичку можно попить. Вы пока прилягте, а я мигом вернусь. Вот ключ. Впрочем, можно не закрываться: у нас тут социалистическая стройка — ни воров, ни грабителей. Это ведь вам, ха-ха, не Лондон! Гуд бай, маэстро!

Дверь за хозяином захлопнулась. Гость, недолго постояв в недоумении, тяжело опустился на розовенькое супружеское ложе и скинул ботинки. Пухлая подушка пахла одеколоном, пудрой и еще чем-то приятным, пробуждающим далекие волнующие воспоминания.

5

Отъездом артистов Исай был обрадован предельно: избавление пришло само собою, он был спасен от позора и изгнания. Теперь появились перспективы зацепиться здесь, на стройке, и определиться хоть на какую-то службишку. Как ни странно, судебный фарс

не произвел на него особого впечатления: Исай и не предполагал, что „народный” суд может быть праведным. Бедный Ильягуев! Но что „народ” делает праведно, когда берется за дело миллионами своих рук?! И даже не сам народ, а от его имени всякие Мишиевы и Ханукаевы. Вон Мишиев: бумажки с вопросами, поступившими из зала, сгреб в кучу своей серой рукой и сунул в карман. Вот и все. Бедный Ильягуев!

Чувствуя себя одиноким, смертельно одиноким в этой толпе, Исай хотел пробиться к Шуламит, взять ее под руку, как там, на вечерней дороге. Он хотел слушать ее нежный голос, ощущать шелковое веяние ее дыхания. Он уже и приблизился к ней, и встретил ее взгляд — но тут появился, как злая волшебница из сказки, начканц в своем позванивающем кавказском ремешке. Довольно улыбаясь, он решительно оттер Исаю от Шуламит и, увлекая его в сторону, заговорил:

— Вот вы где, дорогой мой Исай! А я-то уж думал, что вы, не дай Бог, отчаялись и уехали отсюда. Предчувствие подсказывает мне, что ваши дела на стройке пойдут великолепно, не правда ли? — начканц снизу взглянул на Исаю по-заговорщицки, а Исай с тоской следил за тем, как исчезает в толпе маленькая, хрупкая Шуламит. — Как вам суд? Замечательно, замечательно! Вы уже ужинали? И не обедали? Ай-яй-яй, какой скандал! Я дам вам талоны в столовку. А спать вы пойдете в Дом приезжих — не ай-яй-яй, но жить можно: комната на двенадцать человек. Мой вам совет: если кто-нибудь будет храпеть, заткните уши ватой. Вот вам вата, берите, берите, благодарить будете потом.

— Да я... — собрался было возразить Исай.

— Нет-нет, не желаю ничего слушать! — пресек начканц. — Вы меня должны слушать, как папу родного. В конце концов, я вас сюда привез, и я за вас в ответе.

Давайте вот тут на бревнышко присядем, поболтаем немного перед сном праведным: в бараке жара, духота, храп... Я так вам скажу, дорогой мой Исай: ничего не берите близко к сердцу. Кроме, конечно, нашего родного социалистического строительства! — спохватился начканц, вспомнив пламенные взгляды, которые метал Исай на черненькую девушку, возможно, партийку. — Так вот, возьмем, к примеру, нашу стройку. Вы, конечно, уже знаете, что она никакого отношения к гражданским целям не имеет, об этом здесь известно даже кошкам и собакам. Мы строим подземный военный завод, и наша судьба — и судьба завода тоже — зависит от того, даст ли нам заграница кредиты или не даст. Вот этого старого дурака-иностранца сюда приволокли — зачем? Показать ему, как мы тут возводим чулочно-носочный комбинат-гигант. Дурак вернется в свой Лондон и напишет в газетах, что все у нас тут чудесно идет и что можно нам еще подзанять денежек на чулочки и носочки. Вот так и надо делать дела, Исай!

— Но наверху... — возразил Исай.

— А наверху — гражданская фабричка, — подхватил начканц. — А под землей — настоящая начинка. И капиталисты дают нам деньги и на начинку, и на скорлупу. А если что-нибудь пронюхают и денег не дадут — нас в три счета прикроют, всех на улицу выкинут! Да я, чтоб этого не случилось, англичанину-дураку готов ноги мыть и воду пить — ну, в крайнем случае, получу понос! От этого еще никто не умер. Да что там ноги! Я его готов с собой в постель положить...

Алла Ивановна, весело притопывая каблучками, прошла по коридору барака и тихонько отворила дверь своей комнаты: там было темно, муж спал, и это освобождало Аллочку от необходимости готовить ужин. Закрыв за собою дверь и заперев ее на ключ, она в темноте быстро сняла с себя пальто, бросила его на стул. Потом сбросила кофточку, стянула юбку. Сев на краешек кровати, прислушалась тоскливо: из-под одеяла доносился тонкий, переливчатый храп. „Простыл, видно, — со злобой подумала Аллочка. — Насморк прихватил. Еще заражусь”. Улыбаясь, вспомнила все чудесные приключения сегодняшнего дня: как вернулась вечером в халупу художника Иосифа, как намекнула, что не прочь попозировать обнаженной, при свете. Как спросила: „Обнаженную женщину вы рисуете такой же холодной рукой, как и одетую?” Хорошо она спросила, умно. Художник даже не нашелся, что ответить. Холодно там было, в халупке, и кровать слишком жесткая. А бедный художник, видно, давно не ел вдоволь — ему бы со старушкой какой-нибудь баловаться, а не с Аллочкой. Завтра, небось, силы не хватит на ноги подняться... Потом этот роскошный ужин с майором... И вот она — дома: печка остыла, муж храпит.

Надевая ночную сорочку, Аллочка наткнулась босой ногой на мужскую туфлю. Это удивило ее: муж ходил в ботинках. Подняв туфлю с пола, она поднесла ее к окошку, подсвеченному далеким фонарем, и ахнула: в ее руке матово светилось роскошное заграничное произведение обувного искусства, благородно-черное, на толстой кожаной подметке, с декоративными дырочками на носках. Почти не веря своим глазам, Аллочка обследовала и вторую туфлю, а потом с подозрением покосилась на храпящую под одеялом фигу-

ру. На ощупь она обнаружила на стуле английский пиджачный костюм-тройку — такой костюм мог при-
сниться Давиду Наумовичу только в прекрасном сне. Все более волнуясь, Аллочка вслушалась в переливчатый храп, доносящийся из-под одеяла. В храпе она теперь тоже улавливала нечто иностранное... Наконец, решительно отвернув край одеяла, она нырнула, как в теплую воду, в постель.

Храп оборвался на полуноте.

— Уот из ит? — промычал писатель, крепко прижатый к обильной груди Аллочки Ивановны.

— Тихо, дуся! — шепнула Аллочка, умиленная звуками английской речи. — Замерз, беденький! Ну, я тебя сейчас разогрею...

Писатель сделал благородную попытку подняться, но вырваться из сильных рук Аллы Ивановны было непросто. Тогда он ухмыльнулся потерянно и оставил сопротивление. Через несколько минут он с радостным изумлением обнаружил, что вопреки его уверенности мужская сила еще не покинула его окончательно. Чувствуя приближение высшего наслаждения, англичанин заскрежетал вставными зубами, закрыл глаза и умолк, улетающая в вечно неведомое.

В реальный мир его вернул осторожный стук в дверь.

— Скажи: сплю, сплю! — услышал он шепот Аллочки у самого своего уха.

— Сплю, сплю! — послушно повторил англичанин. Если бы Аллочка попросила его ругаться матерно, он бы не задумываясь выполнил ее просьбу.

— Откройте, маэстро! — донесся из-за двери голос Давида Наумовича. — Пустите меня!

— Сплю, сплю! — с подъемом повторил англичанин. Больше он ничего не смог сказать, потому что Алла Ивановна вновь на него навалилась всей своей горячей, влажной тяжестью и накрепко закрыла его губы своими.

И если бы Давид Наумович приволок к окну барака пушку и принялся из нее палить — этот шум и грохот не отвлек бы несказанно изумленного писателя от его столь захватывающего занятия с Аллой Ивановной.

Глава седьмая

ТРУДОВЕРТЬ

1

Склонившись над дощатым столом Дома приезжих, Шуламит старательно выводила буквы на чистом листе линованной школьной бумаги. Девушка писала письмо тетке в Дербент — в родной город, кажущийся отсюда, со стройки, бесконечно далеким и сладко-родным. За строками письма, за тетрадным листом вставляли каменные горы и низкие желтые домики, пыльная центральная площадь и кривые коридоры улиц... Как все это убожество было близко и дорого нежному сердцу Шуламит!

Описав подробно дорогу (но умолчав почему-то о внезапной встрече с Исаем), Шуламит мельком упомянула о своем бегстве из мягкого вагона: неожиданный попутчик с молодой женой оказался тем самым военным, который арестовал отца Шуламит и увез его в городскую тюрьму, после чего о старом раввине не было ни слуху ни духу; опытные люди немногословно объяснили дочери, что старик, скорее всего, расстрелян в подвале местного НКВД либо умер по дороге в Сибирь, в лагерь. Потом девушка подробно описала строительство и перешла к суду. „Это был страшный, отвратительный фарс, — писала Шуламит. — Мне было стыдно

за себя, а еще больше — за мою бывшую подругу Дадашеву. Она звала меня в свою комнату, которую ей отвели в директорском особняке, но я отказалась наотрез: все кончено между нами. Лучше спать в бараке, среди простых несчастных людей, чем чувствовать присутствие этой страшной женщины, двуличной и опасной. Но я тем не менее рада, что эта поездка состоялась: пелена упала с моих глаз, я прозрела и вижу мир таким, каков он есть — несправедливым, кровавым. Я решила остаться здесь, среди фальши и горя, здесь мое место, здесь мое призвание (тут она вспомнила о том, что и Исай где-то здесь, поблизости, и улыбнулась благодарно). Пришли мне, пожалуйста, тетя, мой шерстяной платок — здесь в бараке почти не топят, очень холодно — и эмалированную кружку. Маме я напишу отдельно”.

Мама Шуламит, иссохшая от горя после ареста мужа старушка, почти все свое время проводила в кухне, у примуса. Отгоняя от себя страшные мысли о судьбе мужа, она с утра до ночи готовила еду: а вдруг придет из тюрьмы солдат, скажет, что можно сделать передачу — и в доме не окажется ничего свеженького... Но дни шли за днями, никто из тюрьмы не приходил, и старуха раздавала нехитрые лакомства из риса и муки соседским детишкам. Отъезд дочери прошел для нее как бы незамеченным — она ничего не видела вокруг себя, кроме стен кухни и шипящего примуса.

Дописав письмо, Шуламит заклеила конверт и вышла в коридор. В морозном паре, в потемках, она лицом к лицу столкнулась с Исаем.

Они ни слова не сказали друг другу — только долго, не двигаясь с места, смотрели друг другу в глаза. И в этом взгляде было все: и признание, и клятва, и страсть сокрушительная.

— Завтра выходной... — проговорил наконец Исай. — Давайте пойдем куда-нибудь вместе.

Шуламит то ли кивнула головой в знак согласия, то ли тряхнула, как лошадка, головой и, скользнув мимо Исае, вышла на улицу. А Исай, блаженно улыбаясь, остался стоять в коридоре. Он жадно втягивал ноздрями промозглый запах барака, и ему казалось, что он чувствует дивный аромат сандала и гвоздики, исходивший от Шуламита.

В канцелярию наутро он явился праздничный, сияющий. Володе, свирепо глядевшему на него из-под своей бараньей шевелюры, он улыбнулся как любимейшему другу. Пыльные бумаги замелькали в его руках, как сказочные бабочки, — и, казалось, от его улыбки на скучных листах вспыхивали радужные пятна.

— Куда гонишь-то! — недовольно пробурчал Володя. Пожар, что ли!

И когда в ответ на это замечание, Исай замурлыкал какую-то песенку, канцелярист Володя смачно сплюнул на пол и демонстративно вышел из комнаты. Оставшись один, Исай запел еще громче. Мир казался ему удивительно прекрасным, свежим и почти безоблачным.

Занятый своим делом и своими мечтами, Исай не заметил, как вернулся в контору Володя, как пришла телефонистка — жена Абаева в мокрой шубе, вонявшей псиной, как появился замызганный старичок кассир с красными воспаленными глазами и со стуком открыл свое окошечко, за которым с рассвета толпилась очередь. Он не заметил даже пришествия начканца Давида Наумовича — хмурого, измятого и невыспавшегося, проведенного ночь в угловой комнатке своего барака, на узкой железной коечке, под жидким солдатским одеялом... Люди добрые уже успели сообщить ему, что Аллу Ивановну видели вчера поздним вечером, что она была очень оживлена и что из-за двери супружеской квартиры Абрамовых доносились болезненные стоны и зубовный скрежет. Все это навело добрых людей на

мысль, что Алла Ивановна серьезно занемогла и всю ночь металась в жару и в бреду. Сопоставив полученную информацию, Давид Наумович пришел к неутешительным для себя выводам, которые, однако, перенес с должной твердостью. Начканц Давид Наумович был стоик.

Войдя в свою канцелярию и увидев порхающие над бумагами руки Исаея, Давид Наумович пожевал губами, покачал головой и молча уселся на свое место. Рабочий день начался.

2

В рабочей столовой было полно пару, как в банной парилке; работяги, толкаясь, гремя алюминиевыми мисками, толпились у окошечка раздаточной. В углу директор столовки, любивший пообщаться с простым народом, собственноручно нарезал хлеб. Острый длинный нож, похожий на боевой кинжал, со смачным хрустом входил в тела поджаристых буханок, пахнувших благодатной сытостью и устойчивым счастьем. Хлеб здесь выпекали пышный, душистый — но на вкус чуть горьковатый: мука на него шла второго, а то и третьего сорта. Дрянь, по правде говоря, а не мука... Сам директор, растирая ее между пальцами и пробуя на язык, брезгливо морщился и длинно матерился сквозь зубы. Ответ на вопросы по этому поводу у него, однако, был приготовлен: „Такую прислали! Жрите, давайте — у других и такой нет!“ — хотя и знал прекрасно, что на начальничьи пироги отпускается со склада крупчатка первого сорта.

Обтряся у порога мокрые, грязные сапоги и лапти, работяги с талонами в руках тянулись к раздаточной. Весь пол столовой был покрыт комьями влажной под-

сохшей грязи. Под потолком тускло светила лампочка, обсиженная мухами. Хлипкие дощатые стены были украшены яркими плакатами с изображениями кур, лошадей и разделки говяжьей туши. Встречались и лозунги оптимистического содержания: „Тщательно жуешь — зубы бережешь!“, „Когда я ем — я глух и нем“, „Пища — основа жизни на земле“. Отдельно, в стороне, висел большой портрет Сталина в тяжелой раме. Над портретом горели выведенные алой тушью на чертежном ватмане слова: „Спасибо товарищу Сталину — лучшему другу кулинаров!“

Беречь зубы в процессе целебного жевания здесь, однако же, не приходилось: кормили пустыми русскими щами да жидким лобio с жареным луком. Заглядывая в миски, горцы, привыкшие к жирной баранине, горестно покачивали головами. Обильно потев в струе пара, бывшего из оконца раздаточной, бывшие потребители бараньего мяса переминались с ноги на ногу и мысленно проклинали русский народ — изобретатель капустных щей. Получив наконец свою порцию, они брели к сколоченным из досок столам, утирая по дороге мокрые лбы рукавами овчинных зипунов. Ноздри их горбатых носов трепетали и выгибались хищно: им чудился крепкий запах хинкала с чесноком и бараньим жиром.

К помощи ложки прибегали лишь немногие. Большинство же, воровато оглядываясь по сторонам — нет ли кого из начальства поблизости, — запускали в миски щепотку пальцев с зажатым в них кусочком хлеба и, пропитав его, как губку, капустным отваром, отправляли в рот. Хлеб заменял им и ложку, и вилку. Орудую им весьма ловко, они быстро и дочиста очищали миску, а потом новым кусочком досуха вытирали ее стенки и донце. Ложка выскользывала из их крепких черных пальцев, и они провожали ее падение на пол безразличными взглядами. Покончив с едой, они высыпали из сто-

ловой и бежали вниз по косогору, на ходу выгоняя из себя остатки сытой дремоты. Под косогором стоял почти законченный чулочно-носочный цех, из которого можно было спуститься под землю, на головной строительный объект. Вход в преисподнюю — черная, забетонированная дыра — был скрыт под брезентовой палаткой, установленной посреди цеха. Через эту дыру попадали на подземный объект только люди — оборудование доставлялось иным путем.

В палатке, у черной дыры, царствовал лейтенант НКВД в новенькой, с иголки, форме, с парабеллумом в желтой деревянной кобуре на боку. Он придирчиво оглядывал рабочих, по одному протискивавшихся в палатку, и щелкал пальцами — и после этого щелчка рабочий проваливался под землю, как театральный черт в сценический люк. Впрочем, щелчок не отправлял работягу в яму, а только совпадал с прыжком: землекопы, крепильщики и проходчики давно привыкли к энкаведешнику и, делая свое дело — ныряя в яму, — обращали на него столько же внимания, сколько на крепежный шест брезентовой палатки. Нет, меньше: за крепежный шест они держались рукой, прыгая в черную дыру.

Лейтенант, однако, был внимателен: появление в палатке Исай в его побитых очках и драных спортивных туфлях прервало сухое пощелкивание. Болтая лакированной кобурой, лейтенант подскочил к люку и, загордив его, заорал:

— Стой! Куда?!

— Туда... — смутился окриком Исай. — Вниз.

— Ты кто такой? — страшным голосом следователя спросил лейтенант.

— Я из канцелярии, — объяснил Исай. — Меня Абрамов послал вот с пакетом.

— Документы! — потребовал лейтенант.

Получив удостоверение с печатью, он долго рассматривал его и так, и этак, вертел и поворачивал, разбирая подписи.

— Иди! — наконец разрешил он. — И в другой раз не беги — застрелю!

Спускаясь по узкому металлическому трапу, Исай с удивлением думал о том, что вот сейчас, минуту назад, он мог быть без разговоров застрелен, и тогда Шуламит не дождалась бы его завтра утром возле кооператива, откуда они должны были вместе отправиться на далекую прогулку, в горы. Завтра! Исай столько надежд вкладывал в это „завтра”, в само это слово, звучащее для него, как целый оркестр. Целых три недели ничего у них не получалось с этой прогулкой — то она не могла, то его занимали по работе, — и вот наконец завтрашний выходной должен был стать их выходным. Завтра! И из-за этого попки с пистолетом все могло кончиться для Исая: совсем в другую черную яму его тишком свалили бы сегодня вечером.

Спустившись метров на десять, он очутился в низком сводчатом зале, тускло освещенном цепочкой электрических ламп. Двигаясь вместе с рабочими в глубь зала, Исай с удивлением обнаружил себя в огромном подземном лабиринте, уходящем своими щупальцами-тоннелями далеко под гору. В некоторых тоннелях, уже оштукатуренных и побеленных, громоздилось под брезентами промышленное оборудование... Исай все шел и шел и видел сотни рабочих, проглоченных черной дырой; одни кирками долбили породу, другие оттаскивали ее на тачках и вагонетках. Исай вспомнил рассказ Давида Наумовича о подземном военном заводе, сооружаемом под зданием цеха чулочно-носочной фабрики. Вспомнил английского писателя, обведенного вокруг пальца... Конечно, военные заводы нужны — но нужен ли весь

этот позорный обман, повсеместная ложь? Почему делают дурака из знаменитого писателя?

И нельзя бороться со всем этим, нельзя даже рот открыть и сказать все, что ты думаешь. Кто открывает рот — получает пулю в затылок. Уехать отсюда, забиться в какой-нибудь глухой угол вместе с Шуламит — и сидеть там тихо, кормиться от трудов рук своих, растить детей... Струйка ледяной воды, упавшая с низкого потолка за пазуху Исая, охладила его пыл. Он сердито огляделся, шагнул к первому встречному — спросить, где тут четвертый участок.

Но, и выбравшись на поверхность, Исая долго не мог успокоиться: он испытывал страх, животный страх перед этим подземным чудовищем, перед черной дырой и энкаведешником с пистолетом.

3

Утро выдалось солнечным, синим, сквозным. От кооператива Исая с Шуламит легко дошагали до перекрестка, а там фыркающая удача на резиновых колесах догнала их: попутный грузовик, притормозив, гостеприимно предоставил им целый мир своего крытого кузова. И на каждом ухабе, на каждом повороте Исая бережно придерживал девушку то за локоть, а то и за плечи. И молил Бога, чтобы попался им какой-нибудь особенно глубокий ухаб, особенно крутой поворот...

Стоя в кузове, они почти не разговаривали. Каждый из них радостно чувствовал, что разговор — впереди, что его не миновать. И каждый подбирал будущие слова, вопросы и ответы. В уме это у них получалось примерно так: „Шуламит, я люблю вас, люблю с того счастливого мига, как вас увидел впервые”. — „Я тоже, хотя, мне кажется, я в этом еще не уверена”. — „Не го-

ворите так! Глядя в ваши глаза, я вижу нашу жизнь — вдвоем, до смерти”. — „Но мы ведь почти незнакомы!” — „Ваши брови похожи на крылья ласточки в полете”.

— Какие у вас очки смешные! — сказала Шуламит, глядя на Исаю, не спускавшего с нее восторженных глаз.

— Да-да, — тут же согласился Исай. — Они разбились больше года назад, а теперь так трудно достать новые стекла... Смотрите, какое красивое ущелье! И гам, наверху, аул.

— Давайте пойдем в этот аул! — предложила Шуламит. — Он мне тоже нравится: бедные сакли и дымы над саклями, как ветки дерева.

И Исай готов был поклясться, что дымы действительно похожи на ветки как две капли воды. Если бы Шуламит сравнила дымы с вареной картошкой, Исай тоже бы согласился без раздумий и возражений.

В аул вела от дороги узкая каменистая тропинка, она петляла между скалами, круто забирая вверх. Не доходя нижних сакль, на крутой поляне, косо высвеченной молодым сильным солнцем, путникам открылось необыкновенное зрелище: человек двадцать мужчин, обняв друг друга за плечи, образовали круг, кольцо. Это кольцо было лишь основанием: на плечах крепко стоящих помещалось десять молодых людей — обнявшихся, как и звенья основного кольца, и заметно наклоненных к центру круга. Следующее кольцо, третье, составляли пятеро юношей, наклонившихся к центру уже почти опасно. Эта пятерка, переплетя и сцепив руки точно над центром круга, держала на них мальчика лет десяти. Обратив лицо к солнцу, мальчик пел незамутненным чистым голосом, а вся эта человеческая конструкция раскачивалась в такт песне, и мальчик как бы летел высоко над землей, в небе.

– Благослови, Солнце, этот день, – пел мальчик, –
Пусть он будет благостен и светел,
Пусть он станет началом новой жизни
Для брачавшихся
И для того, кто еще не зачат...
В небе – Солнце, – раскачиваясь, подхватил
живой пьедестал, –
В лесу – зверь,
Рыба – в потоке.
Дитя – на темной тропе преджизни.
Дитя обратит лицо свое к солнцу...
Благослови, Солнце, этот день!

Исай и Шуламит, стоя на краю поляны, слушали завороченно. Они были здесь единственными зрителями – все прочие были участниками.

– Потрясающе!.. – прошептала Шуламит, невольно прижимаясь к плечу Исае. – Я столько слышала об этом древнем обычае, а вижу впервые в жизни.

– Сегодня свадьба в ауле, – наклонившись к уху Шуламит, прошептал Исай в ответ. – Это свадебный гимн солнцу.

Тихонько обойдя поляну, они вошли в аул – праздничный и праздный. По каменным улицам бежали по своим делам большеголовые толстолапые собаки, редкие куры возились у деревянных дверей сакль. Улицы были чисты, как будто их подмели специально к этому дню огромным волшебным веником.

Внезапно из-за угла, с хохотом и криком, выкатилась ватага мальчишек. Мигом окружив молодых людей, они скакали и прыгали вокруг них, а какой-то карапуз, выгудив из кармана пригоршню риса, осыпал Шуламит серебряными зернами. Девушка, бросив на Исае короткий растерянный взгляд, сделалась пунцово-красной: рисом осыпают жениха и невесту в день свадьбы, это

ведь каждому известно. А Исай только поблескивал стеклами своих разбитых очков да улыбался блаженно.

В самом центре аула молодые люди столкнулись с процессией из трех десятков женщин. Женщины несли на головах большие медные тазы с подарками невесте: одеждой, обувью, серебряными и золотыми украшениями, сладостями. По сторонам процессии шагали подростки с барабанами и бубнами; медовый воздух был наполнен грохотом и звоном. И женщины с тазами, и подростки с музыкальными инструментами плавно приплясывали, проходя по гулкой каменной улице, мимо Шуламита и Исая. Последняя в цепочке женщин властно взяла их за руки, ввела в движущийся под оглушительную музыку ряд. И вот они уже заскользили вместе со всеми, как будто их места здесь были предопределены им заранее, давно.

У дома невесты самая горластая тетка принялась нараспев выкрикивать, кто какой подарок преподнес; перечень занял с полчаса. А потом привели наконец жениха, и начался пир. И Шуламит с Исаем были здесь и чувствовали себя так, словно бы родились в этом ауле. И глядя на жениха и невесту, им невольно казалось, что это они после пира войдут в брачную комнату с занавешенными окнами и он там докажет ей свою силу, а она ему — свою невинность... И сидя за столом, он поглядывал на нее требовательно, а она на него — покорно.

Пир меж тем шел своим чередом; розовый воздух подернулся голубоватой дымкой — то нежное баранье мясо смачно шипело на высоких мангалах. Хинкал источал острый запах чеснока, вино бродило в бурдюках и в желудках... Шуламит и Исай и не заметили, как жених с невестой исчезли из пиршественного зала.

А спустя время весь аул огласился ликующими криками: ближайшие товарищи жениха проносили по

улицам белоснежный плат, отмеченный девственной кровью.

И Исай накрыл ладошку Шуламит своей большой ладонью, как будто мышонка поймал.

— Я вас люблю, — услышала Шуламит, глаз не подымавшая. — Этот день — наш день, первый из наших дней.

Глава восьмая

СНЕГОПАД

1

На смену ранним весенним дням, прозрачным и золотым, явился косматый снегопад. Явление снегопада не было вовсе неожиданным: зоркие старики, покачивая белыми головами, предупреждали о его приходе. Еще неделю назад, подсчитывая, сколько выпало солнечных дней, каково направление ветра и куда плывут на рассвете высокие облака, старики предрекали: „Быть снегопаду. Быть беде”.

И снегопад пришел — незванный, нежданный. Сырые серые хлопья погасили розовое свечение абрикосовых лепестков, обожгли мокрым холодом нежную виноградную лозу. Белая кипень вишневого цветения поблекла и опала. И люди, нахохлившиеся, как птицы в непогоду, шлепали по улицам горных городов, с хрустом, как са-ранчу, давя сапогами ледяную крупу. Под тяжелым грязным снегом гибли не только сады — вымерзал едва родившийся овечий и козий молодняк, поверивший в силу небывало ранней весны... Снегопад настиг весну, сорвал с нее легкую, яркую одежду, сжал ее горло своими ледяными пальцами.

Со снегопадом дурные, черные вести пришли на Кавказ: нкаведешники хватали людей по ночам — и люди

исчезали, как в снежном буране. И оглядчивым шепотом передавали друг другу люди: Рабиев хотел взорвать Москву, Мамаев разводил в подвале чумных бацилл, Алиев оказался эфиопским шпионом. И ни у кого не вызывало улыбки то, что Рабиев не мог отличить порох от песка, Мамаев не знал, что такое бацилла, а Алиев никогда в жизни не слышал о существовании Эфиопии.

Единственными, пожалуй, людьми, не обратившими ни малейшего внимания на снегопад, были Шуламит и Исая. Занятые своей любовью, они глядели на мир как бы из огромной вазы розового хрусталя. Весна наступила для них — и никакой снегопад не в силах был ее застудить. Ту свадьбу в ауле они восприняли как собственную свадьбу — и теперь с нетерпением ждали, когда освободится комнатенка в „семейном” бараке. Эта комнатенка виделась им как алмазная корона их счастья. Войти в собственную комнату, запереть дверь на ключ и остаться наедине друг с другом — что могло быть лучше на свете!.. А покамест они жили в грязных и вонючих общежитиях Дома приезжих, где под угрозой немедленного выселения мужчине запрещалось заходить на женскую половину.

Исая спал на спине, подложив руки под голову. Проснувшись внезапно, он не сделал ни одного лишнего движения, только приоткрыл глаза: он всегда так просыпался в своем мужском общежитии, от требовательного звонка будильника. Но на сей раз не будильник послужил причиной раннего пробуждения Исая.

Его разбудил новый постоялец, вошедший в комнату. Из-под полуприоткрытых век Исая наблюдал, как он, стоя в узком проходе между коек, не спеша и обстоятельно раскручивал длинный вязаный шарф. Одет он был несколько странно для „Двигательстроя”, да и вообще для Кавказа: желтая замшевая куртка на широком поясе, тирольские ботинки с зелеными гетра-

ми и легкая кепка, служившая более украшением, чем защитой от чего бы то ни было. На свободную койку этот человек положил портфель с монограммой и кожаный чемодан, а на спинку кровати аккуратно повесил бамбуковую трость с серебряным набалдашником... Исай знал, что перед ним — Иван Владимирович Бессонов, знаменитый геолог, крупнейший специалист по исследованию Кавказских недр. Это о нем, о его приезде шел вчера длинный разговор в канцелярии, и возбужденная Алла Ивановна забегала несколько раз к мужу — узнать, не приехал ли „горный чародей”. Алла Ивановна сама себя назначила ответственной за встречу Бессонова, и это обстоятельство еще больше омрачило и без того неважное настроение Давида Наумовича: воспоминания о визите английского писателя были еще свежи в его памяти.

Но отнюдь не единственный этот факт подогревал дурное настроение начканца. Вслед за снегопадом над всем „Двигательстроем” собиралась гроза: вернувшись в свою пропитанную туманами и ядовитым смогом Англию, писатель опубликовал статью об истинном назначении чулочно-носочного цеха, скрывавшего брезентовую палатку с бдительным энкаведешником над черной ямой. Кто-то, выходит дело, проболтался проклятому иностранцу. Кто же? Ведь с него весь этот день — да и всю ночь, как можно было предположить, — глаз не спускали, и не в последнюю очередь глаз не спускал сам Давид Наумович. Следовательно, и ответ придется держать ему, если не обнаружится преступный болтун. Ведь тут пахнет делом о шпионаже! После недолгих намеков Давид Наумович напрямик спросил у жены, не сболтнула ли она лишнего. Алла Ивановна в ответ засмеялась мелким бисерным смехом и сказала, что у нее с заезжим иностранцем нашлись другие темы для разговора. Мысленно сгибая пальцы, начканц считал

тех, кто общался с англичанином: Исай, Ханукаев, Мишиев, Исаак Давидович со своей французской шваброй. Конечно, проще всего попытаться свалить вину на французенку: она все же бывшая иностранка, она и могла ляпнуть с преступным умыслом. Но ведь если дело дойдет до разбирательства, то все они пойдут по одной дорожке... От этих мыслей на душе у Давида Наумовича становилось тяжело и наплеванно.

В ожидании грозы весь „Двигательстрой” точно оцепенел. И хотя о статье англичанина, разумеется, нигде не было объявлено, слухи о ней обсуждались шепотом на всех уровнях. Особенно распустили языки частники, угнездившиеся на стройке. В иных обстоятельствах о них никто бы и не вспомнил, но теперь Ханукаев с Мишиевым глядели на несознательный частнособственнический элемент с горечью и болью: за недостаточно решительную борьбу с частниками на госстройке месткомовцам могли сунуть по запарке по пяти лишних годиков тюрзака. Это уже не говоря об основном сроке — за контакты с врагом. А частником числился сапожник, сидевший в фанерной будке посреди строительства и стучавший там своим молотком, да парикмахер, за неимением будки устроившийся прямо на открытом воздухе со своим венским стулом, тазиком, кисточкой, мыльным порошком в консервной банке и пятком гребешков, засунутых удобства ради в собственную дремучую шевелюру. К неорганизованным или „диким” частникам относились и мелкие торговцы, спускавшиеся с гор с овощами в мешках, яйцами за пазухой и грязным буйволиным молоком в бутылках из-под боржома.

...Исай наконец открыл глаза и выпростал руки из-под головы. Заметив это, Бессонов любезно предложил ему угоститься пирожками с ливером, домашнего печения. Жую холодный пирожок, Исай размышлял над

тем, какая судьба занесла сюда геолога. Командировка его, как видно, была подписана задолго до последних событий на „Двигательстрое”: сейчас, до выяснения обстоятельств, сюда едва ли кого-нибудь послали бы. Вот, думал Исай, эта стройка — как гигантский костер, и летят к нему бабочки и стрекозы. Сколько людей, сколько характеров и судеб! Здесь — средостение, узел. Как-то он распутается, какие нити побегут дальше, какие прервутся? Глотая глинистый ливер, Исай вдруг почувствовал дуновение могильного холода, исходившего от нарядного геолога. „Этот человек скоро умрет!” — промелькнуло в голове Исай. Страхивая крошки с одеяла, он пожегился: страшная мысль, неизвестно откуда взявшаяся.

Распахнув дверь ударом ноги, в комнату вошла с самоваром уборщица Батэш. Ее короткая юбка, покрытая подозрительными пятнами, открывала каменные колени и мощные икры скалолаза. Синеватые от природы щеки Батэш были густо припудрены красным кирпичным порошком. Улыбнувшись гостю, девушка показала свои стальные зубы и игриво повела круглым сильным задом. Геолог и ее угостил пирожком с ливером.

— Богатейшие, знаете ли, тут места, — проговорил он, когда Батэш вышла. — Уникальные! Нефть, золото, платина — это все, как говорится, в порядке вещей, к этому привыкли. Но — платиновые хвосты! Ведь это — чудо: чего в них только нет! Здесь, в этой долине, нужно ставить завод. Через три месяца, я надеюсь, уже будет принято решение на высшем уровне.

— Значит, к осени могут начать? — спросил Исай.

— Вне всякого сомнения! — подтвердил Бессонов. — Промедление — это преступление... Ведь Кавказ — это кладовая сокровищ! Вчера я поднялся на стену цитадели Нарым-Кала. Весь Дербент оттуда виден как на ладони. Горный разлом спускается к морю почти отвесно,

камень можно читать, как книгу. Разлом — и трехкилометровая прибрежная полоса. Это уникальное явление на Каспии! Ведь именно здесь был единственный удобный путь из Юго-Восточной Европы в Переднюю Азию. Поэтому весь дербентский проход буквально залит кровью — тут воевали с незапамятных времен. Уже более пятнадцати веков от Нарым-Кала протянули к морю каменные стены. Между этими стенами и было расположено торговое поселение Дербент. Сколько раз его разрушали, жгли! Там жили гениальные строители, они пробили два тоннеля из цитадели — один к морю, другой в глубь гор. Они построили роскошный ханский дворец, гарем, бани. Дербентские металлурги чуть ли не первые в мире открыли секрет приготовления гибкой стали! Или вот другой факт: вы, кавказец, знаете ли, что Дербент заложен две с половиной тысячи лет назад евреями, изгнанными из древней Палестины после разрушения Первого храма и нашедшими здесь, в Дагестане, прибежище? Каждый камень стены эти люди обтесывали по несколько лет — таков был размер блоков. Еще древнегреческие и римские историки называли Дербентскую крепость неприступными каспийскими воротами. Дербент — это, собственно, и означает — „Ворота”.

— Я — еврей, — блеснув очками, сказал Исай. — На нашем языке „ворота” звучат совсем иначе.

— Разумеется, — согласился Бессонов. — Древние евреи шли в Дагестан через Персию, и персидское слово „дербент” принесли с собой... Вообще в Дербенте сохранилось немало памятников еврейской старины, там, в частности, одно из самых интересных еврейских кладбищ, которые мне довелось видеть. Я ведь, знаете, немало историк — меня волнуют не только руды, но и живые камни старины... Вот, кстати, купил в Дербенте чудный пейзаж — еврейский квартал, остатки синагоги. Художник неизвестный — Иосиф Ашуров.

Исай даже подскочил:

— Можно взглянуть?

— Пожалуйста! Некоторая дань модерну — но очень, очень симпатично!

— А где вы это купили? — спросил Исай, рассматривая картину.

— У художника. Я на него набрел совершенно случайно, когда прогуливался по старому городу: он писал этюд. Милый парень, но, видно, бедствует. Я пригласил его приехать сюда, написать несколько пейзажей для клуба.

Еще одна бабочка, летящая на костер, подумал Исай. Мистика какая-то! Какое-то неостановимое движение сюда, в эту долину... И на Исайа снова повеяло холодом смерти.

2

Сорок лет — переломный возраст, перевальный. До сорока, по молодости лет, думаешь безоглядно, рассеянно: вот, этого не сделал, а это сделал не так, как следует — ну, ничего, успею исправить, успею заново передумать и переделать; времени еще много!.. И действительно, кажется, что впереди — времени запас нетронутый, неоглядный. И что бы ты ни сделал, ни предпринял — все разглаживается, сливается за спиной, как бурный след за кормой большого парохода. Но вот отмеряно аршином времени сорок лет — и, глядя вперед, уж не видишь бескрайнего будущего, а видишь лишь узкую каменистую тропку спуска. А оглянешься — охватываешь светлым и жалобным взглядом прошлое: тяжелую бетонную плиту, состоящую из обломков да ошибок, которые уже не исправишь, не переделаешь. И то, что казалось тебе зыбким, оказалось — цепким,

что представлялось податливым и мягким, обернулось чугунным и стальным. Прошлое сформировалось и затвердело, а будущего не хватит на новый взлет.

Но бывает и так, редко: прошлое — сплошной труд, труд созидания нужных для человека, простых и обычных предметов, таких, как хлеб и картофель для насыщения, как деревянный топчан для сна и зачатия новой жизни, — и тогда, оглянувшись через плечо с сорокалетнего перевала, труженик вздохнет удовлетворенно и присядет отдохнуть, привалившись усталой спиной к прочной глыбе своего прошлого. Случается и так — но редко. А оглядываются через плечо — бездумно и бесстрашно, испуганно и истомленно — и в тридцать, да и в двадцать годов.

Девушкам, сидевшим перед Шуламит в тесной комнатке поселкового женсовета „Двигательстрой“, далеко было до сорока, да и тридцатилетнее взгорье казалось им далеким и туманным. Лишь одна из присутствующих — Роза Курбанова — отмерила, по собственному подсчету, тридцать восемь шажков, тридцать восемь годов. Впрочем, товарки Розы, вихляя глазами и ухмыляясь тонкогубыми ртами, утверждали, что Розин отсчет времени — отсчет особьей: без выходных и без праздников... Но кому, кроме дотошных товарок, охота считать чужие годы — в это судорожно взгорбленное время, когда эпоха берет тебя, как ком влажной черной земли на лопату! И вот уже летят в тартарары и сбившаяся со счета Роза Курбанова, и тоненькая Патимат с неразвившимися еще грудями, и Фазу Магомедова из аула Гацатль — из горной глухомани.

Да они почти все — тридцать женщин — явились сюда, на встречу с Шуламит, из глухих горных углов, из недоступных каменных щелей. Само это слово — „женсовет“ — было непонятно и загадочно; никому, в том числе самой Шуламит, неясно было, с чем его едят. Одна-

ко так приятно и волнующе быть „делегаткой”, хотя бы и неизвестно чего именно — тем более проезд оплачивается; вот и приехали горянки, провонявшие бараньим жиром и потом, на „Двигательстрой”. И руководительница „женсеминара” Шуламит была рада всей этой затее: она была, в сущности, либеральная феминистка, в глубине ее души гнездилась страсть к разъяснительной общественной работе.

Лекцию о вреде ношения чадры горянки выслушали с ухмылками: здесь, на стройке, можно, конечно, и без чадры пощеголять — но дома, в аулах, оголить лицо значило то же самое, что прогуляться нагишом при всем честном народе. Кроме того, чадра скрывала иногда и недостатки, которые не следовало демонстрировать первому встречному-поперечному. А кому следовало — тот видел не только лицо, но и куда более интимные закоулки девичьего тела. Игра в чадру, освященная вековой традицией, была, пожалуй, сродни европейскому маскарладу... Слушая рассуждения Шуламит о том, что мужчины, мол, обходятся без чадры и это есть проявление несправедливости, горянки хихикали и краснели. Зато они дружно интересовались новинками городской моды и, как на пришлицу с иной планеты, пялили глаза на уборщицу Батэш, явившуюся на собрание в короткой юбчонке и в туфлях на высоких каблучках. Отсутствие у нее косы тоже вызвало немало толков.

Сообщение же о советской демократии было встречено с полным непониманием: скинув чувяки и поджав под себя ноги, девушки организованно задремали. Проблемы личной гигиены увлекли их куда больше: хоть и в чадре, но они желали шагать в ногу с современными достижениями. А обсуждение нетоварищеского поступка жительницы „Двигательстрой” Розы Курба-

новой перешло в обычный бабий треп, характерный для любой точки нашей планеты.

Шуламит была против этого обсуждения, полагая его предмет личным делом не ладившей с арифметикой Розы. Товарки, однако, крикливо настаивали, и Шуламит, в соответствии с правилами советской демократии, вынуждена была уступить.

Дело было в том, что Роза, подпоив несовершеннолетнего землекопа Яхьяева Адалло, затащила его в столовую, где работала поварихой, и там соблазнила. Сторож Петухов, забредший в столовку побаловаться кипятком, ни словом, ни действием не спугнув самозабвенно рычащую Розу, выскользнул за порог и спустя минуту привел тройку праздных прохожих полюбоваться захватывающей картиной. Стараниями этих-то наблюдателей и самого сторожа Петухова добрая половина стройки назавтра же узнала о происшествии. От живописных деталей у слушателей закипала кровь и воспалялся взгляд. А несовершеннолетний Яхьяев Адалло, которому то ли выпивка пришлась по вкусу, то ли закуски, продолжал таскаться с бесстыжей Розой Курбановой; их видели то на огородных грядках, то в нежной кладбищенской траве. То Роза Курбанова лежала на пьяном Яхьяеве Адалло, то пьяный Яхьяев Адалло взгромождался на Розу Курбанову.

Собрание единодушно осуждало действия любвеобильной Розы. Если б она путалась со сторожем Петуховым, никто б ей слова не сказал: пожалуйста, на здоровье! Но несовершеннолетний Адалло, который ей в сыновья годился — это уже был скандал... На вопрос Шуламит, почему же это скандал, никто не смог дать толкового ответа: скандал, и все тут. И к тому же этой самой Розе не тридцать восемь, а все сорок с хвостиком. Стыд и позор!

Поднявшись из-за стола, Шуламит объявила перерыв

и вышла на улицу. Весна сочилась жирной грязью, грязь эта сверкала, как черные алмазы. Люди грелись на солнышке, зоркие, как кречеты. Куры ковыляли по улице, оглядываясь на петухов круглым внимательным глазом, и петухи настигали их и оседлывали. И зерна жизни наливались соком в воде, в земле и в плоти.

Сердито тряхнув головой, Шуламит улыбнулась и прибавила шаг.

Из недавно построенного особняка для особо важных гостей за ней внимательно наблюдал комиссар НКВД Трофим Габуня.

3

Еще не успела поблекнуть жирная весенняя грязь, подсохнуть и затвердеть, как Исая с Шуламит получили комнатку в семейном бараке. В таком важном и ответственном деле, как получение жилплощади, не обошлось, разумеется, без протекции: за Исая просил геолог Бессонов, да и Давид Наумович „поднажал”. Свои хлопоты начканц обосновывал весьма принципиально: „рука руку моет, нога ногу греет”. У Исая, несомненно, хорошие связи — не зря же он каждый вечер проводит со знаменитым геологом, переводя время на бессмысленные споры. Да и эта Шуламит не так проста, как может показаться с первого взгляда: у нее, верно, есть „рука” в области. Так что помочь такой паре — это все равно что получить выгодный кредит. А уж кто-кто, но Давид Наумович знал, как пользоваться кредитами, полученными под низкий процент.

За неделю до вселения молодых в семейный барак на „Двигательстрое” появился художник Иосиф. Он за это время еще больше похудел и потемнел, спутанные его волосы поседели, как будто их посыпали пеп-

лом. Несмотря на все свое легкомыслие, Иосиф, чувствовалось, был не на шутку напуган: в городе пересажали почти всю интеллигенцию по обвинению в терроризме, диверсионных действиях и шпионаже в пользу иностранных государств с красивыми, экзотическими названиями. Беспомощно пожимая худыми плечами — этот жест появился у него недавно, — Иосиф рассказывал Исаю и Бессонову:

— Никто не знает, чем все это кончится. Самое разумное — пересидеть это смутное время в каком-нибудь глухом углу — вот, как здесь. Один за другим получают десять лет без права переписки и исчезают. Говорят, что их всех расстреливают... На двадцать пять лет упекли одного моего знакомого художника только за то, что он нарисовал Сталина в абстрактном стиле — обвинили его в злостном глумлении над символом революции. И ему еще здорово повезло! Вначале его хотели подвести под статью о сжигании государственного флага и порче герба, а за это полагается расстрел.

Бессонов слушал, покуривая белую пенковую трубочку, а Исай, не перебивая, только размахивая длинными руками, бегал по комнате.

— Расстреляли двенадцать инженеров винного завода, — продолжал рассказывать Иосиф. — Обвинение: попытка отравить партию вина, предназначенную для отправки в Москву. Обвинителем выступал директор завода, потом его тоже расстреляли — за отсутствие бдительности.

— Я знал одного цыгана, — вошел в разговор Бессонов, — так вот, его тоже посадили за отсутствие бдительности: коня он свел со двора, а уздечку оставил... Десять лет получил, но с правом переписки.

— Это чудовищно, это чудовищно... — бормотал себе под нос Исай. — Неужели наверху, в Москве, знают об этом? Я просто не могу поверить!

— Ну, конечно, — покачивал головой Бессонов. — Ваше поколение — просто находка для любого режима! Вы согласны со мной?

— Теперь они взялись за „беспаспортных бродяг“, — продолжал Иосиф. — Не тех, конечно, у кого паспортов нет — тех уже давно пересажали. Я, например, типичный „беспаспортный бродяга“ — нигде не служу, нигде не прописан и к тому же занимаюсь делом двусмысленным — искусством.

— Но ведь именно посредством искусства мы можем поднять сознательность масс! — не выдержал Исай. — Ведь целые поколения революционеров...

— Нет, вы неисправимы, Исай, — усмехнулся Бессонов. — Неужели вы еще сомневаетесь в том, что лучший метод повышения сознательности — тюрьма? За исключением, разумеется, могилы, которая, как известно, исправляет даже горбатого... Клянусь вам, я был более высокого мнения о евреях, и теперь, после встречи с вами, я несколько разочарован. Такой древний народ, с такими вымоченными в укусе традициями!

— Именно поэтому мы, евреи, всей душой поддержали этот великий социальный эксперимент, — горячо заговорил Исай. — Малая часть из нас, как вы знаете, встала на позиции крайнего шовинизма, узкой национальной ограниченности — это сионисты с их идеей Национального очага в Палестине. А я — интернационалист! Я не предаю забвению наше прошлое — но будущий справедливый социализм мне куда ближе. Ведь речь здесь идет о будущем всего мира, а не только об одном народе.

— Те-те-те! — саркастически перебил Бессонов. — Всякое разумное начинание требует строгой систематики. Нельзя построить новый мир, не взорвав старый. Нельзя взорвать старый мир, не рассчитав приложения и действия силы взрывной волны... Предоставляю вам право самому сделать выводы из вышесказанного.

— Вот я и делаю, — поник Исай. — И прихожу в отчаяние. То, что происходит, напоминает мне действия слепого лесоруба в джунглях.

— Индивидуум даже не в силах уклониться от топора вашего слепца, — грустно заметил геолог. — Единственное, что мы можем себе позволить — это внимательно глядеть вокруг. И не принимать удар топора по черепу за случайную дождевую каплю.

Впервые за все это время Исай со страхом и тоской подумал о том, что ждет его с Шуламит, что ждет их будущих детей. Ведь им, еще не рожденным, придется существовать в диком и тупом мире неуверенности и лжи. Что смогут они противопоставить всеобщему безверию? Какой идеал? Быть может, сионисты правы — и их идея не только ясна, но и чиста. В их палестинских коммунах, говорят, осуществлены идеи бесклассового общества.

Бессонов словно угадал его мысли:

— У вас, евреев, есть несомненные преимущества перед нами, русскими. Вы можете замкнуться в свою национальную скорлупу и выращивать там новое ядрышко — без всякой, разумеется, гарантии, что в нем не заведутся черви. А мы, русаки, сегодня лишены и этой утопии. Аминь!

Вечером этого дня, гуляя с Шуламит по тихим кладбищенским лужайкам, Исай был грустен и подавлен. Шуламит отнесла это его состояние за счет невеселого пейзажа и попыталась успокоить его:

— Через несколько дней мы получим комнату, — сказала Шуламит, — и мертвые больше не будут нам мешать.

— Тогда нам начнут мешать живые, — целуя девушку, возразил Исай. — Живые куда опасней.

— Тебе совсем не страшно здесь, на кладбище? —

спросила Шуламит, задыхаясь от ласк Исаи и откидываясь на чей-то могильный холмик.

— По правде говоря, нет, — сказал Исай. — В конце концов, здесь, на стройке, есть только два равных места: кладбище — для любви и мост — для прогулок.

4

Мост был своеобразным „пяточком”, „плешкой” „Двигательстрой”. По этому мосту, перекинутому над горным потоком, фланировали по вечерам, сменив рабочую одежду на выходную, обитатели поселка: пары, еще не успевшие поссориться, и одиночки, желающие познакомиться с партнерами и образовать пару. Чаще всего именно отсюда, с моста, отправлялись — уже наверняка парами — на кладбище, где тоже было ровно, но к тому же мягко и покойно. Одиночкам на кладбище просто нечего было делать. Зато оброненное кем-нибудь мимоходом „а я вчера был на кладбище” недвусмысленно означало, что податливая кладбищенская трава приняла в свои объятия девушку с парнем и стала свидетельницей их взаимной победы друг над другом. Мост предназначался для завязывания знакомств, кладбище — для их развития и, иногда, завершения.

Это вовсе не означает, что на мосту появлялись лишь граждане, охваченные сугубо сексуальными стремлениями — но таковых было большинство. Меньшинство представляли три чистильщика обуви, устроившиеся со своими деревянными, обитыми медными бляшками ящиками вдоль перил, да языкатые, охочие до сплетен старики, сидевшие вдоль тех же перил, по обе стороны моста, на деревянных табуреточках, приносимых с собою. В особо оживленные вечера трудно было сыскать свободное местечко у перил. Обсуждалось здесь бук-

важно все на свете: цены на лук и политика английского короля, браки и разрывы знакомых и незнакомых людей, и кто с кем переспал, и кто с кем только хочет переспать. Создавалось впечатление, что в ящике одного из чистильщиков оборудован беспроводный телеграф и новости со всего света без помех поступают прямо на середину моста.

Мост гудел слухами о предательской статье английского писателя и о приезде комиссара III ранга Трофима Габунии. Эти два события как бы сами собою связывались воедино. Общественное мнение моста склонно было во всем обвинить легкомысленную и темпераментную Аллу Ивановну. Ее ночной шпионский разговор с англичанином цитировался, как будто был записан стенографисткой, размножен и разослан представителям поселковой общестственности. Кара, ожидавшая Аллу Ивановну, оценивалась по-разному: от ночного приглашения в особняк Трофима Габунии до расстрела. Судьба Давида Наумовича вызывала куда меньше пересудов: по мнению завсегдатаев моста, начканца ждало десять лет строгих лагерей. Были, правда, особо проникательные пессимисты, предсказывавшие неизбежную посадку начальника участка Исаака Давидовича с его французской мадам — но дальше этого грозные прогнозы не шли.

На фоне этих событий предстоящий переезд Исая и Шуламита в семейный барак прошел почти незамеченным. Почти — это не значит всецело: лениво обсуждался вопрос, вступили ли уже молодые люди в супружеские отношения, если да — где и при каких обстоятельствах, и на каком месяце надменная красавица Шуламита. С несколько большим жаром обсуждалось предположение, что комнату в семейном бараке Исая получил по благу: другие люди годами ждут, а этот сразу добился, ключик ему на тарелочке поднесли! Судачили и о том.

что Исай намного старше Шуламит и что это, а также его близорукость и разбитые очки открывают перед невестой широкие возможности.

Одним словом, мост жил нормальной жизнью. Течение этой жизни было нарушено неожиданным появлением на мосту Трофима Габунии.

Комиссар подъехал к мосту в машине начальника „Двигательстрой” Сафонова. Выйдя из машины, он снял комсоставскую фуражку и старательно протер блестящую в лучах вечернего солнца лысину большим носовым платком. Разговоры на мосту смолкли, как перерубленные топором. Оглядев замерших людей водянистыми голубыми глазами, Габуния водрузил фуражку на место и вступил на мост. Хромовые сапоги сверкали, как хрусталь. Он тем не менее проследовал к среднему чистильщику и требовательно поставил ногу на чистильный ящик. Чистильщик принялся за работу, а Габуния молча возвышался над ним с таким видом, как будто решил помочиться. Солнце испуганно отражалось в овальных стеклышках пенсне опасного визитера, его мясистые белые руки были сцеплены на животе. Расцепив руки, он бросил чистильщику монетку, размеренным шагом прошествовал по мосту из конца в конец и вернулся к машине. Тут к нему из еще не отмерзшей толпы выскочила Катька — одна из тех двух московских подруг Аллы Ивановны, что приехали сюда в лихой час, столь губительный для поселковых жен и невест. Приподнявшись на цыпочки, Катька, помогая себе руками, зашептала что-то на ухо рослому Габунии. Комиссар, чуть наклонив голову, слушал благосклонно. Выслушав, он в свою очередь спросил что-то вполголоса, и Катька, повернувшись к мосту, сделала призывный жест. В ту же минуту, вынырнув из толпы, к ней присоединилась Машка. Пропустив девушек на заднее сиденье, грозный чекист уселся рядом с шофером, и

машина, обдав посетителей моста вонючим дымом, унеслась. Проехав метров сто, она остановилась у гостевого особняка. Самое малое время спустя до слуха озадаченных мостовиков донеслись звуки патефонной музыки — проигрывали пластинку „Лунная ночь” в исполнении Р. Козолуповой — и праздничные вопли Катьки и Машки.

— Отделается Алла Ивановна одной морковкой, — покачивая головами, решили старики на мосту. — Комиссар, видно, любитель этого дела...

Тем временем Исая и Шуламит с чемоданами в руках вошли в свою новую комнату в семейном бараке, заперли за собой дверь и остались одни.

— Ну вот, — обняв Исая и тесно прижавшись к нему, сказала Шуламит, — теперь слушай, любимый: я беременна...

**ЧАСТЬ
ВТОРАЯ**



Глава девятая

СЛУХИ

1

Более неудачного времени для посещения городской конторы „Двигательстрой” учительница Лиза Мордехаева не могла и придумать: вся контора была как бы погружена в какой-то вязкий мутный раствор, связывающий движения и тормозящий мысль. Даже на такой простой, казалось бы, вопрос, как „где у вас тут сидит начальник?”, служащие затруднялись дать однозначный и скорый ответ, переспрашивали, опускали глаза и бормотали что-то невнятное о личности Лизы Мордехаевой и цели ее прихода.

А цель прихода Лизы была ясна предельно: учительница пришла просить разрешение на учебную экскурсию ее класса на строительство. Наглядные демонстрации плюшевой муфты уже давно себя исчерпали, следовало показать ученикам живую натуру. Ничего, кроме положительного отклика, такое намерение не могло вызвать ни у школьного начальства, ни у руководства „Двигательстрой”. Поэтому странная атмосфера, царившая в конторе, удивила Лизу и насторожила ее.

Это ощущение еще более обострилось, когда замести-тель начальника отдела местных кадров, к которому она в конце концов пробилась, оглядел ее более чем

внимательно и потребовал предъявить документы. Придирчиво сверив фотографию и переписав данные на картотечный бланк, замначальника вернул паспорт владелице и, уставившись в пол, заявил:

— Лично я не вижу никакой возможности выполнить вашу просьбу. По долгу службы я не имею права объяснить вам все причины. Могу сказать только, что сейчас производится смена руководства строительством, на месте работает... как бы это объяснить... ревизионная комиссия из Центра. Одним словом, сейчас там не до вас с вашими детишками. Вы можете идти. Если понадобится, вас вызовут.

Из конторы Лиза Мордехаева вышла на ватных ногах. Кому-кому, но ей не надо было объяснять, что означает формулировка „вас вызовут”. Ясно, что вызовут не в роно и не в Отдел культуры — вызовут в „Серый дом”, в НКВД. Но что могло там случиться, что стряслось? Слухи о крупном воровстве или о взятках, разумеется, не миновали бы города — но покамест об этом вроде бы ничего не было слышно. Начальник „Двигатель-строая” Сафонов сидел на своем месте, уполномоченный НКВД Соколов — тоже. Только позавчера она видела Соколова с молодой женой — они возвращались с приема в городском кинотеатре, где вручались награды передовым огородникам. Соколов, правда, был мрачен — но он всегда мрачен, у него служба такая.

Теряясь в догадках, Лиза вернулась домой, в свою чистенькую, уютную комнатку, словно бы осиротевшую после отъезда Шуламита. Затворив за собою дверь, Лиза с нежностью провела по ярким мутакам на тахте Шуламита и вздохнула удрученно. Как там ее девочка, на стройке? Хорошо, что она теперь не одна: Исай, судя по всему, честный и надежный человек. Но ведь на таких — надежных и честных, — как правило, и падают все камни... В последнем письме Шуламита писала, что они вот-

вот должны получить комнату, и, добиваясь разрешения на учебную экскурсию, Лиза хотела совместить приятное с полезным: повидать племянницу с мужем, отвезти им кое-что из домашней утвари — вот, хоть эти мутaki, так живо напоминавшие тетке о ее Шуламит. Теперь, как видно, ничего из этой затеи не получится, и Бог знает, когда удастся свидеться: учебный год только-только начался, минутки нет свободной. Теперь Лиза горько жалела о том, что летом, то хвора, то подрабатывая отнюдь не лишнюю копейку на Курсах по ликвидации безграмотности, так и не собралась на „Двигательстрой“, повидаться с молодыми... Поглядев на фотографию Шуламит, висевшую над тахтой, Лиза взялась разводить примус, кипятить воду для чая.

И как бы почуяв запах черной заварки и нарезанного ломтями свежего хлеба, в дверь без стука просунулась всклокоченная голова Беллы Юханановой — Лизиной сослуживицы, средних лет вдовы, обладавшей нравом вздорным и характером льстивым.

— Золотце мое! — с порога запела Белла. — Подружка дорогая! Какое счастье! Я ведь только что узнала — и сразу к тебе бегом! Поздравляю! От всего сердца! Счастливица Шуламит, я ведь ее люблю, как родную дочь! Вышла замуж! Расскажи мне все, дорогая! Как прошла свадьба? Оркестр пригласили?

— Садись вот, чайку попей, — поморщилась Лиза. — Какой еще оркестр? Что они — богачи, что ли? Или от оркестра люди счастливей становятся?

— Что ты говоришь, серебряная моя! — замахала руками Белла. — Ведь свадьбу запомнить надо на всю жизнь, и потом что скажут соседи, родственники. Мы ведь все же не собачки — чтоб без оркестра, без белого плата!

— Будь спокойна, — нахмурилась Лиза. — Моей Шула-

мит не нужен никакой белый плат — она свою невинность сберегла для мужа. Ишь ты — белый плат!

— Ну, что ты, что ты, — зачастила Белла, — я в этом ни капельки даже не сомневаюсь: Шуламит — серьезная девушка. Просто это такой замечательный обычай, и чтоб потом никто худого слова не сказал... А какие подарки она получила? Золота много?

— Да что ты ко мне привязалась, честное слово! — недовольно воскликнула Лиза. — Что я — считала, что ли, эти подарки? Муж ее — вот лучший подарок, они все своими руками заработают.

— Ну, конечно, — немедленно согласилась Белла, с апетитом жуя хлеб. — Не найдется ли у тебя, драгоценная, немного маслица — на хлеб намазать? Или, еще лучше, медку?

— Сейчас, — сказала Лиза. — Сейчас дам. — И не удержалась, соврала: — Вот как раз Шуламит баночку меда прислала.

— Новость знаешь? — намазывая ломоть, спросила Белла. — Весь город об этом говорит: Сафонова посадили, и Соколова. Говорят, у них нашли оружие — целый склад, и доллары в бочонках из-под рыбы. Представляешь себе! И еще самолет, чтобы улететь в Америку.

Лиза вспомнила замначальника отдела кадров и как он переписывал данные ее паспорта на карточку. Дело оборачивалось дурным образом: любой следователь найдет связь между просьбой Лизы и арестом строительного начальства.

— Это ты точно знаешь? — спросила Лиза, сама понимая нелепость своего вопроса.

— Точно, точно! — затрясла головой Белла. — Мне одна моя знакомая сказала, которая работала в прачечной, куда сафоновская работница белье носила стирать. Это точно! Она еще сказала, что на „Двигательстрой“ привезли целый поезд солдат НКВД, все с ружьями.

— Зачем? — машинально спросила Лиза.

— Ну, как ты не понимаешь! — сказала Белла с легким укором. — Враги ведь хотели захватить самолет.

— Ах, да, конечно, — сказала Лиза. — А я и не сообразила.

— Там целый заговор, — строго дополнила Белла. — Шпионский центр. Они хотели, — Белла понизила голос до шепота, — убить Сталина. И Берию.

Стук в дверь заставил Беллу вздрогнуть, как от прикосновения раскаленного гвоздя; она уронила бутерброд с медом на колени.

Явилась дальняя родственница, седьмая вода на киселе, толстая старуха по имени Болбика. Одета она была по горско-еврейскому обычаю — в длинное черное, до земли, платье, поверх которого намотан был черный же платок, хвостом волочившийся по полу. Верхняя часть платка прикрывала запавший, беззубый рот старухи. Сев к столу, Болбика первым делом освободила рот, готовясь к разговору.

— Давненько ты не заглядывала, — разглядывая старуху, сказала Лиза. — Пожалуй, с отъезда Шуламит тебя тут не было.

— Верно, — кивнула старуха мясистым лицом. — От чужих людей узнала, что родную кровь замуж отдали. Стыд!

— Никто ее не отдавал, — сухо поправила Лиза. — Она сама вышла.

— Как так? — вздернула короткие мохнатые бровки старуха. — А сговор? Что ж, жених — босяк какой? Не еврей?

— Еврей, еврей, — успокоила Лиза. — Замечательный парень.

Старуха с сомнением пожевала губами. Круглое ее, гладкое лицо, расширявшееся книзу, как морда гиппопотама, было румяно до синевы; маленькие глазки

пропадали в нем, как изюм в тесте. Довольно широкому кругу людей в городе было доподлинно известно, что у старухи Болбики Рабаевой дурной глаз.

— А как же приданое? — настоятельно поинтересовалась старуха.

— Двенадцать платьев шелковых, двенадцать полотняных, — начала перечислять Лиза. — Одеял — восемь, подушек десять. Медных тазов — шесть, оловянных блюд — девять.

— А золотых украшений не принес! — язвительно вставила Белла.

Но старуха, кажется, была удовлетворена. Она налила себе чаю и потянула с противным шумом.

— Варенья нет? — осведомилась старуха и, получив отрицательный ответ, продолжала без перехода. — Соколова посадили, чтоб его аршином смирали! Всю мебель из его дома вытащили, на грузовик погрузили. Большой грузовик, военный. И постельное белье, и посуду. Жена на улице сидит, убивается: все увезли.

— Жену тоже посадили, — внесла поправку Белла, но старуха не обратила на это никакого внимания.

2

Обыск в доме Соколова шел с третьего часа ночи — с того часа, когда хозяина с хозяйкой увезли в „Серый дом“. Соколов, ждавший ареста, лишь облегченно вздохнул, увидев наведенные на него черные револьверные стволы. Молодая его жена вдруг изменилась в лице — в ней нельзя было узнать ту холеную красивую женщину, что ехала не так давно с Исаем в мягком вагоне.

— Одевайся, проститутка! — не убирая оружия, крикнул женщине командир опергруппы.

Она, натянув одеяло до подбородка, потерянно глядела на мужа.

— Встать! — рявкнул командир.

— Но я раздета... — пробормотала женщина.

— А надо одетой спать, — вдруг ухмыльнулся военный. — Вставай, вставай, не засветишься!

Женщина послушно, как-то механически откинула одеяло и поднялась. Командир и его солдаты оценивающе оглядывали точеные ноги хозяйки, ее маленький крепкий зад и торчащие в разные стороны груди с длинными козьими сосками.

— Девка горячая, — пробормотал майор, закурил папиросу и снова крикнул: — Здесь одевайся, сука!

Соколов молчал, глядел пусто — он хорошо знал порядки своей организации.

В „Сером доме” Соколова, обыскав, отобрав поясной ремень и споров пуговицы с одежды, провели к начальнику — плечистому плешивцу Петрову, присланному недавно из Москвы. Начальник был вполне уравновешен и даже по-своему вежлив.

— Я надеюсь, мне ничего вам не придется объяснять, — сказал начальник. — На подведомственном вам строительстве союзного значения обнаружена шпионская сеть. Пока ясно?

— Ясно, — подтвердил Соколов.

— Вот и замечательно, — продолжал начальник. — Резиденту английской разведки, проникшему на строительство под видом известного писателя, его агентура на стройке передала совершенно секретные данные о характере завода. Вы с резидентом ехали в одном купе. Пока ясно?

— Ясно, — одними губами повторил Соколов.

— Великолепно, — похвалил начальник. — Вы несете ответственность за происшествие. Возьмете на себя

передачу данных в купе мягкого вагона поезда 374-„бис”?

— Нет, — твердо сказал Соколов. — Это не возьму.

— Прекрасно, — насупился начальник. — Значит, не возьмете... Некрасиво доставлять хлопоты бывшим товарищам по работе... Вы составите список людей, ехавших вместе с вами в одном купе, и тех, кто так или иначе принимал участие в разговоре. Имейте в виду, проводник уже арестован, и мы сверим его список с вашим. На вашем месте я бы ошибся в сторону приписки имен, а не наоборот. Ясно?

Соколов молча кивнул головой. Он знал, что, если у проводника будет более полный список — его, Соколова, обвинят в укрывательстве. Кроме того, он был почти уверен в том, что живым ему отсюда не выйти. Единственное, на что он надеялся — так это на то, что его не будут пытаться: это просто ни к чему, он и так все подпишет, что нужно.

— Составьте также список людей, имевших контакт с резидентом на самом строительстве, — продолжал начальник. — Я вам, как вы понимаете, ничего не обещаю. Но если вы дадите волю эмоциям, у вас возникнут нежелательные проблемы. Вот такие, — выйдя из-за стола, начальник медленно приблизился к Соколову и ткнул его в лицо кулаком с зажатой в нем чугунной фигуркой Дон-Кихота.

Рот Соколова наполнился солоноватой кровью и выбитыми, ставшими вдруг чужими зубами.

— Не плюйте на ковер! — предостерег начальник. — Уважайте труд уборщицы! Сплюньте вон в ведро за занавеской.

Соколов послушно поплелся к занавеске и, осторожно ее откинув, склонился над ведром. На дне белого эмалированного ведра он увидел выдранный с корнем человеческий глаз. Опустившись на четверень-

ки, Соколов, плача от темного ужаса, долго и безудержно блевал в ведро, боясь лишь одного: как бы не испачкать пол и занавеску. Поднявшись, он сделал несколько шагов к столу, за которым как ни в чем не бывало сидел начальник. Рядом с чернильным прибором на столе стоял чугунный Дон-Кихот.

— Все ясно? — посверкивая золотыми зубами, спросил начальник.

— Все ясно, — прошепелявил Соколов.

— Ну, вот и замечательно! — подвел итог начальник.

Потом, нажав на кнопку на внутренней стороне столешницы, он вызвал конвой. Двое конвойных солдат, подхватив Соколова под руки, поволокли его в подвальный бокс „Серого дома”.

3

К восьми часам утра оперативный работник Ерикеев, арестовавший супругов Соколовых, почувствовал сильное утомление: квартира арестованных насчитывала три комнаты с верандой, обыску не видно было конца. По части грамоты Ерикеев был слаб, составление описи конфискуемых предметов всегда было для него мучительно: болели глаза, ныли пальцы рук. Передав опись солдату, закончившему школу-семилетку, он деловито вскрыл буфет и обнаружил там непочатую бутылку дагестанского коньяка КВК. Прихватив на кухне грашенный чайный стакан и выудив из банки пару соленых огурцов, Ерикеев крикнул солдату: „Ты давай, пиши, а я пойду отдохну часок!” — и прошел, зажав бутылку под мышкой, в спальню.

В спальне горела с ночи настольная лампочка на туалетном столике. Расположив на зеркальной крышке столика выпивку и закуску, Ерикеев уселся на

розовый, мягкий пух хозяйки и блаженно потянулся. Глядя на себя в зеркало, он наполнил стакан коньяком и выпил залпом. Потом, дождавшись приятной тепловой вспышки в желудке, огляделся с любопытством почти детским. Медленно выдвигая ящики и ящички, доставал оттуда и разглядывал с зачарованной улыбкой всяческую женскую дребедень: блестящие шпильки и булавки, щипчики, пинцеты, флаконы и баночки. В красивую коробку с пудрой сунул палец, понюхал, попробовал на язык. Пакет с заграничными презервативами бережливо положил в карман кителя, клапан застегнул на пуговку. Выпив второй стакан и похрустев огурцом, откинул одеяло широкой и пышной двуспальной кровати и обнаружил там прозрачный розовый пеньюар. Держа пеньюар пальцами за плечики, прикинул его на себя... Потом, перед зеркалом, с блудливой улыбкой предстоящего наслаждения, быстро скинул гимнастерку, сапоги, брюки и голубые бязевые кальсоны. Не отходя от зеркала, с ужимками натянул на себя пеньюар и плашмя кинулся в кровать, под одеяло. Зажмурившись и постанывая, он, ритмично выгибаясь, долго тыкался животом в крахмальную простыню — пока не издал сдавленный рев и, почувствовав на животе теплую влагу, не уткнулся в подушку потным лицом.

Выслушав рев, сопровождаемый скрипом кровати, закончивший семилетку солдат удовлетворенно хмыкнул и вернулся к описи конфискатов. „Собрание сочинений тов. И. В. Сталина в 28 томах, — старательно вывел он под номером 347, — в отличном состоянии”.

Глава десятая

НОЧНОЙ ПОЛЕТ

1

Самолет, трясясь и скрипя, взял разбег на грунтовом взлетном поле и, в последний раз подпрыгнув на глинистой кочке, оторвался от земли. Аэродромные огни мигнули, мелькнули и исчезли из глаз. За иллюминаторами стояла ночь, как грифельная доска.

Убедившись, что пилоты двенадцатиместной летающей табуретки последней модели заняты своим делом и никто за ним не наблюдает, комиссар Габуня расстегнул китель, развалился в кресле и расслабился. Ночной вызов к всеильному Берию был неждан и негadan как гром с ясного неба. Габуня и перепугаться как следует не успел, как ноги сами собою привели его к машине, а машина помчалась на аэродром. Пугаться, если вдуматься, не было и оснований: если б Лаврентий Павлович хотел арестовать Габуню, то он сделал бы это здесь, на „Двигательстрое“, а не стал бы посылать за ним самолет... И все-таки, несмотря на доводы разума, бесстрашному чекисту было жутко.

Невидящим взглядом упершись в черный иллюминатор, он прикидывал, какие ошибки он мог допустить в этом деле об английском писаке. Ясно было и дураку, что никто ему здесь ничего не рассказывал, что

данные о подземном строительстве подкинула ему та же британская разведка. Но, с другой стороны, польза от процесса над участниками шпионской сети была бы бесспорна — вот делу и дали ход. Габуния понимал, что от него требовалось: посадить неперековавшихся спецев-старорежимников, порубить классово чуждый элемент, а с ним заодно и социально опасных, и из гнилых интеллигентишек пыль повытрясти. С этим все было ясно: цели ясны, задачи predeterminedены — за работу, товарищи! Список намеченных к аресту, числом 76, лежит в служебном сейфе, копия — здесь, с собой, в портфеле. Аресты начались, арестованные дают нужный материал. Может, список короток? Так это ж невелика беда, это мы раскатаем за милую душу! Один этот Степанов с железнодорожным проводником накатали под двести имен. Проводник, правда, скончался по причине перелома основания черепа — но это уж, как говорится, издержки производства: начало тяжелое, зато конец легкий. Да и справка оформлена как полагается: причина смерти — двустороннее воспаление легких. Что же еще могло там, наверху, не понравиться? Берем, как учили, помаленьку, не всех сразу, чтобы страху нагнать: сегодня тройку, завтра пятерку. В ночь должны были взять семерых, да пришлось отсрочить на двадцать четыре часа: неизвестно, что ждет у Хозяина, откуда ветер подует. Но, если все будет в порядке, завтра подберем, не потеряем.

Лаврентия Павловича Берия комиссар Габуния видел два раза в жизни: один раз на профессиональном инструктаже, а другой — на совещании партактива. Нельзя сказать, что Трофим Габуния прямо-таки мечтал о третьей встрече — он предпочитал сидеть в тени и не высываться. Его положение и должность вполне его устраивали: к высоким чинам он не тянулся, понимая,

что чем выше залезешь — тем ниже падать и расшибаться больней. А так, в тенечке сидючи — для малых большой, а для больших малый, — комиссар Габуня сполна наслаждался жизнью. Поэтому срочный вызов к страшному Хозяину поверг его в смятение и настроил на философический лад. Подсознательно готовясь к насильственной смерти, он даже вспомнил свое тифлисское детство, чучело тигра на втором этаже родительского дома, и как его, Трофима (короткие штанишки, матросская шапочка, шелковый бант на шее), учили играть на пианино. Восстановив в памяти эти картины, особенно шелковый бант, комиссар Габуня почувствовал в груди тяжесть, а в глазах — влагу. Потирая уголок глаза мизинцем, он вызвал из прошлого образ своей первой женщины, имя которой выветрилось из его памяти, зато сохранились кое-какие детали: поразившая его теплая тяжесть груди и волосы, пахнувшие почему-то ванилью... От той безымянной, а следовательно, номерной (№ 1) женщины он одним прыжком перенесся к незатейливым и вполне простым прелестям Катьки и Машки и вернулся таким образом к событиям последнего вечера: круглый зад Катьки, суконное рыло Машки, танго „Лунная ночь” в исполнении Р. Козолуповой, шифрованный вызов от Берии... Что же, что могло не понравиться там, наверху?

Прижимая к животу портфель со списком, Габуня задремал. Проснулся он от колющей боли в ушах — самолет шел на посадку.

Габуню ждали. Лощеный порученец („наш, мингрел” — с первого взгляда распознал Габуня) выскочил из машины, подкатившей к самому самолету, и распахнул дверцу. Номер машины был известен: ночные постовые вытягивались в струнку и отдавали честь. Темные улицы были пустынные, блестел окаченный водой из поливальных машин жирный асфальт. Остался

слева центральный сквер за узорной чугунной решеткой, за ним хрипло дышала река, по правую руку мерцали огни в парке над Пантеоном. Габуня никак не мог определить, куда его везут — в Большой дом или в особняк, но справляться у молчаливого, как лед, порученца считал неуместным.

Когда машина выскочила за пределы города, Габуня испугался всерьез; страх сжал его желудок стальными суставчатыми пальцами. Судорожно пытался он вспомнить, нет ли чего лишнего в его карманах, но проверить их содержимое не решался: порученец, несомненно, обратил бы на это внимание. Глядя на черный лес за окном машины, комиссар почти уже не сомневался в том, что ждет его в каком-нибудь заброшенном карьере взвод исполнителей приговора. Впрочем, эту работу может сделать и лощеный порученец — так и спокойней, и тише...

К загородному дому Берии подъехали в самый темный час ночи, перед рассветом. Начальник охраны у глухих ворот заглянул в машину и, козырнув, посторонился, давая проехать. На сердце у Габуньи отлегло, он приободрился. Он был по-человечески благодарен Хозяину за то, что тот не велел расстрелять его в карьере и готов был целовать ему за это руки и валяться в ногах. Мог ведь расстрелять — а вот не расстрелял.

Миновав ворота, машина на малой скорости поехала по широкой, освещенной фонарями аллее в глубь участка.

2

Берия спал в своем огромном кабинете, занимавшем половину второго этажа. Он спал, не сняв сапог и генеральского мундира, на мягком кожаном диване, под-

ложив под лысую голову круглую шелковую подушечку-валик. Его пенсне лежало у дивана на ковре — так, чтобы можно было не вставая дотянуться до него рукой. Он лег сразу после телефонного разговора с Сосо и проспал уже часов шесть. Сталин интересовался выпускницами балетного училища и делом „Двигательстройка”. Своими ответами Берия остался вполне доволен и спал спокойно.

За час до рассвета в кабинет, мягко ступая в своих кавказских чувяках, вошел ночной секретарь. Склонившись, но не очень низко, над Берией (Хозяин со сна имел привычку вскакивать молниеносно, и одному из нагнувшихся секретарей, нанеся ему удар головой, сломал нос), почтительным шепотом доложил:

— Комиссар Габуния с „Двигательстройка” доставлен! — и еще отстранился.

Берия дернулся, словно его ужалила змея, и вскочил на ноги. Секретарь протягивал ему пенсне с безопасного расстояния.

— Веди! — приказал Берия, проводя пухлыми белыми ладонями по лысине и по лицу.

Габуния вошел, и Берия, уже из-за стола, уставился на него изумленно — на его лысину, на его пенсне с овальными стеклышками. Если бы он не знал совершенно точно, что проснулся, он был бы уверен, что во сне к нему явился он сам, Лаврентий Берия. Габуния стоял, покорно наклонив голову.

— Ну-ну... — пробормотал он. — Ай да Габуния!

— Учимся у вождя, Лаврентий Павлович! — приятным голосом произнес Габуния.

— Как добрался? — подавляя улыбку, справился Берия. — Устал?

— Я подремал в вашем самолете, Лаврентий Павлович, — на той же ноте доложил Габуния. — Чувствую себя прекрасно.

— Хотел бы я быть полковником и дремать в чужом самолете, — теперь уже с многозначительной улыбкой сказал Берия. — А я вот работал всю ночь, — он шлепнул мягкой ладошкой по столу, — и теперь уже лечь не придется.

— Вся страна знает о вашей замечательной трудоспособности, — еще ниже наклонив голову, сообщил Габуния. — Только вы и... — он сделал выжидательную паузу.

— Ну-ну... — охотно нарушил паузу Берия. — Ну-ну, Габуния. Об этом знают только те, кому положено по званию... Принеси-ка вон оттуда, — он указал на низкий дубовый поставец в углу кабинета, — киндзмараули и боржоми. И фужеры! И можешь сесть — в грузинских ногах правды нет, как говорят наши русские братья.

Выпив и закурив, они помолчали немного.

— Ну, как там у тебя дела? — спросил наконец Берия. — Докладывай!

— Оперативная часть дела об английском резиденте закончена, — не подымая глаз, доложил Габуния. — Приступили к арестам. Поступает ценный следственный материал.

— Ты сам-то уверен в том, что этот журналистишка — резидент английской разведки? — в голосе Хозяина как будто послышалась легчайшая ирония.

— Совершенно уверен! — помедлив самую малость, дал твердый ответ Габуния. Но он сомневался, что именно такой ответ хотел получить от него Берия, и ощущение допущенной ошибки шипом вошло в его сердце.

— Товарищ Сталин, — посуровев, поднялся из-за стола Берия, — проявляет интерес к этому делу. Я доложил товарищу Сталину, что дело поручено тебе. — И вдруг, широко разинув рот, гаркнул оглушительно: — Ясно?

— Ясно, товарищ нарком! — поспешно вскочив и вытянувшись по стойке „смирно”, выпалил Габуния.

Садись пока... — разрешил Берия. — Ты нашего уполномоченного уже взял?

— Так точно! — подтвердил Габуня.

— Правильно сделал, — одобрил Берия. — Народ должен понимать, что мы и себя не жалеем, рубим собственные головы за сделанные ошибки.

— Уполномоченный Соколов показал, что англичанин его завербовал и выдал денежный аванс, — сказал Габуня.

— Ну, я думаю... — кивнул головой Берия. — Хорошо. Дальше.

— В свою очередь, — продолжал Габуня, — Соколов завербовал и втянул в разведсеть начальника „Двигательстроя” Сафонова.

— Аванс дал? — насмешливо, как показалось Габунии, щурясь под стеклышками пенсне, спросил Берия.

— Нет, — сказал Габуня. — Не дал. Но, если надо, Сафонов признается.

— Дурак, что не дал, — ухмыльнулся Берия. — Чего английские деньги жалеть, а?

— То есть он дал, — поспешно поправился Габуня. — Соколов показывает, что дал. А Сафонов запирается. Но он уже на пути к признанию.

— Я думаю... — повторил Берия. — Кто там у вас новый начальник управления? Петров? Серьезный человек, настоящий дзержинец. А кто разгласил секретные сведения, ты уже знаешь?

— Так точно! — отрапортовал Габуня и, вспомнив шелковистый зад и круглый, теплый живот жены начальника, закончил фразу не без жалости: — Абрамова!

— Баба? — удивился Берия. — Ну, ты даешь, Габуня... Молодая?

— Средних лет, — оценил Габуня. — Она вступила в преступную связь с иностранцем, он у нее заночевал.

— Творчески работаешь, комиссар! — похвалил Берия. — С огоньком! Красивая баба?

— Это как на чей вкус, — широко осклабился Габуня. — На мой — так ни в какие ворота!

— Что ж, резидент — дурной, что ли? — недоверчиво покосился Берия. — Или слепой? И откуда она вообще там взялась, эта баба?

— Жена начальника канцелярии, Лаврентий Павлович, — доложил Габуня. — Годков пять назад была, по показаниям свидетелей, весьма привлекательна. С супругом состояла в преступном сговоре.

— Он ее подложил, что ли, к англичанину? — спросил Берия. — Моральный уровень низковат...

— Так точно, низковат, — наклонил голову Габуня.

— Но, с другой стороны, не самому же ему к нему ложиться, — рассудил Берия. — По нашим данным, англичанин предпочитает баб мужикам. А ты какое мнение вынес, полковник?

— Начальник канцелярии — старик, — морща лоб, сказал Габуня. — На него даже у ишака, так сказать... не того...

— А может, резидент — сексуальный маньяк? — предложил свой вариант Берия, но потом передумал: — Нет, пожалуй, не стоит. С женщиной — это лучше. Убедительней. — И снова гаркнул, как выстрелил: — Ясно?

— Ясно, товарищ нарком! — вскочил Габуня. — Будет сделано!

— Ну, садись пока... — разрешил Берия и снова наполнил фужеры. — Я тобой доволен. Возвращайся и, давай, кончай это дело. Не тяни.

— Будет сделано! — уже по-деловому повторил Габуня.

— Но ты мне скажи, — Берия перегнулся через стол, взял Габуню за плечи, приблизил свое пенсне к его,

свою лысину — к его, — скажи, как мингрел мингрелу: писака этот — резидент? Бабу — завербовал?

— Да какой там, Лаврентий Павлович! — по-домашнему, как над шашлыком улыбнулся Габуния. С восторженным трепетом он ощущал, как руки Хозяина, сжавшие его плечи, лучатся дружелюбием и мингрельским братским доверием. — Какой там завербовал!.. Но — сделаем, все сделаем, что родина прикажет.

Берия выпустил Габунию, резко откинулся в кресло.

— Много знаешь, комиссар! — глядя в стол, сказал Берия. — Лошадь о четырех ногах — и та спотыкается!.. Ну, иди пока.

3

Обратная дорога всегда кажется короче. Сидя в самолете, Трофим Габуния не вспоминал ни шелковый бант, ни игру на пианино, не видел перед собой прелестей Катьки и Машки. Полковник с горечью думал о том, как провел его на мякине Лаврентий Павлович. Мингрельское братство! Вот тебе и мингрельское братство... От последних слов Берии пахнуло в идеально выбритое лицо Трофима Габунии смертной сыростью расстрельного подвала.

Теперь первоочередной задачей было как можно скорее арестовать Аллу Ивановну Абрамову. А вдруг она сбежала невесть куда с каким-нибудь мужиком? Или умерла от разрыва сердца? Или муж ее придушил? Ну, это-то вряд ли — она его первая придушит... На все эти мучительные, как огненная заноза, вопросы можно было получить ответ только в самом поселке „Двигательстрой“. Но если Аллочку, эту треклятую Алку, ставшую вдруг столь драгоценной, не удастся сегодня схватить — горе тебе, Трофим Габуния! С тебя с жи-

вого сдерут кожу и повесят ее на просушку на бельевую веревку! Аллочка, пошли тебе Бог месячные! Лежи себе, голубка моя, дома, в теплой постели, под атласным одеялом! Или мне — конец...

А ночью, по всем правилам, возьмем старого жида начканца. И начальника участка с иностранной женой, у которых резидент жрал айвовое варенье. Потом — весь местком: гниль, смердятина, слюни распустили. И вот еще что не забыть: поточней проверить, кто с резидентом — да-да, с резидентом, раз и навсегда! — ехал в поезде. Там еще человек пятьдесят наберется. Список на арест — расширить, сегодня же довести туда имен сто. Сто имен — это задание! И Лаврентию Павловичу каждый день посылать отчет — нет, два раза в неделю, чтоб не надоедать. Или два раза в десять дней?

Аллочка, драгоценная моя, сиди дома, сука! Я тебя в обе щежки расцелую! Ну, куда я теперь без тебя денусь, подумай сама! Куда? Полчасика еще посиди, ведь подлетаем! Ба-баюшки-баю! Поспи! На улице — ветер, простуду в три счета подцепить можно. А если выйдешь — я тебе, гнида, сам, вот этими собственными руками, все твое нутро наружу выверну! Еще минуточек двадцать пять...

Все самому надо делать, никому ничего не доверять. Вон, оглянуться не успел — а проводника уже на тот свет отправили, а какой ценный был человек! А Сафонов деньги у Соколова брал? Брал! Третью рублями, две трети — валютой, долларами! Продался, сволочь, за капиталистические деньги родную мать продал, отчизну! Местком всей группой, сколько их там есть, вербанули и в случае провала обещали вывезти в Австралию. Ясно? Секретарь партячейки пойдет по 58 статье, параграф 2, 3 и 4 „Б”. И надо кого-нибудь из рабочих, человек десять-пятнадцать, не больше: классово непроверенные, втершиеся в доверие. Сек-

ретаршу сафоновскую — это уж обязательно. На худой конец можно и Машку с Катькой подмести — за недоносительство. Или нет, не стоит. Пусть гуляют пока.

С самолета Габуня бросился к машине и, распугивая кур и поросят, помчался в поселок.

Глава одиннадцатая

АЛЛОЧКА

1

У входа в барак, сидя на глинобитной завалинке, грелась на солнышке уборщица Тимофеевна — ладная маленькая старушка с добрым лицом и руками свекольного цвета, покрытыми синими жилами. Жил было так много и они были такими выпуклыми, что по ним без труда и с удовольствием можно было изучать анатомию. Рядом с Тимофеевной сидела на завалинке, как амазонка в седле, ее костлявая подруга Дуся, лет семидесяти, неведомой принадлежности и назначения в жизни: она не работала, родственников не имела, кормилась подаванием и неизвестно, зачем и как оказалась тут, на „Двигательстрое”... Подруги, перебрав уже немало интересных тем, приступили как раз к обсуждению преждевременных, но вполне благополучных родов Шуламит. Старухи радовались этому событию, как будто это из их животов явилась на свет здоровая двойня. Объектом порицания (а в подобных разговорах кто-нибудь непременно должен быть порицаем) служил Исай, на прошлой неделе отправленный в командировку по горным аулам для подбора рабочей силы.

— Сам отец, а сам уехал! — сетовала Тимофеевна. — Ишь, очкарик какой. А она тут рожай, бедная. Стыды!

— Двояков рожать ой как чижило! — подпевала Дуся. — Ты, Тимофеевна, только вспомни...

Но вспомнить Тимофеевне, бесплодной, как бревно, не пришлось: на дорожке, ведущей к бараку, появился трудно дышащий, переходящий с шага на бег, комиссар Трофим Габуня. Пенсне его было перекошено, крупные капли пота скатывались по лбу и исчезали в бровях. Взбежав на крыльцо, он сильным ударом ноги опрокинул ведро с половой тряпкой, загоразивавшее вход в барак. Ведро с испуганным звоном поскакало по камням, грязная вода окатила подруг.

— Ишь, кобель какой! — не одобрила поведения комиссара Тимофеевна. — Только муж за порог — а этот уж тут как тут! Ишь, глаза бесстыжие — а еще ордена надел. Хоть бы людей постыдил! А эта сучка тоже хороша: как колидор мыть — так это нет, а как под мужика — так это на здоровычко!

— А что в ей есть? — обтряхая воду, мстительно заметила костлявая Дуся. — Одна мяса! А больше и нету ничего...

— Сучка не захочет — кобель не вскочит, — сдвинув бровки, сослалась на народную мудрость Тимофеевна. — На каждый сучок есть свой сверчок... Ишь, ведро-то наподдал! Я вот Давыду-то Наумычу все расскажу — он ей всю харю раскровенит!

Тем временем комиссар Габуня тяжело молотил кулаком в дверь начканцевой квартиры. Из соседних дверей выглядывали любопытные и испуганные люди.

— Кто там? — раздался заспанный и недовольный голос Аллы Ивановны. — Давид? С ума, что ли, сошел?

— Я это, я! — чувствуя, как вмиг свернулось, осело напряжение минувшей ночи, радостно закричал Габуня. — Трофим! Открывай!

Дверь немедленно отворилась, и комиссар ввалился в комнату.

— Это ты! — повисая на нем, прошептала Алла Ивановна. — Какой милый!

Поддерживая теплую, пахнущую постелью и сном Аллу Ивановну, Габуня был почти счастлив. Здесь! Она здесь! Не сбежала, не сдохла, никем не убита! Все будет хорошо!

А бегающие пальцы Аллы Ивановна уже расстегивали пуговицы на его гимнастерке, распускали поясной ремень.

— Ты смелый! — шептала Алла Ивановна, приятно возясь над шелковыми кальсонами комиссара. — Ты герой! Запри дверь!

„Ну, что ж! — подумал Габуня. — Полчасика можно и отдохнуть. Я заслужил, мне полагается”.

Напряжение ничуть не сказалось, Трофим Габуня остался доволен собой. Лежа рядом с Аллочкой и рассеянно разглядывая ее обнаженное тело, комиссар добрался взглядом до ее аккуратного, как мишень, притонувшего в складках жира пупка — и тут в голову ему пришла удивительная мысль:

— Алка! — приподнявшись на локте, торжественно сказал комиссар Габуня. — Ты же — пуп, пуп всего этого дела! Ты в историю войдешь!

— Пупок у меня очень красивый, — признала Алла Ивановна. — Мне уже об этом говорили...

Ревность была чужда комиссару Габуня, как буржуазный пережиток. Получив свое, он готов был побратски поделиться достатком с хорошим человеком. Поэтому он пропустил замечание Алочки мимо ушей. Меж тем Аллочка, приняв комплимент Трофима за прямое поощрение, снова потянулась к нему. Взглянув на часы, он вздохнул, отодвинул женщину и, сбросив ноги с кровати, потянулся за одеждой.

— Пора ехать, — сказал Габуня. — Дело есть дело... Собирайся, ты со мной поедешь!

Все вы такие, мужчины! — послушно подымаясь, сказала Алла Ивановна беспечальным тоном. — Вам лишь бы свое удовольствие получить — и все! А что вам полный обед из трех блюд — нам, женщинам, только закуска.

Подталкивая Аллу Ивановну перед собою по коридору, Габуня дивился верности и образности ее замечания: умная баба, ничего не скажешь! Такая и должна была продать военную тайну проклятому резиденту...

Уже у самой машины он решил прибегнуть к оперативной хитрости.

— Ты езжай, а я сейчас приеду, — сказал он Алле Ивановне. — У меня тут еще одно дело есть... А в двенадцать, — он озабоченно взглянул на часы, — мы с тобой в Сочи полетим, в море покататься.

И наклонясь к шоферу, шепнул:

— К Петрову ее, в управление! — а потом, распрямясь и улыбаясь добродушно, добавил: — Ты мне за нее головой отвечаешь!

Он долго еще прощально махал рукой Алле Ивановне в заднем окне автомобиля — пока машина, в клубах пыли, не исчезла за поворотом дороги и не скрылась из виду.

2

— Самому, все самому надо делать! — с лучезарной улыбкой шагая по улицам поселка, размышлял Габуня. — Никому ничего нельзя доверять! Ну, кто бы еще так отлично справился с этой курвой Алкой?

Он направлялся в местком. Дальнейшая судьба Аллы Ивановны его не занимала ничуть, как будто это не он,

а другой какой-нибудь комиссар Габуня отправил ее только что к Петрову, в „Серый дом”. С Аллой Ивановой было покончено, она уже принадлежала другому миру. Но последний час, проведенный в мире этом, был, несомненно, приятен и для Трофима, и для Алочки, и каждый из них должен был сохранить об этом часе самые лучшие воспоминания.

Поставив таким образом точку, Трофим Габуня целиком посвятил себя следующему объекту — местному. Здесь следовало действовать иначе, совсем другими средствами: ведь предместкома Ханукаев вряд ли станет вешаться к нему, Габунии, на грудь, сдирать с него кальсоны и тащить в постель. Да и отправлять месткомовцев сегодня же в управление комиссар Габуня не собирался: не их очередь, пусть походят пока...

В месткоме Ханукаев с Мишиевым, сидя за обшарпанным столом, пили сладкий чай из эмалированных кружек. При появлении Габунии оба стремительно вскочили, как будто в сиденьях их табуреток были скрыты стальные пружины, которые комиссар, пересекая порог, освободил.

— Садитесь пока... — оглядывая комнату, позволил Габуня и сделал разрешающий жест рукой. — Нет-нет! — рукою же отвел он протянутую ему кружку с чаем. — Это лишнее... Пришел, так сказать, познакомиться — пора, пора. Фамилия? Ханукаев? А ваша? Мишиев? Что ж, неплохо, неплохо... Общественная работа, говорите, на высоком уровне? С чем и поздравляю.

— Есть отдельные недостатки, — стреляя глазами, вставил Ханукаев. — Работник канцелярии Владимир Береговой, к примеру сказать, уличен в нетоварищеском отношении к женщине.

— Вот негодяй! — возмутился Габуня. — Как же это вы его терпите в своих рядах?

— А у него блат есть, — сказал Мишиев. — Рука то есть.

— Чья ж рука? — заинтересовался комиссар.

— Начканца Абрамова Давида Наумовича, — донес Мишиев. — Он этому Володе левую работу дает, а этот Володя антисоветские анекдоты рассказывает.

— Вот как... — задумчиво произнес комиссар. — Ну? Еще?

— Еще Шаулов Исай, тоже из канцелярии, — сказал Ханукаев. — Он как раз вместе с этим иностранцем приехал.

— С каким иностранцем? — напрягся, как собака над дичью, Габуня и тяжело, страшно уставился на Ханукаева.

Предместкома побледнел и, проклиная свою ретивость, продолжал языком заплетающимся:

— Ну, с этим... Который приехал... Писатель, что ли... Я сам его почти не видал... А Шаулов с ним ехал, и эта... ну, жена его, Шуламит.

Отодвинув кружки и огрызки лепешек, комиссар Габуня сел наконец за стол.

— Они, значит, вместе приехали? — вкрадчиво спросил Габуня. — В одном вагоне? Ну! — рывкнул он и грохнул кулаком по столу.

— В одном, в одном! — зачастил Мишиев. — Мне Исай этот сам рассказывал. Он, значит, едет и видит, знает, — иностранец этот... Вот так было дело.

Габуня удовлетворенно сощурился, и этот жест не ускользнул от Ханукаева, не сводящего глаз с начальства.

— Он мне тоже говорил! — решительно подтвердил Ханукаев. — Такой, говорит, замечательный старичок и это... как его... тилигент! Вот-вот, так и сказал. Я уж хотел письмо писать куда следует — вот, ручку достал! — и, пошарив в пыльном ящичке стола, он достал оттуда ученическую ручку с погнутым пером и тетрадный листок в клеточку.

— С вами еще поговорят, — задумчиво почесывая мочку уха, сказал Габуня. — Еще потолкуют... А пока что давайте-ка мне подписки о невыезде! Ну! — рывкнул он, наливаясь бурой кровью. — И паспорта давайте, давайте. Кто у вас тут еще в месткоме? — он подтолкнул к Ханукаеву тетрадный листок. — Пиши полный список! И подписывайся за всех!

— У меня жена! — тихонько подвывая, сказал Мишев. — У меня порок сердца, товарищ генерал!

— Пить надо меньше, — мирно посоветовал Габуня. — А закусывать — больше: обед в три блюда, — и, покачав головой, усмехнулся.

3

У начальника канцелярии детей, увы, не было. Он и прежде горевал об этом. Жена дурью маялась, глазами по сторонам зыркала, ну и допрыгалась — потому что руки свободны были. Укорял он супругу мягко, но она отвечала жестко: в нем одном и причина, она женщина молодая, здоровая, он же — стар и молчал бы уж лучше. Знал начальник одно средство, известное еще дедам и прадедам, как помочь такому горю. Пояс был на этот случай особый, повязавшись которым, шел прежде еврей в синагогу и молил у Бога одного только: Господи, пошли мне здорового сына, чтоб я мог продолжить мой род во славу Твою. И помогало. Да пойдя вот попробуй начканц в синагогу нынче — завтра местком с парткомом вой подымут: классово несознательный, религиозный дурман, опиум для народа... Вычистят и из партии, и с работы... Да и то сказать: по нынешнему смутному времени без детишек, с другой стороны, спокойнее... Сирот по детприемникам и без них много мыкается... А то растут, да слушают, да на ус мотают, и по

малолетству где ни то брякнут чего не надо — а родителя за ушко да на красное солнышко. Посреди этих мыслей, невеселых и уже привычных, в дверь уверенно постучали.

Давида Наумовича Габуня решил доставить в управление самолично, а заодно и Петрова подстегнуть: нечего тянуть резину! Задержание начканца, преступно связанного с супругой, прошло вполне благополучно: Абрамов с готовностью поднялся из-за стола в своей комнате, памятной Габунии по этому утру, отодвинул тарелку с холодной пшенной кашей, вытащил салфетку из-за ворота и осведомился вежливо:

— Вещи брат, гражданин начальник?

— Бери! — разрешил Габуня. — А что у тебя там?

Открыв деревянный чемоданчик с висячим замком и заглядывая внутрь, начканец перечислил:

— Две смены белья, ложка алюминиевая, кружка эмалированная, курища жареная... Зубная щетка, зубной порошок...

— Порошок нельзя, — сказал Габуня. — Перебьешься как-нибудь.

— Так я оставлю, — немедля согласился с ограничением Давид Наумович. — А иголку можно?

— Маленький ты, что ли? — нахмурился Габуня. — Иголку... Может, ты еще вилку хочешь? Или нож? — он оборотился к сопровождающему: — Приступай к обыску. И материалы сегодня же ночью доставь мне в управление. Действуй!

Не успели выехать из поселка, как зарядил дождь — плотный, холодный. Дворники через силу разгоняли воду с переднего стекла, но шофер, знавший дорогу наизусть, гнал вовсю. Ночь облепила машину своей черной, липкой глиной. Свет фар с трудом пробивал плотную пелену дождя и рассеивался в нескольких метрах от бампера.

— Не гони! — недовольно указал шоферу Габуня. — На пожар, что ли, едешь!

— Дорога пустая, товарищ комиссар! — обнадежил шофер. — В такую погоду ишак — и то дома сидит.

На втором километре дороги, метров ста недоезжая домика поселкового врача, машина на полном ходу врезалась в каменную глыбу, смытую водой с плеча горы и выкатившуюся на дорожное полотно, и со скрежетом остановилась. Габуня, сидевший рядом с водителем, вышиб головой лобовое стекло и теперь стонал, чувствуя осколки в лысой коже черепа и стекающие за воротник струйки крови. Арестованный несильно ударился грудью о спинку переднего сиденья, шофер остался невредим.

— Вот те и раз! — повторял шофер, со страхом глядя на окровавленного комиссара. — Ну и ну! От ведь ядрена бабка!.. Прямо в лоб!

— Тут врач рядом, — потирая ушибленную грудь, сказал Давид Наумович. — Вот, где огонек... Машина не идет?

— Куды идет-та! — окрысился водитель. — Не видишь, что ли! Идет! Молчи давай, тебе говорить не положено... Где, говоришь, врач-та?

Давид Наумович указал молча.

— Пошли давай! — решил шофер. — Держи товарища комиссара!

Вдвоем они дотащили качающегося, как бык после удара молотком по лбу, чекиста до докторского домика.

— Сажай его! — прикрикнул шофер. — И давай стучи сильней!

На стук вышел врач — сухопарый старик, высланный сюда из Петербурга вскоре после революции и живший здесь с тех пор безвыездно.

— Давид Наумович! — узнал врач. — Что случилось? Что с вами?

— Машина сломалась, Модест Степанович, — объяснил Абрамов. — Авария. — Он замялся на миг. — Гость вот наш... ранен. Простите за беспокойство, Бога ради.

— Где раненый? — справился врач.

— Сидит вот, — доложил шофер, стоявший около комиссара на страже.

— Помогите поднять его, — сказал врач. — Вот сюда, по коридору. Сюда, сюда, в кабинет!

Габунью уложили на высокую деревянную лавку, выкрашенную белой масляной краской. Он перестал стонать, открыл глаза и поглядел на склонившегося над ним врача.

— Ничего страшного, — вытирая кровь марлевым тампоном, сказал Модест Степанович. — Поверхностные порезы. Положите-ка голову на валик. Вот так, вот так, батенька!

Открыв дверцы белого металлического шкафчика, Модест Степанович зазвенел блестящими щипчиками, ножичками, пинцетами.

— Работы на пятнадцать минут, — приговаривал врач, осматривая инструменты. — А завтра рекомендую вам полежать. Компрессы, легкая пища, ничего спиртного. В случае головокружения и тошноты вызовите меня... Ну, приготовьтесь, сейчас будет немного неприятно!

Модест Степанович был опытный, старый врач, знакомый с душой человека не хуже, чем с его телом. Отвлечь внимание больного от его боли, от его страха — в этом, по убеждению Модеста Степановича, состояло искусство врача. Все остальное было ремеслом, доступным каждому.

— Я, видите ли, батенька, петербуржец, — рокотал своим низким, приятным голосом Модест Степанович, — из семьи потомственных медиков. Бывший буржуй, так

сказать. Однако меня с юных лет привлекали народники, эти благородные молодые люди, посвятившие себя борьбе за просвещение народное. Великая задача — образовать темный и отсталый народ, дать ему культурные знания, открыть ему глаза! Вы согласны со мной, батенька?

— Ну да! — промычал Габуня.

— Вот видите... — продолжал врач, орудуя пинцетом. — Я стал народником, из самых поздних, ушел в село, стал там практиковать. И скажу вам откровенно, не ошибся! Народ — дитя, большое дитя и при определенных условиях может стать агрессивным. Разумным, добрым словом следует воспитывать народ — и ни в коем случае не палкой, не кнутом. Кнут народ в конце концов вырвет из рук палача, обернет его против гонителя... Ну, вот, еще немного потерпите — и все!

Габуня, прикрыв веки, слушал цепко. Ишь ты какой — добрым словом! Кнут вырвет! Кнут можно вырвать только у слюнтяя и дурака. А тому, кто хочет вырвать — у того надо руку рубить, пока он ее еще не поднял. Опасный старик, хотя костоправ, как видно, умелый!

— Ну, вот, сейчас заклеим ваши порезы, и можете ехать с Богом, — накладывая повязку, сказал Модест Степанович. — Вы держались молодцом, честь и хвала.

— Машина-то сломалась, — скучным голосом сказал шофер. — Ни туды, ни сюды.

— А вы в поселок? — спросил врач.

— В город, — сползая со скамейки, сказал Габуня. — Нам срочно необходимо в город. У вас тут телефона нет?

— Нет, — сказал врач. — У меня есть одноконная коляска, с закрытым верхом — я в ней езжу на вызовы, но я вас никак, к сожалению, не смогу отвезти: такая ночь беспокойная, могут ко мне прийти, вот как вы.

— Да я довезу! — обрадовался шофер. — Да я ведь раньше кучером был, а потом уже стал шофером.

— Позвольте фамилию записать, — вынимая блокнот, подошел к врачу Габуня. — Для вынесения благодарности.

Покачиваясь в рессорной коляске и слушая шелест дождя о кожаный верх, Габуня думал о том, что ему сегодня снова здорово повезло: старый народник окажется очень кстати на шпионском процессе.

Глава двенадцатая

УРОЧИЩЕ ГАБДАНО

1

Исаю долго собираться в командировку не пришлось: в старый, потертый портфель, купленный по случаю на толкучке, уместилось все необходимое.

— Будь осторожен! — повторяла Шуламит, сложив руки на круглом животе. — Не пей холодной воды — у тебя горло слабое!

— Это я-то должен быть осторожен? — весело ухмылялся Исай. — Ты береги себя, родная! Итак, первое: смотри под ноги, чтоб не споткнуться и не упасть. Второе: не переутомляйся. Третье: не ешь острого. Четвертое...

— Обо мне не беспокойся, — прерывала его Шуламит. — То есть, конечно, беспокойся — но в меру.

— Значит, все-таки беспокоиться? — переспрашивал Исай. — Ну, слава Богу: можно... Ты себе даже не представляешь, как я не хочу ехать в эту проклятую командировку, сейчас!.. Ты сегодня с утра, по-моему, такая бледная!

Перед тем как выйти из дому, Исай подошел к жене, обнял ее с осторожностью.

— Слушай, Шуламит, — сказал он. — Я, конечно, вернусь дней через десять — но в горах, ты сама знаешь,

всяко случается... Так вот, если я там застряну, или что другое — запомни: мальчика назови Израиль, девочку — Яффа.

— Да что с тобой? — вскинулась Шуламит. — Ты что говоришь такое?

— „Закрывая за собой дверь родного дома, человек становится частицей иного мира” — этой поговорке две тысячи лет, — торжественно сказал Исай. — Надо все предусмотреть, любимая, — нас ведь уже не двое, нас почти трое.

— Кто придумал такую страшную поговорку? — неотрывно, как при последнем прощании, глядя на мужа, спросила Шуламит.

— Это не страшная поговорка, это мудрая поговорка, — покачиваясь, как на молитве, сказал Исай. — Ее придумали наши предки, Шуламит, после разрушения Второго храма... А мудрость — она всегда страшная. Страшная и светлая.

Вечер застал Исая в дороге. Он решил добраться до конечной точки своего маршрута — до высокогорного урочища Габдано — и, спускаясь оттуда к морю, выполнить порученное ему дело: обследовать горные аулы — источники рабочей силы для строительства.

Путь до Габдано был дальний: на поезде, на попутных машинах, на лошади. Вид осенних гор радовал сердце Исая, зеленые, красные и желтые рощицы на склонах горели, словно разноцветные электрические лампочки. Прохладное небо висело над миром, как гигантский стеклянный купол. Одиночество высокогорья было наполнено птичьим гомоном. Поднимаясь все выше в горы, Исай как бы приближался к Богу. Как-то раз, глядя с перевала вниз, в туманный провал, он поймал себя на мысли, что Шуламит осталась в ином, сутолочном мире. Хорошо бы жить с ней здесь, на пе-

ревале, в простой каменной хижине, и никогда не спускаться вниз!

Урочище Габдано открылось из узкой, как горло, долины: отары овец, ледяной прозрачный ручей, аул на отроге горы. В центре аула высилась древняя боевая башня, служившая когда-то для наблюдения за окрестностями, за лихими вооруженными людьми, неведомо что ищущими в чужих краях. Рядом с башней располагалась приземистая квадратная мечеть с подновленным куполом и со светлой спицей минарета. Высокий, тоскливый голос муэдзина достиг слуха Исай: ревнитель Божий сзывал правоверных на вечернюю молитву.

„Пойду в мечеть, — решил Исай. — Там сейчас все соберутся — от мала до велика. Ведь не таскаться же мне из дома в дом, как мелочному торговцу!”

По обуви, аккуратно составленной у входа в мечеть, можно было судить о том, что жители урочища вовсе не знакомы с достижениями современной обувной промышленности: среди десятков пар обуви Исай не увидел ни одной фабричного производства. Скинув свои латаные-перелатанные американские мокроступы, выглядевшие здесь как экзотический попугай среди ворон и галок, Исай вошел в мечеть. Его сразу заметили, но, как и положено, виду не подали: придет время, и гость, быть может, сам расскажет, кто он, откуда и зачем пожаловал. А может, подкрепившись и поблагодарив хозяев, пойдет себе дальше своей дорогой...

После окончания службы Исай, согласно традиции, первым делом подошел к молле.

— Аллах не зря разделил день на три части, — сказал молла, пристально оглядев пришельца. — Срединный день хорош для работы, утро — для подготовки к ней, а вечер — для отдыха. Сейчас пойдешь отдохни в саклю моего сына Абд-эль-Азиза — борозды твоего лба впита-

ли прах дней, — а завтра мы поговорим о том, чем мы можем одарить тебя, путник, перед твоей дальнейшей дорогой.

Поспевая за шибко шагавшим в гору плечистым Абд-эль-Азизом, Исай отдавал должное ораторскому умению его отца: ни словом не выказав своего любопытства, он тем не менее дал Исаю понять, что его длительное присутствие здесь нежелательно и что завтра ему придется ответить на множество вопросов. Впрочем, ведь для этого он сюда и пришел.

2

Уборщица Тимофеевна первой узнала, что пришло время Шуламит — грозное бабье время родов. Именно к ней, к Тимофеевне, в ее угольную кладовку в углу барака, приспособленную под человеческое жилье, постучалась Шуламит поздним ночным часом.

— Батюшки-светы, отцы крестители! — вскинулась Тимофеевна со своего топчана. — Рожает девушка!

Прекрасна солидарность женщин в извечном родильном труде. Красива и бескорытна их строгая работа во имя незнакомца — нового человека, приходящего в мир... Тимофеевна сломя голову побежала в контору, подняла на ноги сонное начальство, насмерть перепуганное громким ночным стуком, и добыла пожарную бричку с кучером. На этой бричке Шуламит и была доставлена в родильное отделение горбольницы и, четыре часа спустя, благополучно родила двойню: Израиля и Яффу. Нарекая детей именами, она благодарно думала об Исае, о его мудрой, страшной и светлой предусмотрительности, и желала ему удачи в его деле, и молила Бога о его скорейшем возвращении.

А о нем не было ни слуху ни духу.

Назавтра после родов Шуламит получила букет полевых цветов и записку: „Поздравляем, любим, завидуем. Выгляни в окошко. Бессонов. Иосиф”. Против имени „Иосиф” художник нарисовал две смеющиеся детские рожицы, выполненные в реалистической манере.

Койка Шуламит стояла у окна. Подняв голову, она увидела геолога и художника — преувеличенно радостных, как и положено в таких случаях, деятельно смеющихся.

— Придем встречать! — рупором приставив ладони к стеклу, кричал Иосиф. — С Исаем! — И угадав по движению слабых губ Шуламит вопрос, ответил: — Нет, не вернулся еще!

Лежа в бездействии, с непривычно опавшим животом, Шуламит неотрывно думала об Исае. Где он? Что сейчас делает? Чувствует ли седьмым, сто седьмым чувством, что стал отцом Израиля и Яффы? „Закрывая за собой дверь родного дома, человек становится частицей иного мира”. Какие страшные, ледяные, душу ледящие слова! Как счастлив и высок должен быть тот, кто принимает их спокойно и податливо, как земля — саженец! А в душе Шуламит слова эти звучали тревожно и грозно.

После дневной расслабленной дремоты ночной сон не шел к Шуламит, мысли ее были еще горше, еще черней. „Вот, уехал, — твердила она, теребя ворот больничной рубахи. — А я тут теперь одна, никого у меня нет. Ко всем мужья приходят, а ко мне — люди добрые... Боже, почему Ты такое делаешь со мной?” Она все чаще, до самого рассвета, обращалась к Нему — не с просьбами, не с благодарностью — а с укором.

А утром — оттаивала, отогревалась. „С ума сошла, — корила она себя, девчонка психованная! Будешь психовать — молоко испортится... Ну, откуда он мог знать

точно, когда это произойдет, если сама ты запуталась? Вот ты и виновата, а он — все равно самый лучший, самый любимый в мире. И как же можешь ты говорить, Бога гневить: одна. Ты не одна, ты с детьми, с нашими детьми... Но Исай, Исай, возвращайся скорей, ради Бога!"

А Исай все не возвращался.

И пришел день выписки.

Она загадала: „Выйду — а Исай стоит, ждет!"

Не загадывай, человек, не искушай себя. Не властен ты над минутой ненаступившей, над мигом неприяшедшим. Не гадай! Ты ошибешься, заблудишься и разочуешь на Бога — а Он при чем тут? Он дал тебе свободу думать, и свободу ошибаться Он тебе дал. Свобода — от Него, а ошибки — от тебя. Не загадывай!

На больничном дворе стоял у пожарной брички Иосиф. Художник смотрел угасше, не смеялся, не говорил: „Ах, какие чудные, ну, скажи, как это ты умудрилась?"

— Что с Исаем? — вскрикнула Шуламит.

— Ничего, — чуть заметно пожал плечами Иосиф. — Не вернулся еще.

Тогда она спросила, уже более спокойно:

— Что случилось?

— Бессонова забрали, — сказал Иосиф. — Сегодня ночью.

— Но за что? — шепотом воскликнула Шуламит.

Иосиф взглянул на нее иронически и грустно, а потом сказал:

— Они узнают, что это он меня сюда вызвал, и меня тоже заберут. Шуламит, я уезжаю, бегу. Я просто не могу сидеть и ждать, когда они придут! Я чувствую, что с ума сойду.

— Но куда ты убежишь? — спросила Шуламит. — Они ведь найдут, поймают!

— В Палестину! — чуть слышно выдохнул Иосиф. — У меня там родня, в Иерусалиме. А у какого еврея нет родни в Иерусалиме?

— Но как ты дойдешь? — глядя на него во все глаза, сказала Шуламит. — Ведь граница...

— Еврей идет в Палестину, когда ему плохо, — не слыша ее, продолжал Иосиф. — Когда ему хорошо, он сидит в гостях и думает, что он — пуп земли... А куда мы еще можем идти, скажи, Шуламит? К черту? В могилу? Куда? В Палестине тоже не сладко, будь спокойна, у меня есть оттуда письмо, я знаю. Но там меня хотя бы не посадят, там я смогу подохнуть, как нравится мне, а не как нравится гоям... Я провожу тебя до поселка, Шуламит, и пойду на станцию.

— Ты боишься возвращаться в поселок? — спросила Шуламит. — Думаешь, это так опасно?

— Боюсь, — кивнул головой Иосиф. — Каждую ночь хватают людей и везут в „Серый дом“. А ты сидишь как дурак и надеешься, что сегодня возьмут не тебя, а соседа. А завтра? Я боюсь, Шуламит. Я пойду. В пути я не буду так бояться.

— А кто у тебя в Палестине? — спросила Шуламит.

— Какая разница! — взмахнул руками, как птица крыльями, Иосиф. — В Иерусалиме есть целый район горских евреев. Кто они мне — то они и тебе, и Исаю... Ну, поехали, я хочу поспеть на дневной поезд.

В дороге они молчали, только раз спросила Шуламит:

— Ты напишешь, Иосиф?

— Напишу? — переспросил художник и улыбнулся впервые. — Откуда? Куда?.. Ах, Шуламит, дай мне Бог написать, а тебе получить мое письмо!

Он соскочил с брочки у домика доктора Модеста Степановича, и Шуламит, оглянувшись на детей, лежавших на тюфячке из мягкой овечьей шерсти, взяла вожжи.

— Доктора тоже забрали, — мертвым голосом сказал Иосиф. — Ну, прощай, Шуламит! Будь счастлива, если сможешь!

— Прощай, Иосиф! — тихо, как у открытой могилы, сказала Шуламит. — До свидания!

У барака Шуламит встретила уборщица Тимофеевна, захопотала, как насадка над цыплятами. Прекрасна солидарность женщин в извечном родильном труде, во имя незнакомца — нового человека, приходящего в мир.

3

Утро выдалось прохладным и чистым, как тонкостенный стеклянный стакан. Такие утра бывают только в горах, на высоте, осенью.

Абд-эль-Азиз принес Исаю таз и кувшин с водой и молча глядел, как он умывается. Потом так же молча поднялся и пошел, и Исай вслед за ним, к мечети.

— Ты яхуд или правоверный? — спросил не оборачиваясь Абд-эль-Азиз уже в виду мечети.

— Еврей, — сказал Исай тяжелой спине Абд-эль-Азиза.

— Ну, ничего, — неуверенно сказал Абд-эль-Азиз. — Тоже хорошо.

Молла ждал их. На шерстяном паласе, в каменном дворике мечети, чисто выметенном, стоял чайник с чаем, кувшин с холодной ручьевой водой, лежали лепешки и брусы брынзы, завернутые в листья лопуха.

Плавно и медленно поговорили о погоде, осени, овечьем приплоде.

— Нелегко здесь, должно быть, живется, — разведал Исай.

— Нелегко, — согласился молла. — Денег мало в ауле, почти нет. Не на что купить порох, дробь, соль.

— И муку, — вставил Абд-эль-Азиз. — И лук.

— Да, и это, — подтвердил молла.

— Деньги можно заработать внизу, — сказал Исай. — Мужчинам наняться сезонниками на зиму, на стройку. Работа нелегкая, но денег можно немного скопить, к лету привезти домой.

— Мы об этом слышали, — кивнул головой молла. — Но никто из наших вниз пока не ходил... Придет человек — а работы нету. Куда денешься, куда пойдешь?

— Я со стройки, — сообщил Исай. — Список хочу составить — кто готов наняться.

— У вас там, что — людей не хватает, внизу? — с усмешкой спросил молла. — Я слышал, вы и деньги даете, и кормите.

— Не хватает, — подтвердил Исай. — Одни на зиму приходят, другие — на лето. А потом вдруг глядишь — рук не хватает.

— Да... — снова покачал головой молла. — Еще я слышал, там, внизу, русские солдаты теперь живут. Они не работают, что ли? Или, может, воюют?

— Нет, не воюют, — сказал Исай. — Им по закону работать не положено. — И вдруг подумал: „А почему бы действительно не поработать им на стройке, когда с рабочей силой — прорыв?“

— Неправильный закон! — сказал молла. — Если солдат не воюет — пускай тогда работает. Что дома без толку сидеть?

— Вообще-то верно, — согласился Исай. — Но...

— Я знаю, о чем ты думаешь, — усмехнулся молла. — „Только глупец и храбрец дают советы сильным этого мира“. А ты не глупец и не храбрец... Наши люди, пожалуй, пойдут на твою стройку.

— Сколько человек пойдет? — спросил Исай, доставая блокнот.

— Погоди, куда спешишь? — сказал молла. — До зимы

есть еще время... После молитвы поговори с людьми, спроси — вот и записывай.

Мечеть была уже полна, когда они поднялись с паласа.

— Ты можешь не идти туда, яхуд, — сказал молла. — Это не обязательно. А если хочешь — заходи! Богу можно молиться в любом месте — в мечети или в вашей синагоге. Богу не мешают стены.

— Тогда я, пожалуй, здесь подожду, — решил Исая. — Или пойду поброжу немного вон там, у ручья.

Он спустился по узкой улочке и вышел к источнику, бившему из скалы. У источника, на влажной, жирной земле стояли узкогорлые глиняные кувшины. В каменном корыте конского водопоя плескалась серебряная вода. Глядя на воду, Исая уселся на каменную огородку источника.

Ему было хорошо и покойно здесь, в этом заброшенном урочище. Ему нравились люди, добывающие пищу для жизни в поте лица своего — люди, у которых не было денег для того, чтобы купить порох, соль и лук. И молчаливый Абд-эль-Азиз ему нравился, и его отец — молла, приглашающий еврея Исая в мечеть молиться общему Богу людей. Хорошо бы остаться здесь навсегда.

Вдруг он вскочил, уколотый шипом стыда: как хоть на миг мог забыть он о Шуламит? Он заглянул в горло ущелья — туда, откуда он пришел, туда, где за горами плескалось море, где ютились в затхлых бараках люди поселка, ставшего его домом. Приставив ладонь козырьком к глазам, он вглядывался с улыбкой — и увидел их.

Пятерка всадников шла рысью по ущелью, приближаясь. Исая мог уже разглядеть солдатские форменные мундиры, фуражки, оружие. Это было красиво — целеустремленное движение пятерых всадников, с запасным конем в поводу.

Они подскакали к источнику, и командир отряда, лейтенант, оглядев городскую одежду Исяя, спросил, не сходя с коня:

— Шаулов Исая? Взять его!

Трое солдат соскочили на землю, схватили Исяя, скрутили ему руки за спиной. Потом посадили на запасную лошадь, и лейтенант взял повод. И поскакал отряд прочь из урочища Габдано — вниз, к морю.

Покачивая головой, глядел молла с порога своей мечети, как уходили из его аула люди, не воюющие и не работающие.

Глава тринадцатая

В ГОРОДЕ

1

После арестов, прокатившихся над городом, Дербент поник, как собака после побоев. Меньше людей разгуливало без дела по улицам — горожане предпочитали сидеть дома, под тремя замками и четырьмя засовами. Никто не тешил себя мыслью, что засовы эти и замки — препятствие для агентов НКВД, по ночам врывающихся в дома. И все же на улицах было еще страшнее, еще опасней: родные стены берегли, грели даже в зимнюю стужу, в вихревой ветер.

На улицах вчерашние знакомцы и приятели обходили жен и детей арестованных, переходили на другую сторону: береженого Бог бережет. И несчастные жены понимали, не обижались, шли своей невеселой дорогой, опустив глаза, как прокаженные: подойдет вчерашний знакомец, скажет два-три ничего не значащих слова — и заберут его ночью, потащат в „Серый дом”, на расправу.

Сидели люди по своим углам, считали ночные часы, ночные минуты. И праздничные вечеринки, хмельные пиры перестали устраивать: под хмельком человек становится разговорчивым, а это опасно по нынешним временам. Под хмельком человек говорит что думает —

а и у стен есть уши, не только у стукачей. И вот пьет такой откровенный говорун на пиру — а похмеляется собственной кровью в „Сером доме”... Нет-нет, не до веселья нынче, не до праздников! Лучше дома сидеть с женой, разговаривать на темы нейтральные: о хорошей погоде, о высоких урожаях да о поганных капиталистах, сосущих кровь своих народов. А лучше того тихо сидеть, ни о чем не говорить: так уж наверняка не ошибься.

Зима в Дербенте выдалась сухая, морозная. Снежная пыль смерзлась в ледяную корку, холодным хрусталем обтянувшую карнизы домов, заборы, тротуары. Редкие прохожие двигались медленно, сторожко. Ругать, однако, городские власти за обледенелые скользкие тротуары опасались: как бы чего из такой критики не вышло...

После ареста Исая Шуламит вернулась в Дербент, к тетке. Лиза приняла племянницу молча, без слез и причитаний: перепеленала близняшек, поставила на примус кастрюльку — варить манную кашу. Потом подошла к Шуламит, немо сидящей на девичьей своей тахте, опустилась рядом с ней, обняла за плечи — и долго так сидели женщины в густеющих сумерках, плечом к плечу. Что было рассказывать? Как ездила с Исаем в горный аул, как очутились на чужой, но как бы и своей собственной свадьбе? Как пел мальчик, летя в облаках, на вершине живой пирамиды? От этих рассказов сердце бы истекло кровью, разорвалось.

Об Исае известно было только, что получил он пятнадцать лет лагерей, а куда его отправили, куда увезли — то было неизвестно: справками такого рода НКВД не баловал. Да и спросить было не у кого: либо окошечко справочной с треском хлопывалось перед твоим носом, либо отталкивали тебя товарки, длинным и страшным хвостом стоявшие за твоей спиной — со

своими вопросами, со своей болью. Оставалось только ждать, ждать стиснув зубы, с утра до вечера, с вечера до утра, неделю за неделей, месяц за месяцем. Да ходить в справочную, стоять там часами в очереди, чтобы услышать слышанное уже не раз: „Пятнадцать лет. Адрес неизвестен... Следующая!”

Слухи ползли по городу, как побеги ядовитого, сильного растения. Шептались, прикрыв рты ладонями, о всеобщей амнистии, об аресте наркома НКВД Ежова, о близкой войне. Слух о судьбе Соколова принесла Болбика — дальняя родственница с тяжелым лицом гиппопотама, с глазками, похожими на изюминки, утонувшие в тесте.

— Расстреляли Соколова! — шепотом сообщила Гиппопотамша, с шумом прихлебывая чай и посасывая сахарок. — Он, оказывается, шпиен был. Сам признался. И доллары у него нашли, мешок целый. А золотые монеты, царские, очень хорошие, он в горшке со щами держал: наверху капуста и мясо, а внизу, на дне, — монеты.

— Щи-то менял или нет? — грустно усмехнувшись, спросила Лиза.

— Не! — сказала Гиппопотамша. — Не менял. Жена его, Соколова, ленилась новые варить. По вони и наши. Горшок-то этот на печке стоял.

— А жена? — спросила Шуламит, вспоминая молодую красавицу в купе мягкого вагона. — Что с ней?

— Десять лет всего дали, — сообщила Гиппопотамша. — Сам начальник самый главный ее отстоял, говорят — понравилась она ему. Дело мужское, нехитрое!

Следом за Болбикой явилась сухопарая и льстивая Белла Юхананова.

— Золотые мои! — с порога прошелестела Белла. — Серебряные! Алмазные! Вот беда-то, беда какая! —

она привычно прикрыла рот ладошкой, оглянулась. — Сафонова расстреляли, начальника „Двигательстрой“! Что теперь с Исаем будет, что с Шуламит будет! Драгоценные! Что с сиротками-то теперь будет?

— Замолчи! — прикрикнула Лиза. — Ты что несешь? Какие сиротки? У них мать есть, отец есть! Может, амнистия выйдет, отпустят Исаю.

— Я и говорю, — согласилась Белла. — Дай Бог, чтоб амнистия. А Сафонов-то до амнистии не дожил. Такой большой начальник был!

— Ты-то откуда знаешь? — сухо спросила Лиза. — В газете, что ли, написали?

— Да что ты! — замахала руками Белла. — Какая там газета!.. Весь город об этом говорит.

— Договоритесь... — проворчала Лиза. — Языки распустили — укоротят языки-то ваши...

— Чайку не найдется ли у вас? — вдруг переменяла тему разговора Белла. — И медку ложечки? А то я с мороза, вся продрогла, как к вам бежала.

Лиза неохотно поплелась ставить чайник на примус.

— Вот я и говорю, — продолжала Белла. — Исаю нашего отпустить должны. Чего его там держать, в Сибири?

— В Сибири? — вскинулась Шуламит. — Откуда ты знаешь, что в Сибири?

— Да все знают, весь город! — объяснила Белла. — Всех наших, почти что триста человек, увезли в Ростов-Дон, а оттуда уже в Сибирь, в лагеря. Мне кухарка сказала, — Белла понизила голос до еле слышного шепота, — которая у Петрова служит, начальника „Серого дома“. Хочешь — иди, сама у нее спроси.

Шуламит забилась в угол своей тахты, сидела молча, думая о чем-то своем.

Полтора месяца добивалась Шуламит приема у Петрова — и наконец добилась своего. В ход пошло и обхаживание кухарки, и знакомство с врачом, лечившим грозного хозяина „Серого дома” от геморроя... Шуламит шла к Петрову с одним-единственным вопросом: где Исай? Она плохо представляла себе этот разговор — как его начать, как вести. Но она знала, что без ответа на свой вопрос она из „Серого дома” не выйдет.

Ночью перед приемом, ворочаясь на тахте, она то и дело словно бы натыкалась мыслью на черный камень: спрятать на себе нож, убить убийцу. Петров, олицетворявший всемогущую власть НКВД, был для нее самым ненавистным человеком на свете... Но потом приходили другие мысли: что тогда с Исаем, с детьми? Хватит ли у нее сил нанести удар? Выдержит ли она? К рассвету она окончательно отвергла этот план, хотя и не без тайного сожаления. И в половине девятого уже пересекала площадь перед „Серым домом”.

„Серый дом” давил площадь, давил землю, как надгробный памятник, под камнем — подвалы, карцеры, пыточные камеры. Никакой человек не гулял без дела по этой площади, не приближался без крайней нужды к мрачным глухим стенам этого здания. Площадь всегда была безлюдна и пуста, как зачумленная.

Стрелок в проходной осмотрел Шуламит внимательно и тупо, переводя взгляд с ее лица на фотографию на паспорте. Наконец, сверившись со списком, приколотым кнопкой к стене над столом, вернул паспорт и буркнул недовольно:

— Проходите! Третий этаж, по коридору налево до конца.

Ноги едва держали ее. Она шла по коридору и, поглядывая на решетки на окнах, считала гулкие удары серд-

ца: раз, два, три. Досчитав до пятнадцати, остановилась у тупиковой, обшитой коричневым дерматином двери и, постучав кулачком по мягкому, вошла.

Порученец осмотрел ее так же внимательно, как стрелок внизу. Спрятав ее паспорт в ящик стола, он скользнул в дверь, ведущую в кабинет Петрова, и, через считанные секунды вернувшись в приемную, бросил: „Ждите!“ Потом, усевшись за стол и закинув ногу за ногу, закурил и затянулся дымом, глядя в зарешеченное окно.

Она не знала, сколько времени прождала — может, час, может, четверть часа. Сидя у стены, на полированной желтой жесткой лавке, она думала о том, что ждет ее за этой страшной дверью. Думала о детях, оставшихся на руках у Лизы: увидит ли она их когда-нибудь? Ведь отсюда, из этого дома, два выхода: на волю и в тюрьму. И вставал Исай перед ее глазами — худой, заросший щетиной, в разбитых очках. Где он? Знает ли, что родились у них дети — Яффа и Израиль?

Окрик порученца как бы вырвал ее из другого мира: — Пройдите! Не слышите, что ли?!

Она потянула тяжелую дверь, вошла.

Плечистый плешивец сидел за письменным столом в глубине кабинета. На толстом стекле, сплошь покрывавшем столешницу, возвышалась чугунная фигурка Дон-Кихота: дурацкие латы, борода клинышком, меч на боку. Стена за столом была занята огромным портретом: Сталин с трубкой в руке жестко и хитро улыбался в усы.

— Ну-с! — сказал Петров, задумчиво глядя на Дон-Кихота. — Сядьте пока... Что вы хотели?

— Мой муж, Шалумов Исай, — начала Шуламит, стараясь подавить дрожь в голосе, — был арестован четыре месяца назад, в октябре. Он получил пятнадцать лет...

— Что ж это вы мне рассказываете, гражданка, — усме-

хаясь, перебил Петров и поднял наконец глаза на посетительницу. — Знаю я ваше дело, знаю. Только гуманность нашего суда спасла вашего мужа от расстрела. Гуманность нашего народного советского суда... Ясно? — вдруг гаркнул Петров и грохнул кулаками по столу, и меч закачался на боку у Дон-Кихота.

— Ясно... — пролепетала Шуламит, чувствуя, как душа ее уходит в пятки, как перед разъяренным опасным зверем.

— Вот и прекрасно... — вернулся к прежней безразлично-вежливой тональности Петров. — Ваш муж — изменник родины, пособник шпиона. На вашем месте я бы развелся с ним, строил бы жизнь с настоящим советским человеком. Процедура развода проста, здесь бы мы вам смогли помочь.

— Нет! — крикнула Шуламит. — Вы меня можете арестовать, но я с ним не разведусь!

— Можем, можем... — усмехнулся Петров, вертя в пухлых руках чугунную фигурку. — Это мы тоже можем... Да я не настаиваю — я вам, так сказать, отеческий совет дал.

— Я пришла спросить, — начала Шуламит, но Петров перебил ее:

— А скажите-ка вы мне, Ашуров Иосиф — кто такой? Знаете вы его?

— Знаю, — сказала Шуламит. — Это художник, наш приятель.

— Хороших приятелей вы выбираете, гражданка, — покачал головой Петров. — Изменник родины, контрреволюционер... С такими приятелями вы и сами можете оказаться в местах строгой изоляции... Ясно? — снова гаркнул он.

Шуламит промолчала, но Петров, казалось, и не ждал от нее никакого ответа.

— Вот и замечательно, — продолжал Петров. — Так где этот самый художник, куда он делся?

— Я не знаю, — сказала Шуламит. — Я его в последний раз видела в октябре, на „Двигательстрое“.

— Он ведь вас встречал у родильного дома, — подсказал Петров.

— Да, встречал, — подтвердила Шуламит, удивляясь, откуда это известно Петрову. — А потом он уехал, я не знаю куда.

— Так-таки и не знаете? — усомнился Петров. — Вот как, значит, дело обстоит... А я вам скажу, что этот ваш художник крутится в районе персидской границы. Мы его там поймаем, он покажет, что делился с вами планами побега за рубеж, и мы посадим вас за недоносительство. Это вам, я надеюсь, ясно.

— Но я действительно ничего не знаю, — прошептала Шуламит. — Он мне ничего не говорил.

— Ну, не говорил — и великолепно! — неизвестно чему обрадовался Петров. — Значит, разводиться вы не желаете, не хотите послушать отеческого совета. А жаль! Такой несознательной матери, как вы, нельзя доверить воспитание наших советских детей. И не удивляйтесь, если детишек у вас заберут и поместят в наш спецдетприемник. Мы из них вырастим настоящих советских патриотов, строителей коммунизма, уж будьте спокойны!

Шуламит почувствовала, как ледяной, могильный холод разливается по ее телу — от ног вверх, к сердцу. Она захотела закричать, вскочить — и не смогла.

— Вы этого не сделаете... — еле шевеля губами, проговорила она.

— Почему же? — пожал плечами Петров. — Поглядим, как будете себя вести — и примем решение. Очень даже просто. В рамках закона, разумеется. Общество должно

заботиться о своей смене. Из гуманных соображений. Вы со мной согласны?

— Где Исай? — выдохнула Шуламит. — Скажите мне, ради Бога: где Исай?

— Да где ж ему быть... — развел руками Петров, но закончить не успел: дверь отворилась без стука, в кабинет вошел Трофим Габуня.

— Вот это сюрприз! — живенько поднялся из-за стола Петров, и по его улыбке нельзя было определить, рад ли он приходу Габунии или не рад. — Какими судьбами в наше захолустье? А я вот с гражданкой Шалумовой толкую, это по делу „Двигательстроля”.

— Хорошо делаешь, очень хорошо делаешь! — кивал головой Габуня. — После разоблачения Ежова нам надо проявлять вдвое больше гуманности, надо беседовать с людьми, разъяснять с марксистских позиций...

Петров коротко, вопросительно взглянул на Габунью: всерьез ли, в шутку он говорит? Выглядело, однако, что всерьез.

— Конечно, конечно! — согласился Петров. — Вот мы, можно сказать, и беседуем... Что вы хотели спросить?

— Где мой муж? — повторила вопрос Шуламит.

Петров взглянул на Габунью, тот согласно кивнул головой.

— Ваш муж направлен в распоряжение Тайшетлага, — сказал Петров. — Я думаю, он еще на этапе... в дороге, я хотел сказать. В Тайшет, как вы понимаете, не на самолете летят. Приедет — объявится, напишет вам из лагеря. Человек — не иголка, у нас не потеряется!

— Где это — Тайшет? — спросила Шуламит.

— В Сибири, — дал справку Габуня. — Да вы по карте посмотрите. Не так и далеко! И климат там здоровый, замечательный климат.

— Она с Ашуровым Иосифом была в связи, — вернул-

ся к делу Петров. — С тем художником, что намьлился в Персию.

— А, да-да! — вспомнил Габуня. — Но мы его поймем. Нам весь наш советский народ поможет схватить преступника. Он от нас не уйдет!.. Но сколько женщин замешано в этом деле! — он сбоку, цепко оглядел Шуламит, как бы ощупал ее с ног до головы.

— Да, действительно, — покачал головой Петров. — Соколова, десять лет... — он улыбнулся, вспоминая, как видно, что-то приятное.

— Абрамова Алла Ивановна, — перехватив его улыбку, мечтательно улыбнулся теперь уже своим воспоминаниям Габуня. — Высшая мера наказания... Им бы дома сидеть, обед варить — а они, понимаешь, шпионажем занимаются в пользу враждебной державы!

— Да-да, — еще покивал головой Петров, — да-да... И вот гражданка Шалумова тоже не хочет с нами сотрудничать.

Он собрался гаркнуть свое громкое „ясно?“, но, заметив, что Габуня нетерпеливо взглянул на часы, передумал.

— Можете идти пока, — сказал Петров и, нажав на кнопку звонка, вызвал порученца. — Проводите гражданку.

Дождавшись, когда дверь за ними закроется, Габуня подошел к Петрову вплотную, сказал еле слышно:

— Плохо, Николай. После Ежова наших пачками берут: двадцать пять, вышка.

— Но за что?! — искренне удивился Петров.

Габуня насмешливо пожал плечами:

— Ребенок ты, что ли, Николай! За что?! Просто мы много знаем...

— Кого возьмут? — прошептал Петров на ухо Габуня. — Скажи, Трофим, ты разрядку привез?

— В том-то и дело, что нет, — сказал Габуния. — Спец-группа выехала из Москвы — брать.

— Ой, плохо! — простонал Петров. — Что ты об этом думаешь?

— Я думаю, — прищурившись, сказал Габуния, — сегодня больше всего шансов уцелеть у этого художника Ашурова.

3

В тот же день Шуламит с детьми уехала из Дербента. Угроза Петрова страшила ее больше смерти: лишат материнства, отберут Яффу и Израиля, отправят их в детский дом НКВД...

Тайшет, разложив карту на столе, искали долго. Наконец край этот обнаружила Лиза, сведущая в географии.

— Тайга, болота, — сказала Лиза, всматриваясь в карту. — Резко континентальный климат. Места пустынные... Там, я слышала, одни лагеря кругом.

— А как же почта? — взволновалась Шуламит. — Доходит? И как они оттуда пишут?

— Должна быть почта, — предположила Лиза. — Только сколько она идет — месяц, два? Тут вот, на карте, даже железная дорога не указана.

— А самолет? — спросила Шуламит и сама улыбнулась нелепости своего вопроса.

— Теперь надо сидеть, ждать, — подытожила Лиза. — Как их привезут — он письмо напишет, сообщит адрес. А с этапа ничего не сообщит: запрещено.

— А записки? — с надеждой возразила Шуламит. — Я читала: с этапа записки бросают, а вольные люди подбирают и отправляют по почте.

— Записки! — махнула рукой Лиза. — Ты все пере-

путала: это ведь при царе было. Теперь на этапе бумагу отбирают, все отбирают. И куда бросать-то, если б и нашлось? Сама ведь видала по карте — там на тысячу километров никого нет, пусто... Ты лучше так не настраивайся, а сиди и жди.

— А они детей отберут! — всхлипнула Шуламит.

— Спрятать надо детей, — сказала Лиза. — Вот подумаем, куда спрятать — и спрячем.

— Я детей не оставлю, — твердо сказала Шуламит. — Я сама с ними поеду хоть на край земли.

— На краю земли быстрее найдут, — сказала Лиза. — Чужой человек куда бы ни пришел — сразу видно издалека. Тем более ты кавказская еврейка, тебя и в темноте различат... Здесь надо отсиживаться, на Кавказе, в деревне какой-нибудь.

Но Шуламит уже знала в какой. — в той, в их, в свадебной.

С Лизой договорились так: никакой переписки, никому, даже матери Шуламит, не рассказывать, куда она уехала с детьми. Сбежала — и все! А когда придет письмо от Исаия из Тайшета, Лиза должна сама поехать к Шуламит в деревню, передать.

Сборы были недолгими. В овощную корзину поместили нехитрые пожитки, близнецов уложили в коляску таким образом, чтоб нельзя было определить со стороны, что детишек — двое; двойня всегда бросается в глаза, запоминается. Шуламит надела длинное крестьянское платье, овчинную шубейку, завернулась поверх в длинный черный платок по самые глаза. Немногие люди признали бы теперь в этой женщине красавицу Шуламит.

Редкие пассажиры — командированные служащие, военные — слонялись по деревянному перрону в ожидании вечернего поезда. Черный ветер задувал все сильней, загонял продрогших людей в обшитую фанерными щитами будку — зал ожидания, в тесный, пропахший

скисшим вином буфет... А Шуламит радовалась непогоде: меньше праздно глазающих по сторонам, меньше опасность, что заметят, узнают, запомнят. Со своей коляской и корзиной стояла она у края перрона, вглядывалась в темноту слезящимися от ледяного ветра глазами. Наконец янтарный глаз поезда желто замерцал во тьме, напоминая о дальних дорогах, будоражащем перестуке колес на стыках, о путевых мгновенных надеждах... Поднявшись в жесткий бесплацкартный вагон, Шуламит, поджав по-крестьянски ноги, уселась на пол подальше от прохода и любопытных глаз.

Поезд выбился из расписания, часто останавливался, простаивал. Шуламит дремала, прислонившись спиной к стене, опустив платок на глаза. Душа ее была почти спокойна: она выполняла свой долг — спасала детей.

От мерзлого полустанка до аула пришлось добираться на попутной арбе. Кутая детей, кутаясь в платок, Шуламит вспоминала свой путь от родильного дома в поселок: тогда была телега, в передке сидел Иосиф. Где он теперь? Жив ли? Дай Бог ему перебраться через границу, спастись. Говорят, в Палестине круглый год тепло, снега не бывает, — не то что здесь... Впервые в жизни Шуламит почувствовала неприязнь, почти ненависть к этим горам, к их ветру и снегу, ко всему этому Кавказу — чужому, случайному на еврейском пути, начавшемся там, в Палестине, где круглый год тепло, где никто не гоняет женщину с места на место, как бездомную собаку, никто не грозит отнять у нее детей. Дай Бог, чтоб Иосиф добрался до Палестины! Может, и Яффа с Израилем вырвутся когда-нибудь отсюда, из этого постылого чужого края, вернуться к истоку своего пути — домой. Когда это будет? И что к тому времени произойдет с Шуламит, с Исаем, с Лизой? Бог весть...

Аробщик, управляя волами, пронзительно посвистывал сквозь замерзшие губы. Шуламит, не дожидаясь

расспросов, неторопливо рассказала ему, что она — круглая сирота, муж уехал на заработки в Баку и там пропал, и вот теперь она с детьми на руках осталась совсем одна. В городе ей делать нечего, там и грамотная-то ничего не заработает, не то что она — неграмотная. А в ауле как-никак можно перезимовать, зарабатывая на кусок лепешки да на чашку козьего молока для детишек первой попавшейся работой — хоть по хозяйству, хоть на поле... Аробщик, не оборачиваясь, слушал и согласно кивал головой.

В ауле он подогнал арбу к своей сакле, сказал:

— Давай, живи пока у меня — куда пойдешь? Потом посмотрим... Вон, жена зерно перебирает — иди, помогай.

И начались дни работы, ночи ожидания. Зерно, початки, шерсть — какая разница? С первым ветром весны вышли на горные террасы разбивать палками, ворошить мерзлые комья земли. Какая разница, что делать, если дети сыты и в тепле, если надежда не иссякла?

Исподволь выспросила Шуламит у жены аробщика о той паре, на чьей свадьбе случайно оказалась она с Исаем. И с улыбкой, с удовольствием выслушала рассказ о том, что тогдашняя невеста — уже мать и ждет второго ребенка, что сложили они из камней новую саклю, что муж пасет овец и недавно зарезал кинжалом волка, наскочившего на отару. Шуламит даже специально ходила к источнику посмотреть на молодую — высокую и стройную, несмотря на заметную беременность, женщину с красивым лицом, хранившим выражение независимости и горделивости. Шуламит чувствовала чуть ли не родственную связь с этой женщиной, испытывала к ней тайную, робкую благодарность и легкую зависть. Она бы тоже хотела жить в новой белой сакле, и чтобы Исая зарезал кинжалом волка... Подняв на плечо тяжелый медный кувшин с водой,

женщина эта шла по тропе, плавно покачивая торсом, и Шуламит долго, с улыбкой глядела ей вслед.

В апреле полили солнечные дожди, земля покрылась зеленой замшевой шкуркой. Плодовые деревья обросли розовым и белым цветочным пухом. Шуламит работала в саду, окапывала деревья, ухаживала за саженцами. Как о далеком, почти нереальном прошлом вспоминала она о городской работе, о поселке „Двигательстрой”. Все ее прошлое занимал только Исай, все ее воспоминания были привязаны только к нему. И чем ярче, жарче светило солнце, чем пронзительней пахли цветы на деревьях — тем беспокойней спала по ночам Шуламит. Часто ей виделись холмы Палестины, и сакля, их сакля на склоне каменистого холма, и сад, разбитый ими у порога сакли.

Она загадывала: о чем думает сейчас Исай? И отвечала себе со вздохом: о ней, о Шуламит. Откуда было ей знать, что над Сибирью бесятся вьюги, что подножия сибирских сопок набиты костями заключенных, что пересыльная тюрьма Ростова-на-Дону не может пропустить весь поток эков с Кавказа и что люди замерзают насмерть в стольпинских вагонах, отогнанных на тупиковые ветки железнодорожных узлов! Что она в своем горном ауле могла знать о том, что промерзлый, негнувшийся труп Давида Наумовича Абрамова вот уже пятые сутки лежит у запертой двери „стольпина”, а Исай благодарит Бога за то, что не грянула еще весна и что тело его бывшего начальника не смердит. Разве могла она догадаться, что Исай, съев свою порцию ржавой селедки, мучится от жажды, как раненый волк, и нет никакой надежды утолить эту жажду! И что в том же вагоне бывший предместкома Ханукаев пытался

перегрызть себе вены, а Мишиев донес на него, и конвой избил неудачливого самоубийцу до полусмерти, сломав ему ногу!

Не загадывай, маленькая Шуламит, — все равно ни о чем не догадаешься.

Глава четырнадцатая
КАК В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ...

1

Маневровый паровоз подлетел резво, петушком и с ходу стукнул своими буферами в буфера красного скотского вагона с наглухо задраенными дверями-воротами. Вагон резко дернуло, судорога побежала по всему составу, состоящему из таких же точно вагонов. Железный грохот шел над рельсами, как гром небесный.

Эски в вагонах попадали на пол, как подкошенные пулеметной очередью: никто не устоял на ногах, а многих и с нар вышибло. Живая, копошащаяся из последних сил куча на полу стонала и материлась, проклинала машиниста, судьбу и охрану. А паровоз набирал скорость, выводя состав из тупика в поле, и обессиленные, еле живые от жажды и голода люди никак не могли выбраться из этой кучи-малы и подняться на ноги.

Исай упал на труп Абрамова и лежал неподвижно, прижавшись лицом к спине замороженного тела, закрыв голову руками. Он чувствовал слабые удары сверху — то люди, упавшие на него, двигались, как в замедленной киносъемке, и пытались освободиться. Не делая никаких попыток подняться хотя бы на четвереньки, Исай подумал о том, что покойный Давид

Наумович сослужил ему неплохую службу: куда хуже было бы прижиматься лицом к чудовищно грязному, залитому мочой, заплыванному дощатому полу... В сущности, Исай не имел ничего против того, чтобы вот так, лежа на трупе, забыться совершенно и наконец умереть; тогда уж, во всяком случае, не пришлось бы подыматься, не пришлось бы неотвязно мечтать о глотке воды. Кажется, их куда-то везут? Куда? Не все ли равно! Он почувствовал, как чья-то рука скользнула в его карман, но не воспротивился этому: карман был пуст. Да он и знал, кто залез: Ханукаев. После попытки самоубийства, после избиения конвоем бывший предместкома слегка тронулся умом — плакал, выпрашивал хлеб у тех, кто и вкус его уже успел позабыть. Потом вдруг принимался петь, выстукивая ритм на дощечках-лобках, наложенных на его перебитую ногу. А вчера предложил порубить второй труп — молодого парня-рабочего — на куски и сожрать сырым. Люди выслушали предложение Ханукаева молча, только Мишиев спросил:

— Чем рубить-то будешь? Пальцем, что ли?

За донос на Ханукаева, за проявленную бдительность конвой наградил Мишиева полбуханкой хлеба, и доносчик проглотил ее с такой быстротой, что никто не успел ни отнять еду, ни попросить кусочек. С того дня с Мишиевым не разговаривали, и это ничуть его не смущало. Он по-хозяйски оглядывал сотоварищей-эзков, шевелил губами, как будто каждого брал на заметку. И его вдруг стали бояться.

Исай сдружился с Исааком Давидовичем. В начале этапа они сидели часами рядом, голова к голове, и бывший начальник участка рассказывал Исаю о жизни на Западе, о Париже, о зеленых холмах Франции. Он никогда не жаловался на то, что вернулся в Россию, он принимал судьбу такой, какова она есть. Глаза на его пергаментном, заросшем клочьями седых волос лице горе-

ли черно-вишневым пламенем. Он оказался выносливей многих, многих... Только раз расслышал Исай в его голосе настоящее, бездонное горе: когда Исаак Давидович заговорил о жене, о „мадам”, осужденной за шпионаж в пользу Франции и расстрелянной.

А когда не стало сил говорить, они сидели молча, думая каждый о своем. И было в этих думах немало общего: о том клочке земли думали они, где еврей может достойно и без страха жить и с миром уйти из жизни. Родной брат Исаака Давидовича уехал в Палестину в пятом году, после погромов. После 30-го года связь между братьями прервалась — переписываться стало опасно, — но и из тех писем, что дошли до Исаака Давидовича, можно было составить довольно ясную картину жизни в Иерусалиме. И Исай глядел на эту картину глазами жадными.

— Евреи думают о Палестине только тогда, когда им очень плохо, — раскачиваясь, как раввин на молитве, говорил Исаак Давидович. — А когда им не очень плохо, они о Палестине не думают.

Лежа на трупе Абрамова, Исай прикинул, где мог оказаться Исаак Давидович в этой свалке и не задавят ли его. Сто двадцать эков понемногу расплзались по своим углам. Наконец у дверей остались только два тела — Абрамова и того рабочего паренька, умершего от воспаления легких. Отчего умер Давид Наумович, никто толком не знал: видно, от беды.

Колеса дробно постукивали на стыках, ни в ком не возбуждая ни надежды, ни простого интереса: куда vezут. Минут через пятнадцать визгливо закрипели тормоза, состав остановился. Конвой снаружи загредел замком, откатил на полметра скользящие вдоль стенки вагона ворота.

— Трупы есть? Давай! — крикнул начальник конвоя. Тела выбросили в снег, закричали в щель:

— Воды! Хлеба! Воды!

— Тих-ха! — рывкнул начальник конвоя. — Приехали! Через час сгружаем!

Это сообщение взбудоражило, взволновало. Все-таки приехали. А куда? В тюрьму? В лагерь? В тундру? В тайгу?

Приехали в Ростов-на-Дону, в пересыльную тюрьму — ключевой пункт для всех кавказских этапов.

Состав проволокли еще несколько километров, подергали, загнали на запасной путь товарной станции. Там стояло уже оцепление с собаками, ждали крытые автофургоны с надписями по бокам: „Мясо”, „Хлеб” — и нарисованы были булки и голяшки.

Ворота снова отъехали, на этот раз до упора. Послышалась команда:

— Выходи! По одному! Раз, два, три, четыре... Быстреей, быстреей!

Люди выпрыгивали из высокого вагона, падали в снег, ушибались. Упавших конвой подымал кулаками, прикладами.

— Быстреей, быстреей! Шевелись, контра!

В фургоны набивали по сорок человек, вдавливали плечами так, что хрустели кости. Спрессованная, как мармелад, человеческая масса едва могла дышать.

— ...тридцать восемь, тридцать девять, сорок! Закры-вай!

Фургоны потянулись через город, к тюрьме. В одном месте, в центре, проехали под транспарантом, натянутым над улицей: „Да здравствует И. В. Сталин — лучший друг советских кулинаров!” Шофер фургона, на котором нарисованы были опущенные жирком голяшки, — веснушчатый парень с ростовским носом-пуговкой — улыбнулся понимающе и приветственно гуднул.

Наконец фургоны перестало трясти: приехали. В тюремном дворе стояли долго, с полчаса. Стоящие впри-

тык друг к другу эски онемели, одеревенели. Кричать не было сил, стучать в стенки не было возможности. Предсмертное равнодушие овладело всеми.

— Отсюда нас будут выгаскивать баграми... — прохрипел Исаак Давидович.

Исай хотел ответить — и не смог, только глазами показал: „Да, может, и так...”

Когда открыли дверь фургона, стоявшие сзади попадали на мостовую, как доски с воза.

— Давай, давай! — командовал начальник конвоя. — Семь, восемь, девять, десять!

Заключенным велено было до поры не подыматься с земли, сидеть согнувшись, заложив руки на шею. После часа неподвижного стояния это сидение было подобно пытке. Казалось, ни у кого уже не останется сил подняться на ноги, распрямиться. Сотни людей покрыли тюремный двор, как смерзшиеся кучки навоза — деревенский выгон.

Но пришел конец и этому.

— Встать! — прозвучала команда. — Быстрей, быстрей! Строиться по четыре!

Качающуюся колонну повели во внутренний двор, к огромному бараку, похожему на ангар. В переднем помещении барака было сыро и холодно, под потолком стлался сизый туман, приглушая жидкий свет редких электрических ламп.

— Раздевайся! — последовала команда. — Вещи — в вошебойку, заключенные — в баню!

Разделись споро, быстро, с наслаждением освобождаясь от задубелого, завшивленного тряпья. Какое это счастье — встать под струю горячей воды, согреться!.. Но покамест ветер гулял по предбаннику, голые люди дрожали от холода и от нетерпения.

— Строиться по четыре! Вперед!

В бане было еще холодней, еще сырей. Полсотни ду-

шевых рожков торчали из водопроводных труб, проложенных под низким потолком. Кранов не было — воду подключали извне. Люди нетерпеливо толпились под рожками по трое, четверо. Наконец послышалось долгожданное булканье и хлынула вода — обжигающая, ледяная.

Баня вспыхнула криком, матом:

— Гады! Палачи! Сволочи!

Холодную воду перекрыли, подали кипяток. Помещение постепенно наполнилось паром, стало тепло, потом жарко. Люди молча, исступленно выталкивали друг друга из-под рожков, нороя попасть под жидкую животворную струю.

— Вот ведь звери! — недоуменно пожал плечами дежурный банщик, вошедший в зал с шайкой, наполненной крохотными брусочками хозяйственного мыла. — Звери — и больше ничего...

Жизнь медленно возвращалась к заключенным, с жизнью возвращалась надежда. Выжили, не умерли! И тепло! И можно пить, сколько хочешь! И может, дадут пайку!

— Человек ко всему может привыкнуть, — блаженно отфыркиваясь, сказал Исаак Давидович. — Только к одному не может: к морозу... Знаете, кто это сказал, Исай?

— Нет, — откликнулся Исай. — Кто?

— Амундсен. А он знал толк в этих вещах.

Мишиев, сложив руки под обвисшим животом, прохаживался по залу, шевелил губами. На него смотрели со злобой, с угрозой.

— Соблюдайте порядок, граждане, — поучал Мишиев. — Мойтесь чище.

В него плеснули кипятком, он отскочил ругаясь.

— В старое доброе время такие люди на каторге долго

не жили, — кивнув на Мишиева, сказал Исаак Давидович. — В одно прекрасное утро их находили мертвыми...

Люди намывливались, скребли кожу ногтями.

Один Ханукаев не отвоевывал себе места под рожком. Выставив перебитую ногу, он сидел на лавке у стены и, прикрыв глаза, бормотал себе что-то под нос. Ему было тепло и хорошо.

2

Тюрьма работала, как фабрика. Каждый цех выполнял свою задачу: в бане обрабатывали заключенных, в вошебойке обрабатывали их одежду, в канцелярии — их документы. Все точки пересылки действовали в соответствии с планом и графиком. Нарушение одного цикла тормозило другие: предыдущая партия эзков не была обеспечена вовремя кипятком и мылом, поэтому задержалась в банном бараке, поэтому следующая партия сидела полчаса на мостовой тюремного двора, поэтому корпусной устроил взбучку дежурному банщику, поэтому дежурный банщик в кровь избил истопника, а моющихся эзков обозвал „дикими зверями”, хотя их поведение ничем не отличалось от поведения других эзков, из других партий... Все было взаимосвязано в работе пересыльной тюрьмы, все взаимоподогнано и взаимослажено. И начальник тюрьмы Афанасьев искренне любил свое столь совершенное детище и по праву гордился им.

Начальник не без оснований полагал, что буря, бушующая после устранения наркома Ежова, сокрушит кого угодно и что угодно — но только не Ростов-Донскую пересылку. Пересылка должна действовать бесперебойно, нарушение ее работы вызовет расстройство государственных функций всего Юга и тем самым всего Со-

ветского государства. Кто бы там ни сидел наверху — а эзков надобно обрабатывать 24 часа в сутки, конвейерно. Встанет конвейер — остановится фабрика, сырье загромоздит двор, нарушится стройная подвозная система, выйдет из строя железнодорожный узел. И — полетят головы районного и областного начальства...

Всего этого можно было избежать, оставив на месте начальника пересыльной тюрьмы — Афанасьева Ивана Сидоровича, члена партии, примерного семьянина, активиста культурно-просветительного движения.

Этот самый культпросвет был истинным коньком Афанасьева. В „исправление и перековку” эзков он, разумеется, не верил ничуть, но очень любил доклады о международном положении, песни, пляски и цирковые номера, особенно дрессированных собачек. Из всех этих художественных аттракционов вместе взятых и состоял, по его глубочайшему убеждению, „культурпросвет”.

Поводов для устройства культурно-просветительных мероприятий было сколько угодно: Седьмое ноября и Первое мая, дни рождения Ленина, Сталина и Дзержинского, годовщины партийных съездов, ленинские субботники, день установления советской власти в Ростове-на-Дону. У начальника даже хранился в сейфе особый календарик с указанием дней, подходящих для мероприятий культурно-просветительного свойства. Этот календарик составил начальнику один замечательный эзк, бывший профессор политических наук.

Мероприятия начальник Афанасьев устраивал в тюремном клубе, исключительно для командно-рядового состава, однако с широким привлечением заключенной массы в качестве исполнителей песен, плясок и цирковых номеров. В день прибытия этапа с „Двигательстрой” повод для устройства мероприятия подвернулся просто замечательный: 23 февраля, День Красной армии. Подготовка к Дню велась уже две недели, творческие силы

были мобилизованы, начальник подготовил доклад о международном положении. Но пытливый ум Афанасьева продолжал работать; он не оставил надежды выудить из последних этапов бывших деятелей сцены. Богатый опыт способствовал его оптимизму: случалось, случалось не раз, что из самого вшивого, доходяжного этапа удавалось извлечь в последний момент истинную жемчужину.

В предбанник, куда после санобработки выгнали последний этап, Афанасьев явился сам, в сопровождении начальника режима и завбаней. Распаренные зэки как раз разбирали свое тряпье, пропущенное через печи вошебойки: тряпье воняло карболкой и гарью, вокруг вонючей груды копошились похожие на экспонаты костного музея владельцы. Худоба и неповоротливость зэков, однако же, ничуть не смущали начальника; он свято верил в то, что внешний вид советского человека, пусть даже и заключенного, никак не отражается на его внутреннем содержании.

— По четыре становись! — завидев начальство, заорал дежурный банщик. — Быстро, быстро!

Зэки послушно построились, по вольной привычке прикрывая стыд сведенными ладошками. Пытливо вглядываясь в лица, начальник тюрьмы прошел вдоль рядов.

— Артисты есть? — внятно спросил Афанасьев, закончив огляд.

Зэки молчали, переваривая неожиданный и неуместно здесь звучащий вопрос.

— Циркачи есть? — с болью разочарования настаивал он. — Дрессировщики собачек, фокусники?

— Я! — выскочил из ряда вон Мишиев.

Зэки глядели на него огорошенно.

— Фокусы делаю с картами, — сообщил Мишиев. — И еще пою.

— Не врешь? — Афанасьев с подозрением покосился на дикую харю Мишиева.

— Да чтоб мне на этом месте провалиться! — зачастил Мишиев. — Чтоб мне детей родных никогда не видать!

— Ладно! — решил начальник тюрьмы. — Накормить его, одеть и доставить. — И всецело уже занятый предстоящим мероприятием, вышел из предбанника, переступая через мыльные лужи.

— Этот далеко пойдет, — сказал Исаак Давидович, глядя в спину уводимому Мишиеву. — Только вот куда пойдет?

После одевания заключенных развели по камерам, выдали им по триста граммов хлеба, по два кусочка сахара и по кружке кипятка. Исаю повезло: в его камеру, на пятнадцать мест, впихнули всего сорок шесть заключенных.

Мишиеву тоже повезло — но по-своему. В конце концов, дорог удачи много, сколько людей — столько и дорог, и каждый идет по своей, а чужака вольно или невольно пытается спихнуть на обочину... В солдатской столовой перед Мишиевым поставили котелок мясных щей и миску макарон по-флотски. Зная слабость своего начальника, раздатчики кормили „артистов”, как говорится, от пуза. Набив желудок, Мишиев почувствовал приятный прилив сил и готов был ко всему и на все. Карточным трюкам он действительно научился у человека известного и специалиста незаурядного — у знаменитого шулера по кличке „Очко”, с которым сидел девять лет тому назад в Баку по сугубо уголовному делу. Будучи от природы человеком любознательным и восприимчивым, он и многим другим интересным вещам научился в бакинской тюрьме: например, блатным воровским песням с грустным концом, очень душевным, или получению мужского удовольствия от кошки, засунутой всеми четырьмя лапками в голенище сапога,

чтоб не оцарапала. Мишиев очень ценил свой жизненный опыт и никогда не ленился подучиться чему-нибудь новенькому.

Из столовой Мишиев был доставлен под караулом в костюмерную клуба. Здесь ему предложено было надеть либо стрелецкий кафтан, шедший в паре с тяжелой бутафорской алебардой, либо широкие штаны, сшитые из ярких шелковых лент, с множеством карманов, кружевную распашонку и клетчатую кепку. Несмотря на добротность стрелецкого кафтана, Мишиев остановился на втором варианте: его привлекли глубокие карманы, куда можно было припрятать не только колоду карт, но и буханку хлеба.

— Обувки нету? — осторожно поинтересовался Мишиев, надевшийся, что после представления обувку можно будет „зажать”.

Обувки в костюмерной не нашлось, и Мишиев остался в своих ощеренных кирзовых сапогах.

Многочисленность зала не смутила Мишиева; макароны благобно двигались от желудка в должном направлении, и это было главное. Щелкая новенькими, полученными лично у начальника тюрьмы картами, Мишиев растянул колоду в живую, трепещущую полосу, собрал, снова растянул. Тасуя с отменной быстротой, он по заказу членов президиума вытягивал из колоды тузов, дам и королей. Карты порхали в его руках, как канарейки. Это было, разумеется, хуже, чем дрессированные собачки, — но все же это было совсем неплохо. Афанасьев не скрывал своего удовлетворения.

Закончив с картами, Мишиев на цыпочках подбежал к столу президиума.

— Гражданин начальник, не найдется ли гребеночки? — нежным голосом попросил Мишиев.

— А зачем? — не совсем понял Афанасьев.

— А я на ей играть буду, — сказал Мишиев. — И петь.

Начальник достал расческу из футляра, автоматически расчесал волосы и передал инструмент Мишиеву. Тот вживил между зубчиками полоску припасенной папиросной бумажки, поднес прибор к губам и гнусаво продудел песню „И от Москвы до японских морей Красная армия всех сильнее”. Напоследок, утерев лоб клетчатой кепкой, Мишиев спел блатные куплеты „А как в Ростове-на-Дону я в первый раз попал в тюрьму”. Это тоже понравилось, особенно ростовским патриотам.

Мишиева сменила на сцене усатая грузинская певица со вчерашнего этапа. Грузинка громко спела арию Кармен, а потом, по указанию начальника тюрьмы, Гимн Советского Союза. Затем из тюремной больницы принесли на носилках доходягу-чревоуещателя, осужденного на двадцать пять лет за разглашение государственных тайн с использованием технических средств. Программу завершил украинским гопаком стрелок охраны.

Артистам за труды полагался еще и ужин. Переодевшись в свое, они терпеливо ждали в костюмерной прибытия конвоя. Мишиев на всякий случай украл клетчатую кепку и сунул ее под бязевую фуфайку, за спину. Чревоуещателя санитары хотели унести обратно в больничку, но он замотал головой: ужин полагался и ему.

Ожидание было прервано приходом солдата.

— Идем! — сказал он Мишиеву и ткнул его в грудь толстым пальцем.

Идти пришлось недалеко — в комнату заведующего клубом. Там, за столом, словно перенесенные волшебной силой из зрительного зала, сидели члены президиума во главе с Афанасьевым, — только вместо зеленой скатерти стол был покрыт белой, и место графина с водой заняли бутылки и тарелки.

— Расскажи-ка нам, — потребовал начальник тюрьмы, — как это ты фокусы свои делаешь!

Повторяя весь набор фокусов и давая подробные разъяснения, Мишиев не уставал благодарить шулера Очко. Ну что бы делал теперь Мишиев, не научи его шулер всей этой премудрости? Что-нибудь другое бы делал. Эх, тюрьма — народный университет, цыганский факультет!

— Пей! — сказал Афанасьев, придвигая Мишиеву стакан водки. — Ты далеко пойдешь.

— Служу Советскому Союзу! — выпив залпом, отпортовал Мишиев.

— Нам такие люди нужны, — тяжело глядя на Мишиева, сказал начальник режима, — Ты — нам, мы — тебе. Понял?

— Так точно! — принял намек Мишиев.

— Ты, я вижу, уже сидел, — продолжал начальник режима. — А? ‘

— Так точно, сидел! — радостно, как бы отдавая должное проницательности начальника режима, подтвердил Мишиев.

— По какой статье?

— По бытовой, — дал справку Мишиев. — Так, кража...

— Значит, социально-близкий! — подвел черту начальник режима и побарабанил пальцами по столу. — На-ка, выпей еще!

Мишиев выпил и закусил куриной ногой.

— А ты случайно собачек не можешь дрессировать? — с надеждой спросил Афанасьев.

Мишиев вспомнил о своих связях с животным миром, ограничивавшихся кошкой в сапоге, но признался честно:

— Не пробовал, гражданин начальник...

Начальник погрузился над своим стаканом.

— Твой этап идет в Тайшет, — продолжал тем временем начальник режима. — Там, знаешь, и медведидохнут, не то что люди. Понял?

— Понял, — насторожился Мишиев.

— Если мы тебе не поможем, ты на втором месяце загнешься. — Начальник режима помолчал. — Ты — нам, мы — тебе. Ну?

— Я всей душой... — пробормотал Мишиев.

— Я тебе в дело что надо впишу, — сказал начальник режима. — Как приедешь на место, тебя вызовут.

— Сыграй-ка еще разик „Как от Москвы до японских морей“, — сказал Афанасьев. — На расческу!

3

Подложив под себя куртку, упираясь согнутыми в коленях ногами в парашу, Исай спал. Ему снилась Палестина.

Он видел горячие округлые холмы, спускающиеся к морю. Море, маслянистое и блестящее, лениво билось в песчаный берег. Прибоя почти не было, мелкие волны набегали на береговую кромку и отступали с плеском. Рыбачьи лодки покачивались, задевая бортами друг друга.

В сотне метров от берега рассыпана была горстка домов — белых, под красными черепичными крышами. У порога одного из домов, ближнего к морю, сидела в плетеном кресле-качалке Шуламит. Подле нее играл в песке ребенок. Исай силился угадать, кто это: Израиль или Яффа? — и никак не мог определить. А Шуламит раскачивалась тихонько в своем кресле, на ее коленях лежала раскрытая книга, испещренная красивыми еврейскими буквами. Ветер с моря, налетая, перелистывал страницы книги, и Шуламит не мешала ветру.

И вдруг голос донесся из распахнутой двери дома, его, Исаю, голос:

— Шуламит! Иди сюда, Шуламит!

Но Шуламит продолжала раскачиваться, не подымалась.

„Что случилось? — недоумевал Исай. — Почему она не встает? Может, заснула?“

— Шуламит! Шуламит!

Но она не подымалась.

Тогда Исай решил позвать ребенка, но не знал, как его окликнуть: Израиль, Яффа? Ведь это просто невообразимо — отцу не знать, кто у него: сын или дочь. Но это его ребенок играет в песке, в этом Исай был уверен... Но почему же не идет Шуламит? Стоит, пожалуй, выйти из дома и разбудить ее: солнце припекает, от жары может разболеться голова.

Но никто не выходил из дома — только зовущий голос Исая доносился оттуда, жалобный и тоскливый:

— Шуламит!..

Ребенок поднялся с земли, подошел к матери, качнул качалку. Потом потянул мать за рукав платья, за руку. Рука упала с колен, повисла как плеть, как безжизненная, мертвая плеть. Как крепко спит Шуламит на берегу моря, в Палестине! А ребенок все дергал, и звал мать, и плакал — а мать не подымалась. Тогда ребенок, плача, полез к ней на колени, и кресло опрокинулось, и Исай увидел, что Шуламит мертва. Он бросился вперед, стараясь сломать, сокрушить преграду, воздвигнутую между ним и Шуламит, стремясь вырваться из дома, — но почувствовал лишь удар и резкую боль в руке.

Это Мишиев, приведенный в камеру из клуба, спяну наступил ему на руку и ругался, схватившись за осклизлый борт параши.

Глава пятнадцатая

СМЕРТЬ НАД ТАЙГОЙ

1

Тайга растеклась по Сибири на десятки дней, на тысячи километров. Вдоль великих рек — Енисея, Лены, Оби — подымалась она к Северу, мельчала там, пригибалась, вырождалась в низкорослую тундровую поросль. И людишки там, на открытом месте, селились смиренные, и зверь убогий: не то что в дебрях, в чащобе, где закон — тайга, а медведь — прокурор, где человеческая жизнь измеряется длиной ножевого клинка, и каждый готов убить, и каждый готов быть убитым... А на Юге тайга с маху, с ходу расшибалась о китайскую границу, о пограничные секреты и засады.

Меж Китаем и тундрой щедрой рукой рассыпаны были таежные лагеря. Здесь, в лагерях, добывалось богатство красной России: звонкий мачтовый лес на бесчисленных делянках, золото и платина — в рудниках, уголь — в шахтах. И на всех этих делянках, шахтах и рудниках копошились, обложенные стрелками и собаками, миллионы человекочков, шатающихся от голода, слабости и болезней, одетых нище и причудливо. Добытые ими богатства продавались в Америке и Европе, а на вырученные деньги строились новые лагеря,

обучались новые стрелки и собаки, знающие сладкий вкус человеческого мяса.

Тайга была необъятна, и необъятны были ее сокровища. Никто, никакой человек не мог, не солгав, сказать: „Я знаю тайгу!“ Северные шаманы скрывали в преддверье тундры, в еловой чащобе, Золотую бабу — двухметровую фигуру из чистого золота, с хрустальным животом, в котором можно было увидеть золотого ребеночка. Тысячи туземных людей — бывших хозяев края — пробирались на поклон к Золотой бабе, молили ее и ее нерожденного младенца о помощи, об удаче, о детородной силе. А русских, охотившихся за Бабой, настигало в тайге, в заброшенных охотничьих зимовьях, тяжелое копьё самострела. И в карманах убитых находили потом медные бляшки с изображением золотохрустальной богини тайги.

А восточней, за Великими реками, стерег клад самоцветной пещеры дракон с длинной шеей, с черным туловом. Жил тот дракон в озере Ворота, посреди которого, на островце, различима была в ясную погоду священная пещера. Кто добрался до той пещеры — обратно не вернулся, ничего никому не рассказал. Видели только отчаянные люди на берегу озерца костяную челюсть, усыпанную белыми зубами. Стояла та челюсть торчком, и под ней могла проехать без задержки телега, запряженная лошадью.

А беглые разбойники, рышущие по тайге в поисках „чистых“ паспортов, гонящие перед собой человека-свинью для пропитания в необжитых местах!

А тайные скиты старообрядцев-самосожженцев, торчащие в бездорожном недоступном захолустье!

Много в тайге тайн, много крови, много золота.

Позади кухонного барака тайшетского лагпункта № 44 приятно дымилась в морозном воздухе помойка. Теплые помои, только что выплеснутые из ведер, хранили еще запах кухни — восхитительный запад объедков, селедочных головок и капустных ошметков. Таежные птицы, питающиеся зернами кедровника и нежными побегами пихты, лениво скользили над лагерем, над помойкой и над парой доходяг, рывшихся в помойке. Капустное тряпье и селедочные головки не занимали таежных птиц.

Доходяги, занятые своим делом, не обращали друг на друга никакого внимания. Только изредка, видя несомненное везение соседа, обойденный удачей ворчал и тянулся к чужому куску — но вожаденный кусок исчезал в черной щели беззубого рта счастливчика, и выкопать его оттуда не было никакой возможности. Впрок доходяги не запасали ничего — все, что можно было проглотить, они тянули в рот тут же, на месте.

Рабочие бригады ушли на лесоповал на рассвете, часа два назад. Лагерь опустел. Оставшаяся обслуга — так называемые „придурки” — не обращали внимание на пару доходяг у помойки; так люди не обращают внимание на обломки мебели, выброшенные на свалку и не годные ни к какому полезному применению. А придуркам не было дела до других людей мира, как, в сущности, нет дела животным до человека, которого они ни в коей мере не считают своим царем — а только опасной и неуравновешенной тварью.

В одном из доходяг с трудом можно было признать бывшего предместкома Ханукаева. Его наклонное движение к этому жалкому состоянию началось давно. Он постепенно, шаг за шагом, отступил от всего того, что внешне определяет человека: после первых же недель

следственного биття перестал умываться, потом оставил привычку раздеваться перед ночным сном — этому весьма способствовал „допросный конвейер”, когда подследственный не отличает дня от ночи. Потом он на- чисто утратил чувство брезгливости. А потом пришла очередь пищи, еды: ему стало безразлично, что есть и когда — лишь бы есть, делать жевательные движения, выделять слюну и глотать. Он привык к постоянному чувству голода, как привык к насмешкам сотоварищей, не утративших еще человеческий облик... Дорогу от пещерного человека до человека цивилизованного, дорогу тысячелетий предместкома Ханукаев проделал обрат- ным маршрутом менее чем за год. Более слабого он задушил бы, загрыз за пучок морковной ботвы — но не было вокруг него более слабого.

Этот ново-старый тип человека возник в XX веке, в советских концлагерях. Потом он был повторен, с незна- чительными поправками, в концлагерях гитлеровских. Когда-нибудь, возможно, этот тип станет предметом изу- чения для социологов будущего — если мир дотянет до своего будущего. Философы классического направления едва ли могли себе представить, что человек способен к столь стремительному расчеловечиванию.

Дара говорить, объясняться с помощью слов Ханука- ев, однако, не утратил. Его речь сводилась в основном к автоматически повторяемым просьбам еды, вполне, впрочем, бесперспективным, и жалобному мату по по- вodu получаемых от каждого, кому не лень, побоев. Кроме того, он пел, бормотал себе под нос что-то нераз- борчивое для постороннего уха, когда оставался один и не ждал ниоткуда подвоха. Он больше не нуждался в человеческом обществе, он желал быть один, и контакты его с людьми носили вынужденный характер. Спал Хану- каев в общем бараке, на полу, у параши. Это место было определено ему даже и не барачниками, а, скорее, жиз-

ненными обстоятельствами: от него, как от парши, шло стойкое зловоние... Доходяги редко жили долго: они „доходили”, догорали, умирали от совершенной утраты сопротивляемости беде жизни.

Напарник Ханукаева по рытью в помойке мало чем от него отличался. Такой же тощий и слабый — кожа на костях, смердящее, разваливающееся тряпье на коже, — он глядел мутными голубыми глазами из-под костлявого лба и время от времени кривил лицо в некоем подобии улыбки. Эта гримаса то ли раздражала, то ли забавляла Ханукаева — и он даже заговаривал с ним покровительственно:

— Ты глубже рой, глубже, там со вчера головки должны быть...

Голубоглазый в ответ рычал что-то нечленораздельное, но рыл, как было указано Ханукаевым.

— Ты, говорят, военным был на воле? — спрашивал Ханукаев.

Вопрошаемый вскидывал на него глаза, глядел испуганно, мешал во рту слова с селедочной жижей. Его крупная плешивая голова на истончавшей шее начинала трястись, как перед припадком. Он, видимо, желал скрыть факты своего вольного прошлого — но прошлое это застряло в его памяти, как топор в пне.

— Ну-ну... — удовлетворенно отступал Ханукаев. — Ишь ты, трясется... — Он с удовольствием полагал, что голубоглазый плешивец еще более слаб и ничтожен, чем сам он, Ханукаев.

Потом они садились под окном посудомойки, откуда бил пар. Они поочередно подставляли под струю пара руки и головы и так грелись. До очередной партии помоев оставалось еще часа три, и делать им было нечего: гонять их на лесоповал или приставить к другому какому делу начальство и не пыталось. Они были лагерными доходягами — подонками, остывающим шлаком.



Смерть ждала их, они шли к ней на своих жидких, слабых ногах, и никто здесь не хотел их подгонять.

Едва ли кто-либо признал бы в голубоглазом плешивце бывшего начальника „Серого дома” — грозного чекиста Петрова.

3

В своих когда-то спортивных мокасинах — в них он был взят в Габдано — Исай прошагал шесть километров, отделявших лагерь от лесоповального участка. От мокасин, собственно, осталось одно приятное воспоминание — как от вольной жизни; их и видно не было. На них Исай натянул некое подобие бот, собственноручно сшитых из обрывков старых ватных штанов. В этих ботах, замотанный с ног до головы в тряпье, Исай был похож на водолаза — только ступал он не по морскому дну, а по скрипучему, злому сибирскому снегу.

Из лагеря вышли за час до рассвета, тащились в морозной тьме, которой, казалось, никогда не будет конца. Сторожевые собаки, опутив тяжелые головы, трусили сбоку от колонны; одетые в горячие овчинные полушубки стрелки покрикивали раздраженно: „Шаг влево, шаг вправо считается побег. Стреляем без предупреждения!” Но никто не собирался ступить ни вправо, ни влево. Зэки мечтали поскорей дотащить до делянки, развести костер, отогреть занемевшие от мороза руки и ноги.

В своем звене Исай исполнил должность второстепенную: сучкожог. Его дело было оттаскивать от сваленного ствола срубленные сучья, оттаскивать их и жечь в костре, чтобы природа не страдала и вид ее сохранял приятную девственность. Работа, казалось, была нетрудная и даже выгодная: имея дело с огнем, у рабо-

тяги оставалось больше шансов не замерзнуть. Но это только казалось: сучкоруб, молчаливый казак с Хопра, работал как заведенный. Он очищал, обтесывал ствол с умением и сноровкой, груды тяжелых сырых сучьев росли по бокам тела ствола, как одежда вокруг раздевающейся второпах женщины — когда сильный мужчина, дыша коротко и маняще, ждет ее в постели и она спешит, спешит... Исай тащил по снегу тяжелые сучья к костру, как лошадь тащит плуг по слежавшейся целине. Опасность заключалась в том, что костер погаснет под гнетом или зальет его талой водой. Такое случалось, и нередко, и тогда в адрес Исая сыпались укоруы и ругань: дело стопорилось, проценты выработки падали, казак смотрел волком. Невыполнение плана оборачивалось уменьшением хлебной пайки, пустым желудком, еще одним шагом к смерти.

Тон в звене задавал лучкист — жилистый, как горный козел, чеченец лет сорока. Со своей пилой-лучевкой — канадским изобретением с торчащими в трех направлениях стальными зубьями — чеченец управлялся, как виртуоз с балалайкой: в его лапах пила как бы жила своей разумной жизнью, направляемой извне. С каждым движением, резким и неостановимым, луч пилы все глубже уходил в глубь ствола, все ближе подбирался к его сердцу. Белые опилки струями выплескивались из прорана, ложились на снег двумя бороздами. Дерево стонало, кряхтело, как будто невидимые жилы, связывающие его с жизнью, лопались в его белом душистом чреве... Исай не мог отвести взгляд от лучкиста, присосавшегося к основанию двадцатиметрового ствола, как серый паук к телу своей жертвы: не отпустит, пока не высосет всю кровь, не убьет. Глядел, и поражался, и трепетал Исай: крохотный человечиска со стальной лентой одолевал доброго великана. И великан, покорно вздохнув напоследок, заваливался набок и падал, чертя

кроной зеленую кривую, сбивая сучья с соседних деревьев, сокрушая подлесок. Беда, если зазевавшийся ээк случится на его последнем пути: останется от ээка кроваво-грязный мешок с торчащими из него розовыми, как заря, острыми костями. Не зевай, ээк, ты еще не выпил свой последний черпак баланды!

А лучкист, свалив дерево, не оглядываясь, переходит к другому. Лучкисту жарко, от него валит пар, лицо его налито натужной кровью, сердце сумасшедшими толчками ходит под хрупкой оболочкой: туда-сюда, туда-сюда... Три-четыре месяца — и не выдерживает сердце азартного лучкиста. Труд свел обезьяну с дерева, труд ее и в землю сведет.

Исай таскает сучья, сваливает в костер. Густой дым врывается в легкие, не дает дышать. Слезы льются по черным, обгорелым щекам Исаея. Все на нем разорвано, мокро и грязно, весь он в саже и копоту — и нельзя присесть ни на минуту: со всех сторон валятся деревья, разбрызгивают, как взрывы, белый снег, и орет нагрывший прораб: „Опять сидишь, жидовская морда!”

Стрелки сидят у своего, особого костра, покуривают, перебрасываются словами. Их собаки напряжены, как стальные пружины, готовы броситься вперед по первому знаку хозяина, повалить ээка, выпиться, вырвать горло... А все же и ээкам перепадает иногда удача: когда делянка звена — крайняя, когда охрана сидит в стороне и прораб, подгоняя рекордиста, весь день не заглядывает на окраину выработки. Тогда и лучкист перестает двигаться безостановочно, как в страшном сне, и молчаливый казак, свернув махорочную сигарку, присаживается у Исаева костра. Черт с ними, с процентами, будь они прокляты! Прораб припишет, а не припишет — душа с него вон: здесь отхожие места обледенелые, скользкие — можно ненароком и в очко упасть.

Но такие счастливые дни выпадали редко: счастье ма-

ленькое, на всех не разделишь. И без водки шатался к концу смены лучкист, и сатанел казак. А раскряжевщик разваливал хлыст на баланы вкривь и вкось, и бригадир грозил отдать его под суд за вредительство. А Исая прикидывал притупевшим, мерцающим разумом: доживет ли дотемна, дотянется ли обратно до лагеря, до баланды, до нар или вывалится из колонны вправо или влево, рухнет в снег, как беззащитное дерево, и конвой деловито прикончит его выстрелом в затылок „при попытке к бегству”.

Такие мысли появлялись у Исаея уже к середине смены; а нужно было еще обработать два-три ствола и из последних сил нагрузить баланы на сани. Возчик Мишиев со своими санями появлялся в глубине просеки неизбежно, как рок. Звено, вооружившись дрынами, подтаскивало тяжелый, как свинец, балан, поднимало его в сани, закрепляло. А Мишиев, стоя в сторонке, только поплеывал да покрикивал. Мишиева боялись и лучкисты, и прорабы, и сам бригадир. С Мишиевым никто не хотел связываться: себе дорожке выйдет. Хрен с ним, с возчиком, будь он проклят: сами затащим баланы. А кто его корил да стыдил — тому Мишиев мстил поначалу по мелочам: отъехав от делянки, сваливал баланы с саней в глубокий снег. И бежал, орал бригадир: „Суки! Доходяги! Кто так крепит?! Грузи по новой!” И звено, матерясь, снова катало баланы, рвало жилы, подводя плечи под белые дрыны... И никто покамест не решался загнать ночной порой острый деревянный гвоздь Мишиеву в глаз и покончить с ним разом. Возчика боялись как чумы.

Дотянув до конца смены, шагая в своих ватных ботах в колонне, Исая не уставал изумляться: как удивительно устроен человек! Откуда только к нему приливают силы в тот момент, когда душа, кажется, уже отлетает, освобожденная, и земля разверзается под

ногами, чтобы принять тварь свою в себя! Но нет: омертвевшие ноги вдруг начинают двигаться как бы сами собою, и восстанавливается исчезнувшее было дыхание, и предвкушаемое удовольствие от горячей баланды укрепляет надежду... Да здравствует человек, и слава его Творцу!

4

К врачу шли после смены, после баланды. Шли не лечиться, не спастись от боли и смерти — шли выпрашивать освобождение от работы: день упоительного лежания на грязных нарах барака. Перспектива попасть в лагерную больничку воспринималась, как пение райских труб: близко к смерти — но зато дополнительное питание и, может быть, отдельная койка с простыней. Умереть в человеческих условиях — это тоже было своего рода счастье.

Вольнонаемный врач Сизов — апоплексический толстяк с рыхлым, синеватого оттенка лицом, в командирских галифе, расстегнутых на раздутом то ли от переудания, то ли от болезни животе, — вел прием в амбулатории утепленного больничного барака, расположенного во внутренней охраняемой зоне: в больничной аптеке хранились наркотические средства, применяемые при операциях, и заманчивые эти средства не давали спокойно спать блатарям. А операции здесь были необходимы: резали руки и ноги, раздробленные на лесоповале, вырезали проглоченные урками ложки, латали мошонки, прибитые гвоздями к нарам ради умышленного членовредительства и уклонения от работы, вытравляли со лбов и щек вызывающие татуировки типа: „Раб ВКП(б)“, „Раб Сталина“. Работы у хирурга, одним словом, было куда больше, чем у терапевта. Лечить яз-

вы, гипертонии и воспаления легких никто здесь не собирался. Отмороженные члены либо отпиливали, либо врачевали вазелином. Повышенная температура ни у кого из врачей не вызывала беспокойства и не служила поводом для освобождения от работы. Больным с температурой 38 врач Сизов говорил, брезгливо морщась: „Иди, иди, тут тебе не санаторий и не кино... На, возьми вазелин!”

Блатари ради больничного отдыха замастывали как могли, в соответствии с находчивостью и фантазией. Татуировки политического содержания считались делом несерьезным, почти детским. Глотание громоздких металлических предметов расценивалось значительно выше: блатарь Дрын, укравший у придурка-хлебореза вставную челюсть и проглотивший ее, пользовался уважением, к нему обращались за советами. Рубшиков пальцев нельзя было назвать несерьезными людьми, но за это дело могли при неблагоприятных обстоятельствах привлечь к лагерному суду и припать дополнительный пятерик, а то и червонец. Одобрение вызвал поступок блатаря Валета-Пик. Этот Пик пришел к грудной коже дюжину пуговиц и отказался выходить на развод, а когда к нему в барак явился начальник режима, с диким воплем оборвал с груди все пуговицы. В результате обливающегося дешевой кровью Валета-Пик отправили в больничку, он там прокантовался пять дней. Но повторение этой чудесной выдумки было равносильно литературному плагиату: Валет-Пик остался бы недоволен, его авторское самолюбие было бы грубо ущемлено.

Зная повадку врача Сизова, ээки, входя в амбулаторию, первым делом скидывали штаны до колен, и врач, протянув руку, ухватывал пациента двумя пальцами за ягодицу.

— Годен! — выносил немедленное решение Сизов,

лочувствовав, что вертлюг кости отделен еще от дряблой кожи тонким слоем действующей мышцы.

После первого диагноза Сизов сонно выслушивал жалобы больного и в девятнадцати случаях из двадцати отправлял его на работу. Посидев с полчаса за своим столом, доктор Сизов с усилием застегнул галифе на брюхе, поднялся и отправился домой — ужинать. Его место занял фельдшер, бывший врач „Двигательстроя” Модест Степанович.

Толпа у двери возбужденно загомонила: с уходом Сизова шансы получить освобождение увеличивались. Фельдшер никого не щипал за ягодицу, а считал пульс, глядел в рот и щупал пальцами зубы. Фельдшер Модест Степанович отличался необыкновенной молчаливостью, никогда с больными ни о чем постороннем не разговаривал и о себе и своей прошлой жизни не рассказывал ничего.

На пациента, вошедшего последним, Модест Степанович взглянул ошарашенно. А пациент, заискивающе глядя на фельдшера, бойко смотал грязную тряпку с культи большого пальца правой руки и выложил руку на стол.

— Вот, нарывает... — определил свое состояние пациент. — Гноится... Ни топор не могу держать, ни пилу.

— А я ведь вас знаю, — подойдя к двери и прикрыв ее поплотней, в необыкновенном волнении произнес Модест Степанович. — Покажите-ка голову!

На голове, покрытой пучками серых грязных волос, пальцы фельдшера быстро набрели на три шрама, оставшихся от заживших порезов.

— Вы тот комиссар, — возбужденной скороговоркой продолжал Модест Степанович, — которого как-то ночью, за день до моего ареста, привел Абрамов. Это вы меня посадили!

— Теперь мы поменялись ролями, — вымученно улыба-

нулся Габуня, показывая голые десны. — Вы для меня комиссар, я — штрафник, и моя жизнь зависит от вашего настроения.

— Я могу подвести вас под лагерный трибунал, — сказал Модест Степанович, мельком взглянув на обрубок пальца Габунии. — Вы ведь палец отрубили, я в этом нисколько не сомневаюсь. Но успокойтесь, я не донесу на вас — потому что я тряпка, старый дурак. Именно поэтому вы захватили власть, а нас растоптали и вышвырнули на помойку... Дайте палец!

Быстро сделав перевязку, Модест Степанович отошел к окну, сказал глухо:

— Идите. Я не дам вам освобождения.

— Знаете, доктор, здесь Петров, — вдруг ни с того ни с сего сказал Габуня. — Да-да, тот самый, начальник управления. Но я с ним не общаюсь — он опустившийся человек. И злодей.

И поклонившись, Габуня попятился к двери и вышел вон.

5

В тот же час — лагерный час Баланды — Мишиев сидел у кума.

Кум был грубый человек малого роста, с рябым лицом. Своих осведомителей он ценил, но не баловал: держал в строгости. К Мишиеву испытывал даже своего рода расположение: деятельный стукач, к тому ж прибыл с ростов-донской рекомендацией в деле.

— Завтра со спецконвоем привезут зэка одного, — строго глядя на Мишиева, сказал кум. — Бессонов его фамилия, геолог. Он тут чего-то искать будет, чего ему надо. Ты с него глаз не спускай. Понял, Мишиев?

— А как же, — сказал Мишиев. — Золото будет искать?

— Это не твое дело, — обрезал кум. Вопрос пришелся ко времени: сам кум ломал голову над тем, что здесь будет искать геолог. Если золото, то как бы на этом деле поднажиться? И ведь не станут же посылать ээка со спецконвоем в гиблое место, где нет ни хрена, кроме бульжников. Значит, золото. А какое? Песок или самородки? Самородки куда лучше: и тяжелей, и прятать удобней. А чем мы хуже Колымы? На Колыме золота навалом; всем хорошо, всем хватает.

— Я в золоте хорошо понимаю, — пощупал почву Мишиев. — Если кто найдет — я сразу вам скажу, чтоб отнять для исследования.

— В золоте все понимают, — сказал кум. — Ты на этого Бессонова каждый день мне рапорт оформляй: что сказал, куда пошел... Если ему куда надо ехать — ты с ним и поедешь, на санях.

— А я вот просить хотел... — сказал Мишиев и запнулся как бы в нерешительности.

— Чего еще? — подозрительно покосился кум.

— Можно мне на конюшне ночевать? — отважился Мишиев.

— Это еще зачем? — удивился кум.

— Ээки лошадей портят, — доложил Мишиев.

— Как так? — вскинулся кум. — Диверсия?

— Не совсем чтоб диверсия, — косо усмехнулся Мишиев. — Дело мужское, сами понимаете, баб тут нету... Вот и портят.

— А тебе жалко, что ли? — хохотнул кум. — Ревнуешь?

— Ни-ни! — отверг Мишиев. — А только после этого дела лошадь нервная, ногой бьет, грызется.

— За это срок намотать можно, — задумался кум. — Есть такая статья: скотоложество. Или по другой можно пустить: порча государственного имущества.

— Вот я и говорю! — даже привстал со стула Мишиев. — Как кто на конюшню придет — я сразу поймаю.

— Ловить не надо! — поморщился кум. — Ловить — это дело не твое. Ты только на заметку бери.

— Ну да, — согласился Мишиев. — Как кто на нее полезет, на кобылу то есть, — я тут же на заметку.

— Ты сам-то лазил? — полюбопытствовал кум.

— Ни-ни! — отверг Мишиев. — Запрещено законом.

— А видал? — продолжал выпрашивать кум. — Как другие — видал?

— Это видал, — признался Мишиев.

— Ну, и как?

— Да так, — сказал Мишиев. — Очень просто. Лезут — и все.

— Так высоко! — прикинул кум.

— Конечно, высоко, — согласился Мишиев. — Поэтому на забор встают.

— А если она копытом стукнет? — допытывался кум. — Все же животное, зверь, можно сказать.

— Так ведь это очень просто, — терпеливо, со знанием дела разъяснил Мишиев. — Положим, ты — здесь, она — там, а забор посередине. Если стукнет, то по забору. А как же!

— Да... — призадумался кум. — Это тебе все же не баба.

— Рыск есть, — признал Мишиев. — Зато здесь дело безотказное, а другая баба и не даст.

— Я ей не дам! — вдруг рассердился кум. — Ишь ты: не дам! Да она сама прибежит, в ногах будет валяться.

— Вам конечно, — с готовностью поддакнул Мишиев. — А у нас ведь только за спасибо... Да и где ее, бабу, возьмешь? А с лошадью разговоры разговаривать не надо, задрал ей хвост — и пошел. Жалко только, сисек у ей нет.

— Сисек нет, — согласился кум. — Откуда у ей сиськи, у лошади?

Мишиев почтительно промолчал: правота кума была очевидна.

— Ну, ладно... — сказал кум. — Это я подумаю... Если для пользы дела — то решение приму... Теперь так: ты этого геолога знаешь? Видал его? Он на „Двигательстрой” приезжал, вел там контрреволюционные разговоры.

— Я его там видал, — сказал Мишиев. — Опасный человек.

— Откуда знаешь? — поднял брови кум.

— Вы сами говорите, гражданин начальник: вел контрреволюционную пропаганду.

— Не пропаганду, а разговоры, — поправил кум. — Это другая статья.

— Нам это все равно, — пожал плечами Мишиев. — Раз он против нашей родной советской власти.

— Верно, — подтянулся за столом кум. — Котелок у тебя варит в правильном направлении, заключенный Мишиев.

— Служу Советскому Союзу! — подтянулся и Мишиев. — А как насчет конюшни, гражданин начальник?

— Ладно, оформим тебе как ночную смену, — сказал кум и, зевнув, громко щелкнул зубами. — Только, гляди, не злоупотребляй: если узнаю, что пускаешь туда мужиков за деньги, пойдешь под суд. Конюшня — это тебе не бардак.

— За деньги как можно! — осклабился Мишиев. — Если только по любви...

Бессонова привезли вечером, перед отбоем. Первым в бараке его увидел Исай, бросился навстречу, обнял. И сразу сладко заныла душа отраженной болью: Бессонов, „Двигательстрой”, Шуламит, Иосиф...

— Давайте вот на нары рядом со мной, — хлопотал Исай. — Здесь свободно.

— Никого не потесню? — гудел Бессонов.

— Нет, — сказал Исай. — Это место Пахомова, он вчера умер... Но как вы, откуда?

— Они, — Бессонов указал взглядом вверх, на потолок, — во мне больше нуждаются, чем я в них. Возят меня с места на место с персональной охраной, как секретаря обкома. В глубине души они думают, что я этаким современный алхимик: делаю золотой песок из песка кремниевого. Если б я даже опроверг их убеждение, они бы мне не поверили.

— Слава Богу, что не гонят на лесоповал, — вздохнул Исай.

— Я для них вроде курицы, несущей золотые яйца, — сказал Бессонов. — Поэтому они надо мной почти трясутся... А вы на лесоповале, Исай?

— Дохожу... — сказал Исай.

— Знаете, у меня есть идея, — глядя в изможденное, покрытое ожогами лицо Исай, сказал Бессонов. — Я скажу, что мне для геологоразведки нужен квалифицированный рабочий, и вытребую вас. А? Я почти уверен — они согласятся.

— Дай-то Бог! — улыбнулся Исай.

— А переведут меня отсюда в другое место — попробую забрать вас с собой, — продолжал Бессонов. — Справедливость предусматривает всеобщее счастье — но это ведь не для эзков. Эзки борются за персональное выживание.

— Дай Бог... — повторил Исай. — У вас есть какие-нибудь новости с Кавказа?

— Ничего, — покачал головой Бессонов.

— Я написал письмо, — сказал Исай, — но ответа пока нет... Отсюда письмо идет месяца три, если вообще доходит!

— Я ничего не знаю, — снова покачал головой Бессонов. — Мы с Иосифом должны были встретить Шуламит после родов, но накануне ночью меня арестовали.

— Я ведь так и не знаю, кто у нас родился... — глядя в сторону, сказал Исай.

— Вот наша жизнь... — положив руку Исаю на плечо, сказал Бессонов. — На следствии из меня душу вытягивали: где Иосиф? А ведь я действительно не ведаю, где он.

— Его не взяли? — оживился Исай. — Он на воле?

— Понятия не имею, — пожал плечами Бессонов. — Знаю только, что искали его возле персидской границы. А что делает нормальный советский человек в районе персидской границы, как вы думаете, Исай? Отвечаю: нормальный советский человек хочет эту границу пересечь нелегально. Во всяком случае, именно это можно было понять из воплей моего следователя.

— Вас тоже били? — спросил Исай.

— Конечно, — сказал Бессонов. — Как известно, все советские граждане равны перед законом.

— Но Иосиф... — чуть помедлил Исай. — И Персия...

— При чем тут Персия? — удивился Бессонов. — Меня раз пятьдесят спрашивали с пристрастием, не делался ли со мной Иосиф своей порочной любовью к Святой земле. Что из этого следует? Из этого следует, что Иосиф решил добраться до Палестины. Если, разумеется, это все правда и Иосиф не сидит в соседнем лагере.

— Но зачем бы они... — Исай взглянул на Бессонова вопросительно.

— Да, тут я склонен им поверить, — сказал Бессонов. — Молодец Иосиф, я бы к нему присоединился с радостью. Те места, знаете ли, настоящий геологический рай. В районе Мертвого моря, я уверен, расположены гигантские залежи сверхглубокой нефти. Забудьте: сверхглубокой! Все это фантастическое озеро лежит на нефти. Земная кора, опускаясь, вдавила нефть в недра, над ней километров пять-шесть соляных куполов... Но мы, кажется, отвлеклись от наших насущных забот.

— Это даже хорошо, — вздохнул Исай. — И скажите, какой еврей не думает о Палестине?

— Благополучный, — сказал Бессонов. — Благополучный еврей не думает... Кстати, исследованиями Мертвого моря занимается мой хороший товарищ, Миша Новомейский. Так что в Палестине, как видите, нам бы не пришлось сидеть в гостинице.

— Но Иосиф! — всплеснул руками Исай. — Это даже не укладывается в голове: Иосиф в Палестине...

— Если б он поделился со мной своими планами, — сказал Бессонов, — я бы мог составить ему протекцию. Но в наше время планами предпочитают не делиться ни с кем, и правильно делают. Лучше не знать, чем знать: так спокойней. Не говоря уже о том, что знание, несомненно, умножает скорбь. В чем-в чем, но в этом Экклезиаст не ошибся.

— Вы сказали: „Вот наша жизнь“, — тихонько вымолвил Исай. — И вот наша жизнь: в Тайшете, в лагерном бараке мы рассуждаем об Экклезиасте и о Палестине. Непостижимо!

— Ну, почему же! — возразил Бессонов. — Все это вполне в русских традициях: интеллигенция за решеткой или, если желаете, за колючей проволокой, а чернь

— воле. Но и российская воля — понятие весьма относительное. Это, в сущности, та же неволя, та же зона — но пайка там побольше и пожирней. Зато из Большой зоны — с воли — человека могут в любой момент перевести в Малую зону — к нам. Из нашей же зоны перевод не предусмотрен — разве что в другую такую же зону.

— Со стороны это выглядит вполне утешительно, — усмехнулся Исай.

— А разве в Большой зоне вы позволили бы себе говорить с кем-нибудь столь откровенно, как здесь? — продолжал Бессонов. — Никогда не поверю!

— Философия под прожекторами... — пробормотал Исай.

— Философия — область слабых, но мудрых, — живо возразил Бессонов. — Сильные дебилы ограничиваются отправлением естественных надобностей на смердящем поле, на котором и трава не растет.

— Да, — сказал Исай. — Это все верно... А я не знаю, кто у меня родился.

— И это — наша жизнь, — посерьезнел, нахмурился Бессонов. — Стрдание составляет ее базис, а все остальное — надстройка, если прибегнуть к марксистской фразеологии. А почему бы и нет? Слова ведь ни в чем не виноваты. Виноваты люди, произносящие слова всеу.

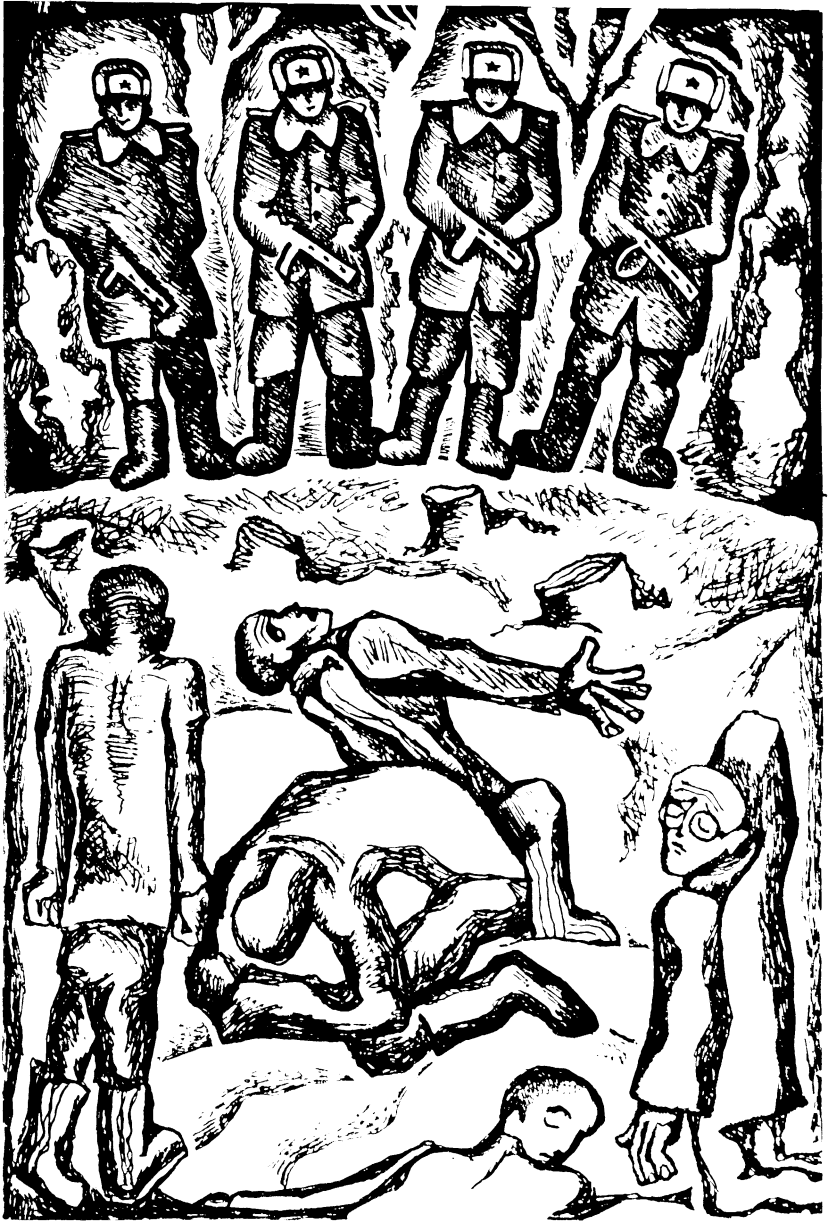
— Мне бы хоть раз увидеть Шуламит, ребенка! — простонал Исай. — А потом я готов буду философствовать, сколько мне там отпущено...

— Это ведь самообман, Исая, — мягко сказал Бессонов, опуская руку на плечо Исая, на его задубелую телогрейку, во многих местах прожженную искрами костров. — Это самообман, который мы слепо путаем с надеждой. Даже и не путаем. Мы сами, собственноручно, напяливаем на самообман голубой плащ надежды.

Ведь он такой красивый, этот плащ, такой необыкновенно прекрасный!

— Мы видим только до ближайшего поворота, — сказал Исай. — А что потом: пропасть, подъем или еще несколько метров прямой дороги?

— В том-то и наше счастье, что мы не знаем, — сказал Бессонов.



Глава шестнадцатая

ПИСЬМО

1

Письмо от Исая пришло в сентябре. Измятый, замызганный конверт переслали Лизе с „Двигатель-строя” — Исай не знал, что Шуламит вернулась в Дербент, и писал „домой”. На сложенном вдвое листочке треть текста была вымарана цензором. Из оставшегося можно было уразуметь, что Исай доехал благополучно, что он здоров, что условия жизни в лагере вполне удовлетворительные и что по воскресеньям заключенным даже читают лекции о строительстве социализма. Налажено также изучение трудов товарища Сталина.

Письмо Лиза повезла в аул в тот же день. Первый же встречный деревенский человек — старик со слезящимися глазами, похожий на большую белую птицу — на вопрос Лизы дал обстоятельную справку: Шуламит проживает у аробщика, работает на верхней горной террасе в винограднике, дети здоровы, аробщик также благополучен, а его жена брюхата... Выслушав этот рассказ, Лиза пересекла аул и по каменистой тропинке стала подниматься на гору, к верхней террасе. С отвычки ноги устали и отяжелели после первых же ста метров подъема, а до террасы было еще далеко. Тяжело дыша, Лиза стряхивала ребром ладони пот со лба и поглядывала

вала вверх: там, наверху, копошилась среди виноградных рядов одинокая черная фигурка.

„Неужели это Шуламит? — не верила своим глазам Лиза. — Бедная девочка, такая хрупкая, слабенькая! Как она только карабкается на такую крутизну!”

Шуламит заметила тетку, когда та почти достигла террасы, и, прыгая, как коза, с камня на камень, побежала ей навстречу.

— Шуламит... — только и смогла вымолвить Лиза.

Перед ней стояла загорелая, смуглая крестьянка. Подол ее черного платья, из-под которого выглядывали кожаные лапти, отяжелел от глины, голова была повязана черным платком. Глаза глядели строго, скорбно. Только брови остались прежними — как крылья ласточки в свободном полете.

— Шуламит, девочка моя...

— Письмо... — сдавленным, глухим голосом сказала Шуламит. — Где оно?

И отвернувшись, впилась глазами в измятый листок. Прочитала, потом еще раз — медленней, пытаюсь разобрать зачеркнутые места; но цензор поработал на совесть.

Закончив читать, Шуламит обняла тетку, крепко прижалась к ней.

— Он жив, — прошептала Шуламит. — И есть адрес... Это главное.

— Что ты хочешь делать? — спросила Лиза.

— Поеду к нему, — сказала Шуламит.

— А дети?

— Побудут пока у тебя, — решила Шуламит. Она давно уже это решила. — Возьмешь?

— Да что ты спрашиваешь? — возмутилась Лиза.

— Сегодня вернемся в город, — сказала Шуламит. — Ну, пошли? — она готова была идти, бежать, мчаться сломя голову до самого Тайшета.

— Дай отдохну немного, — улыбнувшись, извиняющимся тоном сказала Лиза. — Круто очень...

Они сели на каменную подпорку террасы. Аул лежал глубоко под ними, нарядный, как архитектурная модель. Отара овец стлалась по зеленому дну лощины. В легком, чуть звенящем воздухе можно было различить гортанные крики чабана.

— Это... далеко? — тихонько спросила Шуламит. — Сколько туда ехать?

— Дней десять-пятнадцать, я думаю, — сказала Лиза. — Как поезда... И потом к этому Тайшету как будто нет железной дороги.

— Ты узнавала?

— Спрашивала, да... Надо ехать до какой-то станции, которая называется Зима. А оттуда уже добираться как придется. Может, там узкоколейка есть, или на попутных.

— Доберусь, — уверенно сказала Шуламит. — Исай добрался — и я доберусь.

— Там, говорят, холода, морозы, — сказала Лиза. — Вот и станция так называется... Тебе теплое что-нибудь нужно.

— Так ведь еще сентябрь! — возразила Шуламит. — Осень!

— Это здесь осень, — покачала головой Лиза. — Там — зима. И пока еще доедешь.

— Я завтра выеду, — сказала Шуламит. — Это решено, тетя.

— Ну, ладно, — вздохнула Лиза. — Пойдем тогда полегоньку. Только не беги, а то не успею я за тобой!

— Детей возьмем — и все, — Шуламит двигалась порывисто, резко. — И на станцию. Не опоздать бы на вечерний.

— Попрощаться не хочешь с людьми? — осторожно спросила Лиза.

— Времени нет, — сказала Шуламит. — Простят меня, если узнают когда-нибудь...

— Как хочешь, — сказала Лиза.

— Ну, пошли! — поднялась Шуламит. — Солнце вон уже где...

2

Мутно-белое, как капля стеарина, солнце стояло над станцией Зима. Оно не излучало тепло — а только лютый космический холод, и светилось оно, казалось, не собственным, а отраженным алюминиевым светом.

Лес вокруг станции был покрыт белым погребальным саваном — деревья закутаны были в чехлы из снега и смерзшегося инея. В морозной тишине гулко трещали кости застывших деревьев. Редкие птицы сидели на ветвях неподвижно, как шишки. Дымы над крышами бревенчатых изб медленно покачивались, как бы приклеенные к трубам.

В жарко натопленном помещении железнодорожной станции сидели на лавках несколько пассажиров, прибывших последним поездом и не встреченных никем. То были женщины — жены ээков, приехавшие на свидание к мужьям. Женщины были закутаны в тулупы, шубы и платки; под этим ворохом одежды трудно было определить их возраст. Они тихонько, доверительно переговаривались между собой, разузнавая, кто как собирается добираться до места. Одна из них пользовалась несомненным авторитетом: она приехала сюда уже во второй раз, сыпала номерами лагерных пунктов и именами каких-то таинственных добрых людей, готовых помочь за мзду или вовсе безвозмездно... Но места расположения Исаева лагеря она не знала.

По длинной, негусто застроенной одноэтажными и

двухэтажными домами улице Шуламит шла к местному управлению НКВД. Больше ей было некуда идти, не к кому обращаться. Дежурный по станции в ответ на ее вопрос только плечами пожал: да здесь у нас, гражданочка, на каждый километр по лагерю; кто разберется, где 400-й, а где 401-„бис“!.. всю дорогу к управлению перед глазами Шуламит стоял страшный полковник Петров с его громоподобным „ясно?“. Здесь, в лагерной гуще, местный полковник Петров должен быть еще страшней, еще свирепей и безжалостней.

Перед самым зданием управления Шуламит остановилась в нерешительности, но простоять больше минуты-другой не смогла: мороз накинулся на нее, останавливая кровь в жилах. Охранник в белых валенках, в ладном тулупе уставился на нее, как на пустое место.

— Мне в справочную, — выдавила Шуламит сквозь одеревеневшие губы. — Я к мужу на свидание...

— Ну и езжай! — разрешил охранник.

— Я не знаю, где лагерь, — сказала Шуламит, — как туда ехать.

— Разрешение на свидание есть? — грозно спросил охранник. — Справка? Там должно быть написано.

— Нет справки, — сказала Шуламит. — Но я здесь попрошу, мне дадут!

— Иди, иди, гражданка! — прикрикнул охранник и вытолкнул Шуламит за порог сеней.

Замерзая у входа в управление, Шуламит медленно осознавала, что с ней произошло. А охранник, высунувшись из двери, добавил:

— Давай, иди отсюда, а то хуже будет!

Полузадохшаяся от слез и лютого мороза, Шуламит не знала, как попала она в тесную столовую на окраине поселка. Видно, она просто увидела желтые светящиеся окна, почувствовала тепло — и вошла. Так в ненастье в горах путник входит в любой дом.

Она стояла у стены, тупо разглядывая прилавок, окно раздаточной, несколько столиков. Она не сразу расслышала, что ей говорит буфетчик в грязном белом халате, надетом поверх ватного костюма. Но она разглядела его коричневые близорукие глаза, непередаваемо грустные глаза пожилого и не совсем здорового еврея.

— Я еврейка! — сказала Шуламит. Она не надеялась на чудо — она требовательно его ждала. И чудо пришло.

— Тс-с! — буфетчик приложил палец к губам и оглянулся опасливо. — Тише! Лучше пусть об этом знают как можно меньше людей! Сядьте за столик, я вас обслужу.

Буфетчика звали Абрам Евсеевич, он был ссыльный, привезли его сюда с Украины, из Белой Церкви. Он поставил перед Шуламит тарелку огненного борща и судочек пельменей, а потом присел к ее столу. В зале столовой никого, кроме них, не было в этот предвечерний час.

— Я вам, конечно, помогу, — заверил Абрам Евсеевич, выслушав рассказ Шуламит. — Если мы друг другу не поможем, то кто нам поможет? Гои? Кадохес они нам дадут, вот что я вам скажу! Но — тс-с! Ша!

Выяснилось, что на станции Зима проживает еще один еврей, вольный, заместитель начальника почты. У этого еврея — да и у самого Абрама Евсеевича — немало знакомых, так или иначе связанных с управлением Тайшетлага. Разрешение на свидание, скорей всего, получить не удастся — но зато удастся разузнать, где находится лагерь, как туда добраться и, может быть, найти „своего гоя” в тех краях — стрелка охраны, например, который за приличный подарок позволит Исаю поговорить с Шуламит полчаса.

— А если приехать сюда жить, — сказала Шуламит, — на станцию Зима...

— Тогда нас будет здесь три еврея, — подсчитал Аб-

рам Евсеевич. — Но от этого вашему мужу не станет лучше, а вам станет хуже... Ни один нормальный еврей не станет здесь жить по собственной воле!

Шуламит понимала, что Абрам Евсеевич прав. С Кавказа, за тысячи километров, все это ей рисовалось иначе. Ей виделась добротная, даже по-своему красивая деревенька по соседству с Исаевым лагерем, и что можно в этой деревеньке поселиться, найти там какую-нибудь работу, привезти детей. И так жить рядом с Исаем, ждать его, быть ему полезной и необходимой... Деревенька! На сотни километров от лагерей не същещь ни одной живой души, кроме солдат и их собак!

— Сегодня вы, конечно, ночуете у меня, — сказал Абрам Евсеевич, придвигая к Шуламит стакан горячего киселя. — Я позову еврея с почты, мы все обсудим. Ехать в тайгу — это не шутка! Это целое опасное путешествие, вы мне можете поверить без честного слова. Вас могут арестовать. И вашего Исаю могут арестовать.

— Но ведь он арестован, он в лагере! — удивилась Шуламит словам Абрама Евсеевича.

— Вот наивное дитя! — улыбнулся Абрам Евсеевич. — Сколько лет надо учиться человеку, чтобы стать настоящим советским гражданином!.. Ваш Исай — в лагере, никто с вами не спорит. Но — не в тюрьме! И в лагере есть свой суд и своя тюрьма. И там тоже могут арестовать, и судить, и припать вам какой вы хотите срок, или, вернее, какой вы не хотите.

— Но за что? — искренне не понимая, спросила Шуламит.

— За все, — сказал Абрам Евсеевич. — То есть ни за что... Знаете поговорку: „Был бы человек — а статья найдется“? Очень мудрая поговорка.

Поздним вечером, после разговора с почтовым евреем, решено было ехать в тайгу послезавтра: за день почтовый еврей по каким-то своим служебным спи-

скам обещал установить, где точно находится номерной лагерь, а Абрам Евсеевич — найти „своего гоя”. Шуламит посоветовали из дома никуда не выходить, чтобы не привлекать ничего любопытства: здесь все знали друг друга наперечет, каждое новое лицо вызывало подозрения.

Большое волнение вызвало сообщение Шуламит о том, что она везет с собой десятка три писем для эков от дербентских родственников: вместе с Исаем в лагере сидела большая часть поделщиков по „процессу „Двигательстроя”.

— Пять лет напаяют, если найдут, — мрачно объяснил Шуламит почтовый еврей. — Бесцензурная переписка — нарушение закона. Лучше всего эти письма выкинуть, а еще надежней — сжечь.

— Нет! — вспыхнула Шуламит. — Я этого не сделаю, это невозможно! Ведь они там, в Дербенте, так надеются, ждут!.. У меня просто рука не подыметься, я себе этого никогда не прошу.

— Ну, гут! — разведя руками, сказал почтовый еврей. — Тогда надо хорошенько припрятать. Держать их в сумке никуда не годится: письма всегда носят в сумке, каждый догадается. Потом сумку можно, не дай Бог, забыть, потерять. В карманы тоже нельзя класть. Куда хорошо — так это в чулки. В чулки — это очень хорошо, это проверено.

Назавтра Абрам Евсеевич принес баночку меда и баночку черничного варенья для Исаея. Почтовый еврей выполнил свое обещание: раздобыл точный адрес лагеря. До лагеря предстояло добираться двести пятьдесят километров: по отводной железнодорожной ветке, на дрезине, потом по снежному проселку. А самая главная удача заключалась в том, что был обнаружен и „свой гоя” — начальник лагерного снабжения, человек уступчивый и сребролюбивый. Он как раз получил партию

товара в Зиме и собирался возвращаться. За деньги он соглашался доставить Шуламит до лагеря и передать Исаю, что приехала его жена.

Денег у Шуламит было в обрез, поэтому она сняла с шеи ожерелье из старинных золотых монет, доставшееся ей от бабушки, для передачи снабженцу. Увидев золото, снабженец еще немного уступил: пообещал приютить Шуламит на день-другой в своем доме, в поселке для вольнонаемных. Золотые монеты очень понравились снабженцу.

3

Выехали на рассвете, на крытой платформе, нагруженной товаром снабженца. Снабженец, по имени Витя, оказался, в сущности, неплохим парнем: получив „гонорар“, он старался подбодрить свою подопечную лагерными рассказами со счастливым концом. Задача Шуламит, по его словам, казалась ему вполне осуществимой: в тайге все бывает, иногда и необходимые друг другу люди встречаются.

При пересадке на дрезину машинист привязался к Шуламит с расспросами: кто такая, да куда едет, да за чем. Витя решительно прервал поток неприятных вопросов:

— Ты, падла, на чужую бабу глаз не клади! — закричал Витя. — „Кто такая...“. Она ко мне едет, в столовую поварихой! Ты сначала с ней распишись, а потом уже глаз клади!

— Мало ли их тут ездит... — отступил машинист. — Разные же бывают.

Дрезину просквживало ледяным ветром. Оглушительно, как парус, хлопал брезент, закрывавший товар: ящики и мешки. Близкие звезды, холодные и

колкие, казались чужими — совсем не такими, как на Кавказе. Шуламит было страшно. Она вспоминала о письмах, набитых в чулки, и с ужасом глядела на квадратную спину машиниста.

Перед рассветом рельсы кончились; остановились в тупике. Там, на проселке, ждали два грузовика с незаглушенными моторами. Шоферы дремали в кабинах.

— Давай, вылазь! — закричал Витя, барабаня в кабинки. — Хватит ночевать-то! Давай, грузи!

Машины буксовали на ледянистом, скользком снегу; шофер, рядом с которым тряслась на сиденье Шуламит, матерился длинно и красочно. Шуламит то и дело поглядывала на шофера: он был расконвоированный зэк, бытовик, севший за кражу зерна с элеватора. Более всего Шуламит хотелось спросить у шофера, не встречал ли он в лагере Исяя, не знаком ли с ним — но она понимала, что делать этого нельзя, и ей было поэтому грустно: поговорить с человеком, с таким же заключенным, как Исай, — и то опасно.

После полудня просека расширилась, на широкой поляне показались вышки по углам высокого забора из колючей проволоки, многорядного. За проволокой, на лысой площадке, уродливо громоздились приземистые бараки с мелкими, зарешеченными оконцами.

— Приехали! — объявил шофер. — Вот он, наш лагерь. Кто был — тот знает, кто не был — тот узнает.

Шуламит пересела в первую машину, к Вите. Поехали в поселок, подкатили к Витиному дому, загнали грузовик во двор, за высокий забор.

— Ну, выходи! — сказал Витя Шуламит. — Здесь можно — никто не увидит. Сиди давай дома, с жинкой моей балакай — а я пойду, узнаю, что к чему.

Глава семнадцатая

КРАСНОЕ НА БЕЛОМ

1

Снабженец Витя не знал Исаю в лицо, для него заключенные были похожи один на другого как две капли воды, как обитатели клетки для посетителя зоопарка с кульком печенья в руке. Зато через четверть часа случайных, казалось бы, расспросов он узнал, что Исай работает вместе с геологом Бессоновым — эзком, пользующимся в лагере большими привилегиями. Еще через полчаса он разыскал геолога и, отозвав его в сторонку, сказал:

— Исай Шалумов у тебя работает? Скажи ему, что к нему жена приехала, — и передал записку от Шуламита.

В записке было всего несколько слов: „Любимый, я здесь. Даст Бог, увидимся. Твоя Шуламита”. Прочитав записку, Исай чуть не лишился сознания: кровь вдруг волной прилила к серому лицу, сердце подскочило к самому горлу, не давая дышать.

— Нам не дадут свидания, — с трудом выговорил Исай. — Что делать?

— Терпение! — сказал Бессонов, взволнованный не менее Исаю. — Я сам терпеть не могу это слово — но я повторяю: „Терпение, мой друг!..” У меня есть план.

— Какой? — Исай смотрел на Бессонова умоляюще. — Скажите же!

— Только не надо заранее обнадеживаться, — сказал Бессонов. — Завтра мы едем к истокам Теплого ключа, там, в километре, есть брошенная заимка. Мы там в прошлом месяце сортировали пробы грунта, помните?

— Помню, — посветлел Исай. — Бревенчатая избушка, там даже камелек был с треногой.

— Не царский дворец, но вполне respectable вилла. — улыбнулся Бессонов.

— А конвой? — спохватился Исай.

— Вот тут надо что-то придумать... — Бессонов почесал переносицу. — Со стрелком надо либо договориться, либо... вывести его из строя на два-три часа. Что предпочтительней, как вы думаете?

— На „договориться“ надежда маленькая, — сказал Исай. — А вернее — нулевая. „Шаг влево, шаг вправо — считается побег“. Вот единственный аргумент стрелка.

— Значит, второе, — подытожил Бессонов. — А третьего не дано...

— Но — как? — Исай понизил голос до шепота. — Ведь не...

— Нет-нет! — перебил Бессонов. — Я не имею в виду насильственные действия: хорошо это или плохо — но это не для нас с вами, Исай... Значит, остается спирт. Я поговорю с Модестом Степановичем.

— Если туда подсыпать чего-нибудь, какое-нибудь снотворное... — предложил Исай.

— Вот видите, Исай, в вас пробуждаются естественные злодейские инстинкты. — одобрительно покачал головой Бессонов. — Наконец-то! А я, признаться, думал, что вы окончательно неисправимы.

— Есть еще возчик, Мишиев, — вспомнил Исай. — Он стучач.

— Ну, с этим мы как-нибудь управимся! — махнул рукой Бессонов. — Он — подлец, а с подлецами всегда проще.

— А как обо всем этом узнает Шуламит? — спросил Исай. — Как она доберется до займки? Там ведь километров десять бездорожья.

— Вопросов действительно тьма, — согласился Бессонов. — И на все эти вопросы мы должны найти наилучшие ответы... Только не думайте, что мы — первые, попавшие в подобную ситуацию. Все это было, есть и будет.

— Я и не думаю... — уныло сказал Исай.

— Как вы успели заметить, снабженец — лицо явно заинтересованное, — сказал Бессонов. — Грешно, разумеется, играть на человеческих слабостях — но мы все-таки на них сыграем: за деньги наш милейший Витя продаст весь лагерь с вышками, начальником и кумом в придачу. За деньги он найдет способ доставить Шуламит на займку.

— Правда, — согласился Исай. — Но денег нет.

— Вы забыли, что я умею делать золото из песка, — сказал Бессонов. — Так, во всяком случае, обо мне говорят. У меня есть два симпатичнейших самородка, я их подобрал, кстати, в районе Теплого ключа... Так вот, один из них снабженец получит сегодня вечером, а второй — завтра вечером, когда Шуламит благополучно вернется с займки.

— Я не знаю, что бы я без вас делал, — растроганно сказал Исай. — Вы как какой-то маг из восточной сказки!

— Ну, не преувеличивайте! — возразил Бессонов. — Все это покамест только план, не более. Маг делает то, что хочет, а мы с вами делаем то, что можем. Это большая разница, мой дорогой!

Со снабженцем Бессонов управился быстро. Выслу-

шав геолога, Витя подбросил самородок на ладони, попробовал его на зуб и сказал:

— Значит, я утром ее привезу часикам к девяностидесяти, а вечером за ней приеду... И если что, я готов всегда помочь, вы не сомневайтесь.

— Вы поедете на санях? — спросил Бессонов.

— Какие там сани! — развел руками снабженец. — По дороге ехать — кто-нибудь заметит: опасно. Поедем верхом, на двух лошадях. Да и напрямиком через тайгу быстрее, чем по дороге.

— Хорошо, — согласился Бессонов. — Только одну лошадь на всякий случай оставьте на заимке.

Снабженец согласился без возражений, и самородок перекочевал в его карман. Если бы Бессонов предложил Вите доставить Шуламит верхом на щуке, снабженец, пожалуй, готов был бы обдумать и этот вариант. В конце концов, нет ничего невозможного в мире...

Модест Степанович выслушал Бессонова молча, не перебивая ни вопросами, ни замечаниями. Выслушав, подал ему трехсотграммовую фляжку спирта.

— Этого достаточно? — спросил Бессонов.

— Возьмите еще вот это, — сказал Модест Степанович, доставая из аптечки пакетик с белым порошком. — Это сильнодействующее снотворное. Высыпьте порошок в кружку. Четыре часа сна я гарантирую... Пакетик на всякий случай уничтожьте.

Оставалось лишь достать еды для праздничного стола: буханку хлеба, баночку тушенки, несколько кусочков сахара. Вольнонаемный завскладом обменял на шерстяной шарф Бессонова полбутылки сладкого портвейна.

После отбоя Бессонов рассказал о ходе подготовки Исаю. Исай только ахал восторженно: маг, настоящий восточный чародей из сказки!

— Я загадал, — сказал Исай, — если удастся раздобыть

хоть глоток вина — значит, все получится... Теперь все получится!

Не гадавай, человек, не ищущая судьбу.

2

Поднялись до света, растолкали на конюшне Мишиева. Мишиев, кряхтя, поднялся и, ругаясь, взялся запрягать. Бессонов незаметно подбросил в задок саней, под солому, мешочек с едой, завернутый в старую телогрейку. Мишиев виду не подал, что заметил, только глаза скосил. И обходя сани, сунул руку в сено.

Ворота лагеря были закрыты, в окошечке вахты горел свет.

— Я сейчас, — сказал Мишиев, сходя с саней. — Стрелок ждет уже, наверно.

На вахте он пробыл недолго, вышел оттуда с конвойным. Стрелок молча перевалился в сани, устроился поудобней и заклевал носом. Дежурный по вахте посветил фонариком в лица зэков и отворил ворота.

Узкая дорога была прорублена в лесу, густо растущие деревья образовывали как бы высокие черные стены коридора. Рядом с деревьями сани казались медлительным, но упрямым и сильным муравьем.

— А холод-то! — то ли угодливо, то ли нагло сказал Мишиев. — Хорошо еще, ветра нет...

— А? — вскинулся, схватился за винтовку стрелок. Но, убедившись, что все в порядке, матюкнулся и снова повесил голову.

— За Теплый ключ сани пройдут или нет? — немного погода спросил Бессонов.

— Ни-ни! — замотал головой Мишиев. — Там — стоп! Чащоба, ни одной вырубки нет... А вам — куда?

— На заимку, — сказал Бессонов. — У меня там кое-какой материал с прошлого месяца лежит.

— Нам что? — безразличным тоном сказал Мишиев. — Нам куда скажут, мы туда и пойдем. Но только — пеши. Сани на Теплом ключе оставим и пойдем.

— Да там не так и далеко, — сказал Исай. — Дойдем.

— Дойти-то дойдем, только там тропы нет, — сказал Мишиев и покосился на конвоира. — Стрелок ругаться будет.

— Ничего! — сказал Бессонов. — На Теплом ключе отдохнем полчаса.

— Замерзнем! — обеспокоился Мишиев. — Чего там сидеть-то!

— У нас против мороза лекарство есть, — сказал Исай и, задрав голову, звонко щелкнул себя сбоку от кадыка.

— Ну, если так, то можно, — согласился Мишиев. — Стрелку тоже надо плеснуть, а то заложит.

— Плеснем, — сказал Бессонов, а потом добавил чуть слышно: — Ты знаешь этого стрелка?

— Парень как парень, — сказал Мишиев. — Деревня... Да он выпьет, вы не сомневайтесь: от такой холодины медведидохнут.

Снег скрипел под полозьями, трещали ветви в молочного-голубом свете зари. У Теплового ключа дорога упиралась в лес, как в глухую стену.

— Приехали! — объявил Мишиев, разворачивая сани. — Остановка.

Стрелок, сойдя в снег, молча помочился на подоз.

— Здесь, что ли, ищешь? — копаясь в своих ватных штанах, спросил стрелок, повернув голову к Бессонову.

— Нет, дальше, — сказал Бессонов. — Передохнем немного — и пешим ходом... Ты разбавленный пьешь, гражданин стрелок, или чистый?

— Спирт разбавлять — только портить! — ухмыльнулся стрелок. — А снежок под закуску.

— У меня луковка есть, — подумав, сказал Мишиев. — Вот, в кармане, даже не замерзла. — И вытащил маленькую, почерневшую луковицу.

— Сначала начальству, потом нам, — сказал Бессонов, доставая флягу и кружку. — Понемногу, для разогрева.

— На три пальца наливай, всем поровну будет, — измерив взглядом флягу, сказал Мишиев. — Где спирт-то достал?

— Начальник лагеря дал, — объяснил Бессонов. — Ради золота и спирта не жалко, а?

— Это верно, — сказал стрелок, побалтывая спирт в кружке. — На морозе спирт — первое дело... Ну, поехали! — он одним длинным глотком проглотил содержимое кружки, бросил в рот пригоршню снега, потом захрустел луком. Глаза его налились слезами.

— Крепкий, черт! — прохрипел стрелок. — Аж за горло хватает!

— Хорош! — выпив, крикнул Мишиев. — Очень даже стопроцентный спирт, девяностошестиградусный... Допьем, что ли? Там осталось-то на дне.

— Допьем, — решил Бессонов. — А то ни два, ни полтора. Разливай, Мишиев, только по-честному!

Выпили, крикнули, закусили. Стрелок полез за пазуху, достал полбуханки хлеба.

— Давай, жри, только не все! — сказал стрелок. — А то совсем без закуски тоже трудно.

— Давайте я костерок разведу! — предложил Исай. — Хлеб погреем, сами погреемся. Можно? — обернулся он к Бессонову.

— Только давай быстро! — нахмурился Бессонов. — Пора работать начинать.

— Да я сучкожогом вкальвал! — засуетился Исай. — Да я в три счета!

— Разводи! — разрешил стрелок. — Я пойду пока что в санях посижу — недоспал, что ли...

Когда разгорелся костер, конвоир уже спал, положив под себя винтовку.

— Иди, разбуди его! — сказал Бессонов Мишиеву.

— Спит! — откликнулся Мишиев, тряся стрелка за плечо. Разомлел, видно, от спирта: молодой еще.

— Что делать-то будем? — спросил Исай. — Идти надо!

— Я не пойду, — твердо сказал Мишиев. — Вы идите, а я со стрелком останусь. Вам-то что — а мне побег приклепают!

— Ну и сиди тут! — поднялся с колен Исай. — Мы часа через четыре вернемся.

— Как стрелок проснется — идите на заимку, — сказал Бессонов. — А то как бы неприятностей не было.

— Ладно! — сказал Мишиев. — Придем.

Исай выудил из сена узелок с едой, потряс им, сказал как бы невзначай:

— Инструменты! Тяжелые, будь они неладны...

— Ну, пошли, пошли! — поторопил Бессонов. — Погрелись — и хватит.

Через минуту их не стало видно за деревьями.

Мишиев резво подбежал к саням, снова затряс стрелка:

— Гражданин стрелок, побег! — сдвинув шапку стрелка, зашептал он ему в ухо. — Вставай, стрелок!

Стрелок хрипел, храпел.

— Дежурный по вахте теперь пускай отвечает, — сказал Мишиев и пошел греться к костру.

Заимка чернела на поляне, как гриб. Дверь ее была высоко занесена снегом.

— Поспели, — сказал Бессонов, помогая Исаю откапывать дверь. — Ты протопи, а я... я пойду золото искать. Часа через три вернусь... Да что там благодарить-то! Пустяки!

Высокий огонь быстро согнал изморозь со стен. Исай нарубил душистых и мягких еловых лап, натаскал в заимку. Придирчиво оглядел комнатку, остался доволен. На нары положил хлеб, поставил вино. Сидя на лапнике, ждал: вот сейчас, сейчас!

Услышав шаг коней по снегу, глянул в оконце — и оборвалось все внутри: по поляне, ведя коня в поводу, шла Шуламит. Снабженец на опушке заворачивал своего мерина прочь от заимки.

— Шуламит! — и долго, молча глядел на нее, стоя в дверях.

Наконец пропустил ее, затворил дверь, закрыл на щеколду.

— Хорошо как тут... — сказала Шуламит. — Тепло, и зелень.

Она размотала платок, скинула большой, не по росту, тулуп.

— Кто у нас родился? — еле шевеля сухими губами, спросил Исай.

— Господи, ведь ты и не знаешь! Израиль и Яффа, двойня, — и, привалившись к Исаеву плечу, вдруг заплакала беззвучно.

Потом они сидели друг рядом с другом, ели хлеб и пили вино. Они не знали, сколько времени так прошло, да и не думали об этом.

Стук в дверь как бы вернул их на землю из другого, беспечального мира.

В дверях стоял Бессонов.

— Быстро! — глухо сказал Бессонов. — Погоня! Шуламит, на лошадь, ради Бога. Бегите!

Он почти вытолкнул ее, посадил в седло, бросил ей тулуп и со всего маху хлестнул ладонью по конскому крупу. Застоявшийся конь мотнул головой, рванулся и тяжелыми скачками вынес всадницу на опушку. Двое мужчин проводили ее взглядом, а потом поглядели друг на друга.

— Все... — сказал Исай. — Где они?

Бессонов не успел ответить — на поляну выкатилась пятерка солдат с собакой. На ходу сбрасывая лыжи, солдаты бросились к заимке.

— Геолога не трогать! — крикнул из-за их спин командир.

Исаю скрутили руки за спиной, защелкнули наручники на запястьях. Он не успел разглядеть, кто его ударил первым — только почувствовал соленый вкус крови во рту. Потом удары посыпались со всех сторон, и Исай, лежа на полу, вдруг ощутил режущую, дикую боль в пояснице.

— Поднять его! — услышал он как сквозь закрытую дверь, как сквозь стену. — На пень!

Его вытащили из избы, подволокли к пню. Там подняли, разведя ему ноги и прямо поддерживая туловище, и с маху, с ревом и выдохом опустили на пень, и еще раз, и еще — как будто насаживали молоток на рукоятку. Голова Исаю моталась из стороны в сторону, кровавые брызги прожигали снег. После шестого удара изо рта его хлынула легочная кровь, розовая и пенная.

— Хватит! — определил командир.

Медленно подойдя, он пнул носком валенка мягкое, послушное тело Исаю. Потом вытащил пистолет из кобуры и, прицелившись старательно, выстрелил в голову.

Бессонов не видел ни муки, ни смерти Исая Шалумова. Геолога, толкая в спину прикладом, погнали через лес к Теплому ключу. Усыпленного стрелка уже отправили обратно в лагерь. В передке саней сидел с безразличным видом Мишиев. Услышав шум шагов и окрики конвоя, он оглянулся и поглядел на Бессонова, как на незнакомого человека.

— Лезь давай! — крикнул конвоир, и Бессонов, перевалившись через борт саней, очутился в сене — там, где несколько часов назад лежал узелок с праздничной едой.

Дорога назад казалась бесконечной. Бессонов глядел на высвеченные теперь низким солнцем, зеленые стены дорожного коридора. Автоматически отмечал он в памяти, о чем думал, проезжая здесь на рассвете, с Исаем: здесь — о надежности снабженца Вити, здесь — о связи алмазных трубок с подзольными почвами, а вот тут — о нефтезалегании под соляными куполами, о Мертвом море и о Мише Новомейском, и как было бы замечательно, если б Исай с Шуламит туда когда-нибудь попали. А у этой расколотой молнией сосны перед его глазами возник Иосиф, легкомысленный и отравленный родовой печалью художник Иосиф, неизвестно где пропадающий, неизвестно, живой или мертвый... Как разметал последний год людей, как разогнал их душный кровавый ветер в разные стороны! И вот уже и следов их нет, и воспоминания стираются, как следы...

Из негромкого, почти домашнего разговора конвоя он понял, что какому-то Мишке Фетюкову и еще Петьке Рудяку положен будет отпуск „за беглеца”. Услышав это и осознав, Бессонов содрогнулся: отпуск полагался стрелку не за поимку, а за убийство. И до самого лагеря, до вахты, неотрывно, с ужасом думал об одном: что с Исаем?

Исаю привезли вечером, свалили с саней в снег у вахты. На разводах эски проходили мимо тела — сначала

глядели на него с зябким страхом, потом, через несколько дней, привыкли. Тогда, в начале второй недели, стрелок Мишка Фетюков, дожидавшийся отпуска, отрубил у трупа руки и ноги и торчком воткнул их в снег. Так они проторчали там до поздней весны, до раннего тепла.

4

Сильный, тяжелый конь Шуламит шел по бездорожью прыжками, высоко вскидывая ноги. Шуламит пригнулась, почти легла на его шею: низкие ветви чащобы грозили вышибить ее из седла. О дороге Шуламит не думала — лошадь сама вынесет к жилью, к человеческому теплу.

Бросив повод, обнимая шею лошади, Шуламит молила Бога: „Боже, спаси Исаю, спаси нас всех! Сделай так, чтоб Исаю не наказывали, не били. Ведь он отец моих детей, Израиля и Яффы, названных так, потому что они евреи, которых Ты сильной рукою вывел из земли Египетской. Сделай так, чтоб Исаю отпустили поскорей, и тогда мы уедем отсюда, из этой ледяной земли, мы уедем в Палестину, которую Ты нам заповедал в безграничной щедрости Твоей. Помоги мне воспитать детей честными и хорошими евреями, преданными Тебе и любящими нас, родителей своих. О Боже всемилостивейший, грозный и всевершающий! Я ведь редко беспокою Тебя просьбами, я Тебе никогда не надоедаю. Сделай так, чтобы Исаю отпустили, ведь Ты же знаешь — он ни в чем не виноват. Конечно, гои мучат нас, евреев, — но Ты ведь хозяин и над гоями, и над всякой живой тварью, и над мертвым камнем. Спаси нас, Боже!.. Прости, что я забыла попросить Тебя о Бессонове: спаси его тоже”.

Конь все шел скачками, гулко дыша. Чаща не прорезивалась, не видно было ни просвета, ни поляны. Шуламит чуть распрямилась, приподнялась — и низкий еловый сук ударил ее в грудь и выбросил из седла. Зеленое колесо завертелось перед глазами Шуламит, зеленое лесное колесо. Она упала в снег, ушиблась о ствол и потеряла сознание.

Она пришла в себя почти сразу — то ли от острой боли в груди, то ли от лавиной нахлынувшего мороза. Лошади не видно было, Шуламит напрасно звала ее, причмокивая губами. Тогда она со стоном поднялась на ноги и сделала несколько шагов. Она не знала, куда ей идти, не знала, где она находится. Ей сильно хотелось спать, и она с трудом прогнала от себя это желание. И вдруг ей стало легко и свободно, она шла по белому снегу, как по светлому тоннелю, обрывающемуся в Никуда. Она жадно, взволнованно вглядывалась в это серебряное Никуда, бывшее одновременно и сном, и покоем, и теплом, она не чувствовала больше боли и страха. Потом она вдруг вспомнила, что чулки ее набиты письмами — и резко остановилась, готовая бежать назад. Куда назад? В какую сторону? Кому передать письма? Ведь из Никуда нет возврата, там каждый счастлив и тих сам по себе, там уже никто, ни одна душа не нуждается ни в помощи, ни в сочувствии. Письма! Как она могла забыть о них... И вернулась боль, и вернулся страх. Она шагнула назад, остановилась, пошла снова. Оглянувшись в поисках своих следов, она заметила только теперь, что повалил густой мягкий снег, что следы ее исчезли, запечатаны. И к великому и счастливому всему изумлению, она и в этом обратном направлении пути увидела светлый тоннель, уходящий в серебряное Никуда. И этот желанный выход или вход был куда ближе, чем раньше.

Тогда она опустилась в снег, в пушистый снег, показавшийся ей теплым и ласковым, как пух. Никуда при-

ближалось к ней помимо ее усилий, можно было уже разглядеть в нем отдельные детали картины. Закрыв глаза, Шуламит с улыбкой узнала белую саклю, прилепившуюся к подножию каменистого холма, недалеко от морского берега. Море было непохоже на то, кавказское, отливающее мертвым керосиновым блеском; оно неторопливо, уверенно двигало зелено-голубые валы, накатывало их с приятным шелестом на белый песок берега. Учтивые и доброжелательные люди прогуливались по пляжу, люди с грустными коричневыми глазами, по которым можно отличить еврея среди тысяч других хороших и плохих людей. Шуламит шла, бежала к сакле — ведь там ждали ее Исай и дети, — но холм почему-то не приближался, да и берег с его песком никак не кончался, как будто она бежала на месте. А люди все шли мимо нее и глядели на нее с сочувствием и пониманием. Вглядываясь в лица, она искала среди этих людей своих близких — отца, мать, деда. И вдруг увидела в толпе Иосифа.

Иосиф, улыбаясь, шел ей навстречу. Вот он уже рядом, он рад неожиданной встрече — а выглядит так, как будто эта встреча была им заранее предугадана.

— Шуламит! — сказал Иосиф, глядя ее ладони. — Вот и ты... Как хорошо!

— Так ты здесь... — сказала Шуламит.

— Здесь, — сказал Иосиф. — Погляди, какая у нас красивая земля! Я рисую картины и дарю их детям и взрослым. И у меня есть хлеб, брынза и новые башмаки. Вот, погляди!

— А где Исай? — спросила Шуламит. — Ты не видел его?

— Он в сакле, — сказал Иосиф, — он ждет тебя с детьми. Израиль только что вернулся из виноградника, а Яффа приготовила праздничный обед.



— Да что ты говоришь, Иосиф! — недоверчиво улыбнулась Шуламит. — Ты что-то пугаешь: они ведь совсем еще маленькие!

И тут она вдруг заметила, что Иосиф стал старичком, добродушным и чуть странным старичком в белом парусиновом пиджачке, висящем мешком на его худых и сутулых плечах.

— Как вы постарели... — потерянно произнесла Шуламит.

— Ну, как же, как же! — охотно согласился Иосиф. — Ведь столько лет прошло с того дня, как мы расстались в день твоего выхода из роддома, у въезда в тот поселок, я уж и позабыл, как он назывался...

— „Двигательстрой“, — подсказала Шуламит.

— Ах да, конечно! — сказал Иосиф. — Когда ж это было? Двадцать лет назад? Или, может быть, две тысячи? Я всегда был не в ладах с арифметикой.

— А Исай? — спросила Шуламит. — Как он?

— Он тоже немного постарел, — уклончиво ответил Иосиф. — Но, в общем, держится молодцом... Идем, а то он, наверно, заждался!

Они удалялись теперь от берега и шли по направлению к холму. Дорога вилась между полей и апельсиновых рощ, и запах цветущих растений был сладок и дурманил голову. С обочин дороги с ними здоровались пастухи, гнавшие своих овец в овчарни. Пастухи опирались на высокие посохи и были похожи на деда Шуламит.

— Исай! — приставив ладони трубочкой ко рту, закричал Иосиф. — Эй, Исай!

Дверь сакли отворилась. За ней зияла серебряная пустота, и Шуламит радостно в нее шагнула.

...С первой звездой волк пробежал мимо снежного холмика у подножия вековой ели, понюхал воздух, поскреб наст и потрусил дальше своей дорогой.

Кум был доволен: он завел на Бессонова дело, сбил спесь с этого зазнайки-геолога, который позволял себе в лагере черт-те знает что. Собственно, не сам он позволял, а красноярское начальство ему позволяло — но кабинетное начальство, как известно, далеко от практики, и местному сотруднику следует тонким намеком указать начальству на его заблуждения. Вот он, кум, и намекнул: на зэка Бессонова оформлено дело, зэк Шалумов застрелен при попытке к бегству... Судьба зэка Шалумова несколько, впрочем, не занимала кума; этот Шалумов играл роль декорации в сцене, героем которой был Бессонов, своим независимым поведением разлагавший зэков и мешавший перевоспитательному процессу. Подвернись вместо Шалумова другой какой-нибудь зэк — был застрелен бы он, другой, потому что в ином случае раскрытие побега было бы лишено практически-воспитательного значения.

А то, что к делу оказался примазан вольнонаемный снабженец — это уже личный успех кума. В результате неприятной беседы разъяснительного содержания снабженец вот здесь же, в этой комнате, чистосердечно раскаялся, и увесистый золотой самородок перекочевал из Витиных брючишек в галифе кума. И Вите, можно сказать, еще повезло: гражданка, в преступных целях доставленная снабженцем к заимке, исчезла бесследно и, таким образом, не может показать против раскаявшегося Вити. Скорей всего, волк таежный знает, где теперь валяются кости этой гражданки...

Осведомитель Мишиев, проявивший должную бдительность и тем самым способствовавший перемещению самородка из брючишек в галифе, был по справедливости награжден денежной премией из секретного фонда, а сегодня, вызванный на беседу, получит еще и

личный подарок кума. С ним иногда забавно бывает потолковать, с этим Мишиевым: тертый калач... А вот и он — явился, не запыхался.

Легонько постукав в дверь кабинета, Мишиев вошел и стоял теперь перед столом, угодливо наклонив голову и наведя ухо. Кум сделал вид, что занят неотложным делом: глядел в газету двухмесячной давности, в периодическую статью. Подержав вызванного минут пять на ногах, откинулся на спинку стула и сказал голосом суровым и озабоченным:

— А, это ты... Можешь сесть.

Мишиев тут же и сел, держа голову все так же наклоненной.

— Ну, какие будут новости? — еще подождав, спросил кум.

— Политические или как? — вопросом на вопрос ответил Мишиев.

— Ты давай Ваньку не валяй! — ухмыльнулся кум. — „Или как...”. Вот именно — как!

— В этом отношении полный порядочек, — доложил Мишиев. — Работаем от души, на полную мощность... Сегодня трое приходили: Кусков, Ефимкин и Улукбаев из третьего барака. — Оттянув пояс, Мишиев достал из ватных штанов три пачки чая и выложил их на стол перед кумом. — Вот плата.

— Хорошо, — сказал кум, сгребая чай в ящик стола. — Ну, дальше что?

— Улукбаев из третьего барака, — сказал Мишиев, — как на нее полез, стал, значит, зубами скрипеть и кричать: „Я — Буденный! Я — Буденный!”

— Ну, это уже контрреволюционные разговоры, — покачал головой кум. — Статья 58, пункт 10... На, пиши донесение, — он щелчком придвинул к Мишиеву лист бумаги.

И пока Мишиев пыхтел над доносом, кум, покуривая,

размышлял над тем, какая счастливая мысль пришла в голову этому Мишиеву: открыть бардак в конюшне. Во-первых, чистый доход: за один раз клиент расплачивался с Мишиевым пачкой чая. Во-вторых, информация: во время такого дела эзк становится болтливым, как вот этот Улукбаев. Ну, и никаких накладных расходов: лошадки — не проститутки, им платить не надо. Так, мешок-другой овса на весь коллектив... Нет, ничего не скажешь: молодец этот Мишиев, незаменимый человек!

Жажда славы не давала куму покоя. Давно уже составил он обстоятельный доклад в Москву, в управление — но держал его покамест в глубине ящика, под чайными пачками. В докладе он, основываясь на практическом опыте, рекомендовал высокому начальству организовать публичные дома в конюшнях по всей лагерной системе. Приводя статистические данные, он доказывал, что с открытием конского бардака приток осведомительской информации значительно усилился, внутрилагерное судопроизводство поднялось на ступень выше... Имени первооткрывателя Мишиева он, разумеется, не упоминал, как и не писал ничего о чайной системе оплаты.

По вечерам, в мирной тиши своего кабинета, кум извлекал доклад из ящика, перечитывал отдельные страницы, любовно поглаживал папку с грифом „совершенно секретно” — но с отправкой документа почему-то медлил: чем доверяться спецпочте, лучше уж самому в отпуск съездить в столицу, все там разъяснить на месте.

— Вот! — сказал Мишиев, передавая донос куму.

— „Донесение с культурно-воспитательного оперативного объекта номер один”, — медленно прочитал кум. — Так, хорошо...

— Я еще вот чего хотел сказать, гражданин началь-

ник, — ввернул Мишиев. — Надо бы ветеринара вызвать из райуправления.

— Это зачем? — поднял брови кум.

— Да приболела одна лошадка...

— Триппер, что ли, подцепила? — пошутил кум.

— Чирьи у ей, — улыбнулся шутке Мишиев. — Гости ее не любят. И в упряжке не идет: вся шкура в чирьях, дырявая.

— Спиши ее на кухню, и все! — махнул рукой кум. — Ветеринара ему... Ты вчера новую лошадь получил?

— Ну да, — сказал Мишиев. — Трехлетка она, целочка. Никого не подпускает.

— А ты на что? — строго посмотрел кум. — Не можешь, что ли, справиться? Ты мужик или что?

Мишиев вздохнул.

— На вот, бери! — сказал кум, выгуживая из тумбы стола бутылку сахарного самогона. — За удовлетворительную службу. Сам гнал. Горит!

— Служу Советскому Союзу! — сказал Мишиев и, оттянув пояс, опустил бутылку в ватные штаны.

— Ну, иди, — сказал кум. — Иди, Мишиев, работай.

В конюшне было тепло, пахло свежим навозом и мышами. Мишиев подбрёсил дров в печку, зажег керосиновую лампу и запер ворота на щеколду. Потом достал из ящика, укрытого сеном, кружку и шматок свиного сала, посыпанный крупной солью и завернутый в холщовую тряпицу. Поглядев бутылку с самогоном на свет, зубами вытянул пробку и налил полкружки.

— Первач! — выцедив и крякнув, сказал Мишиев. — Сахар, с кухни ворованный!

Он налил еще и сидел с кружкой в руке, блаженно чувствуя разлив тепла в желудке. Минут через пять голова приятно затуманится, жесткое сало покажется бараньим шашлыком, конюшня — двухэтажным домом

с балконом, а лошади... Мишиев хмыкнул, заглянул в кружку.

Жизнь здесь, в Тайшете, не казалась ему такой уж скверной. Он, во всяком случае, преуспел куда больше своих бывших сослуживцев по „Двигательстрою”: Сафонова расстреляли, Ханукаев сдох в помойке. А он, Мишиев, жив и устроен, на лесоповал его никто не гонит, и освободят его почти наверняка досрочно за примерное поведение. На Кавказ он не вернется, поедет в Ташкент отогреться, в Среднюю Азию: там тепло, там он найдет себе новую бабу, заведет новых детишек. Человек с головой нигде не пропадет, это только дурак на стену лезет, когда можно под ней спокойно посидеть в тенечке!

Выпив еще и убрав в ящик сало, кружку и бутылку, Мишиев распрямылся, потянулся всем телом. Хороший сегодня выдался денек, славный! До обеда баланы возил, не перетруждался, потом гости пошли — блатары, жеребцы стоялые, откуда только силы у них берутся. Три пачки чая — куму, две — себе. Все довольны, всем хорошо. А вечер пришел — самогон, сало. Вечер пришел — теперь и самому можно погулять, отдохнуть... Похаживая вдоль стойл, Мишиев оттянул пояс, сунул руку в штаны. Вчера кошка, сегодня — лошадка, а завтра снова будет баба, в Ташкенте.

Трехлетка стояла в своем стойле, мордой к стене. Подойдя, Мишиев пошлепал, погладил ее по крупу, поближе к корню хвоста. Трехлетка присела на задние ноги, потом вдруг сильно саданула копытом по дощатой стеночке.

— У, блядь... — проворчал Мишиев и, изловчившись, плюнул лошади под хвост.

Пошарив в кармане, он не нашел там ничего съедобного и пошел к своему ящику, за сахаром. С кусочком сахара в руке он вернулся к стойлу. Трехлетка разверну-

лась, стояла теперь мордой к проходу, глядела настороженно. Мишиев сунул ей сахар в мягкие замшевые губы.

— Вот так-то лучше! — одобрил Мишиев поведение трехлетки. — А то — ишь ты, не дает!

Он принес лестницу-стремянку, втащил ее в тесный загон. Установив стремянку, он закрепил ее железной поперечиной и поднялся по ступенькам до середины.

— Стой, тебе говорят! — приговаривал Мишиев, крепко накручивая хвост трехлетки на руку. — Не вертись, сука! Хорошая лошадка, хорошая... Тебе б еще сиськи — вот это было бы да! Хоть женись... — Он, кряхтя, привалился к конскому крупу. — Вот так, вот так...

Трехлетка повела задом, прижала Мишиева к стенке стойла. Мишиев закричал, пытаясь оттолкнуть лошадь, освободиться — но стремянка затрещала, наклонилась, и Мишиев боком сполз на пол. А трехлетка, заржав звонко и дико, наотмашь взбрыкнула, и еще раз, и еще. Стена конюшни загудела, как будто в нее били тараном.

Один из ударов пришелся Мишиеву, стоявшему на четвереньках, по голове. В глазах Мишиева вспыхнул ослепительный свет, двухэтажный дом с балконом поплыл враскачку и перевернулся. Истекая кровью, с расколотым черепом и вышедшими из орбит глазами, Мишиев упал лицом в душистый, свежий навоз.

ЭПИЛОГ

1

Поезд шел вдоль моря, спускаясь с Юга к Баку. Зеленые цельнометаллические вагоны были переполнены: ехали командировочные, ехали отпускники в Москву или на черноморские курорты, ехали крестьяне со своими вечными мешками и зембелями. Июль стоял над Кавказом на своем золотом помосте, украшенном виноградными лозами и гранатовым листом.

В купе мягкого вагона собралась большая семья горских евреев: две молодые пары с детьми и высокая прямая старуха, задумчиво и грустно глядевшая в окно и не обращавшая, казалось, никакого внимания на разговоры молодых. А разговоры были вот какие:

— Первым делом, как приедем в Израиль, найдем родственников. В Иерусалиме есть целый район наших горских евреев.

— И не только в Иерусалиме. Где-то под Хайфой есть целый поселок.

— Устроимся, найдем работу...

— С нашими профессиями, конечно, устроимся: инженер, медсестра, строитель, закройщик. Главное, поселиться всем вместе, в одном городе!

— Я слышала, там есть один генерал, знаменитый — так вот, он наш, кавказский еврей.

— Там все, слава Богу, евреи — и генералы, и рядовые. Даже министры — и те евреи!

— Ну, министрами-то нам уже не стать. А вот дети — те, может, и станут!

Старуха отвернулась от окна, в глазах ее светилась тоска мертвым слюдяным блеском.

— Посмотрите, дети! — негромко, но властно сказала старуха. — Вот здесь был поселок „Двигательстрой“, здесь жили ваши родители, Исай и Шуламит, будь благословенна их память!

Израиль и Яффа, обнявшись, прижались к стеклу. За окном мелькали развалины бараков, чуть выше, ближе к горам, дымила труба какой-то фабрики.

— А где та деревня, тетя Лиза, куда уехала мама после ареста отца? — спросила Яффа.

— Вон за той горой, — указала старуха. — Теперь куда идет автобус. А я туда пешком шла, к Шуламит.

— Иди сюда, Шуламит! — позвал Израиль свою маленькую дочку. — Гляди: вон там жила твоя бабушка!

— Подойди и ты, Исай! — обернулась Яффа к сыну. — Смотри, мальчик, и не забывай...

— Смотрите, смотрите, дети! — сказала Лиза. — Больше вы этого, слава Богу, никогда не увидите.

Поезд миновал горло ущелья, развалины „Двигательстрой“ остались позади. Но долго еще стояли Израиль и Яффа у окна, долго еще никем не нарушаемая тишина царила в купе.

— Свершилась воля ваших родителей, дети, — торжественно сказала Лиза. — Мы возвращаемся домой. Тридцать лет назад об этом никто не мог и мечтать.

— Мечтать-то, наверно, мечтали, — сказал Израиль, отходя от окна и садясь рядом со старой Лизой. — Две тысячи лет об этом мечтали... Теперь пришло время, спустятся наши евреи с Кавказа, подымутся в Иерусалим. Никого здесь из наших не останется!

— Плохо ты знаешь евреев, мальчик, — вздохнула Лиза. — Останутся. Но — немного.

— Да это просто безумцы останутся! — шепотом воскликнула Яффа. — После всего того, что здесь было! После стольких смертей, убийств!

— Так уж устроен наш народ, — пожала плечами Лиза. — Да и другие народы, наверно, тоже.

— Безумцы... — повторила Яффа. — Слепые безумцы...

В Москву они приехали как иностранцы: досадная, но необходимая остановка на пути домой. Оформили документы, купили билеты на венский поезд. Последнюю ночь перед отъездом провели на вокзале: в гостиницу их не пустили, ссылаясь на то, что у них уже нет советских документов.

— Пускай запомнят жесткие полы этой страны, — сказала Лиза, помогая укладывать детей на каменные плиты оформленного в современном стиле вокзального зала ожидания. — Пускай запомнят эту последнюю ночь, а не запомнят — вы им расскажете!

— Вы сами им расскажете, тетя Лиза! — сказала Яффа, глядя старуху по седой голове.

— Мне хоть бы доехать, — покачала головой Лиза. — Хоть бы умереть там...

Приближаясь к границе, поезд пересекал Западную равнину. В Бресте их вышвырнули из вагона, раскидали жалкие пожитки по таможенному залу, издевались, не пустили не то что в гостиницу — в вокзал не пустили.

— Запомните, все запомните! — твердила Лиза, сидя на чемодане, на грязном перроне. — Это вам последняя наука здесь...

Через два дня они приехали в Вену. В еврейском транзитном лагере Лиза, вдруг оживившись и как бы даже помолодев, сказала своим:

— Вы как хотите, дети, а я иду в синагогу. Богу тоже приятно послушать „спасибо”, не только человеку

У стеклянной стены тель-авивского аэропорта толпились, как всегда в день прибытия венского самолета с олим, десятки встречающих. Здесь были и русские евреи, и бухарские, и грузинские, и горские. Собравшись в кучки, они оживленно переговаривались в ожидании родственников, с которыми не виделись много лет, а то и вовсе не были знакомы. Волнение достигало своей вершины, когда очередная семья новоприбывших спустилась в зал, к багажным конвейерам. Нелегко было определить, кто есть кто, узнать друг друга после долгой разлуки и чудесного избавления.

Шалумовы и Лиза никого не искали в толпе встречающих; они никого не ждали, и их никто не ждал. Это было чуть горько: почти всех встречали родственники или друзья.

— Ничего, ничего, — повторяла Лиза, отыскивая свои чемоданы. — Это даже лучше: никого не побеспокоили... Но завтра же мы начнем выяснять, спрашивать. Мой троюродный брат уехал в Палестину пятьдесят лет назад, и племянник дедушки. Вот это будет встреча, вы увидите!

— А как его зовут, племянника, ты помнишь, тетя Лиза? — с улыбкой спрашивала Яффа.

— Это совершенно не важно! — отмахивалась Лиза. — Теперь его все равно зовут иначе, по-израильски.

К ним подошел носильщик, долго присматривался, потом спросил по-горскоеврейски:

— Вы случайно не с Кавказа?

— Да, — обрадованно сказал Израиль. — А вы тоже?

— Ну, конечно, — сказал носильщик. — Вы семью Яхьяевых не знаете случайно?

— Это из Кубы? — уточнила Лиза.

— Из Кубы, из Кубы, — подтвердил носильщик.

— Конечно, знаем! — сказала Лиза. — Он сапожник, а его сын работает на винзаводе!

— Сапожник — это мой дядя! — заявил носильщик. — Ну, как они там? Когда приедут?

— Приедут, приедут! — сказала Лиза. — Все приедут... Но вот вам первая встреча — и уже горский еврей!

— Ну да, — сказал носильщик. — Мы тут все друг друга знаем.

Троюродного брата Лизы и племянника ее дедушки носильщик, однако, не знал.

— Стариков надо спросить, — посоветовал носильщик. — Они должны знать. А я сам только в прошлом году приехал.

Получив свои вещи, они вышли на улицу. После кондиционированного воздуха зала жара была приятна, естественна. Пыльные пальмы покачивали своими зелеными шевелюрами, десятки людей тянули из бутылок прохладительные напитки через соломинки, блестящие лаком автомобили ехали мимо аэровокзала.

Они уже садились в машину, когда какой-то старик во главе доброго десятка молодых и старых людей подбежал к ним. Старик был одет в белый парусиновый пиджак, свободно болтавшийся на его сутулых, тощих плечах.

— Вы — Шалумовы? — прижимая руку к груди, крикнул старик.

— Да, — выступила вперед Лиза. — Но...

— Это Израиль и Яффа? — еще громче крикнул странный старик.

— Да, — понимая, что происходит что-то необыкновенное, сказал Израиль. — Это мы...

И тут старик заплакал. Он всхлипывал и качал белой головой, и слезы текли из его коричневых грустных глаз.

— Я — художник Иосиф, — наконец успокоившись, сказал старик. — Будьте благословенны на вашей земле, дети мои!

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Предисловие профессора Михаэля Занда.	
Дагестан в годы великого террора (к историческому фону романа Нисима Илишева „Наказание без преступления”)	5
Пролог	15
ЧАСТЬ I.	
Глава первая. Осень	17
Глава вторая. Пир с завязкой	33
Глава третья. Утро	57
Глава четвертая. Железная дорога	79
Глава пятая. „Двигательстрой”	103
Глава шестая. Судилище	129
Глава седьмая. Трудоверть	155
Глава восьмая. Снегопад	167
ЧАСТЬ II.	
Глава девятая. Слухи	185
Глава десятая. Ночной полет	195
Глава одиннадцатая. Аллочка	206
Глава двенадцатая. Урочище Габдано	218
Глава тринадцатая. В городе	229
Глава четырнадцатая. Как в Ростове-на-Дону	245
Глава пятнадцатая. Смерть над тайгой	260
Глава шестнадцатая. Письмо	281
Глава семнадцатая. Красное на белом	291
Эпилог	312

1943 году на страницах газет "Красная звезда" и "Известия", с очерков на военную тему и заметок о жертвах гитлеровской оккупации.

После демобилизации последовали годы учения в Строительном институте, а потом на филологическом факультете университета.

Из произведений, опубликованных в СССР, наиболее примечателен роман "Зеленая дорога" — о кавказском еврействе, в завуалированной, разумеется, форме. Вторая часть этого романа, рассказывавшая о гонениях на кавказских евреев в послереволюционный период, явилась причиной ареста писателя и обвинения его в сионистской деятельности. По приговору суда Ниснм Илишаев получил десять лет строгих лагерей. Под давлением международного общественного мнения был освобожден в 1975 году и репатрировался в Израиль, где выпустил книгу "С Кавказа в Иерусалим"

"Наказание без преступления" — переработанная в условиях свободы вторая часть романа "Зеленая дорога". Над этим своим романом-исповедью автор работал более пятнадцати лет.

С 1977 года — со времени репатриации — писатель опубликовал в израильской периодике более 80 статей и рассказов.

